

ГАФУР ГУЛЯМ

*Избранные
произведения
В ТРЕХ ТОМАХ
Том второй
Поэмы, оды, стихи
Повести*

Ташкент
Издательство литературы и искусства
имени Гафура Гуляма
1985

Уз 2
Г 94

Редколлегия:

ЗУЛЬФИЯ, УЙГУН, УДАЛОВ А. А., ФАЙЗИ Р.,
ШУКРУЛЛО, ЯШЕН К. Н.

Составитель: Алмаз Ахмедова

Гулям Гафур.

Избранные произведения: В 3-х т. [Пер. с узб.]. Т. 2.
Поэмы, оды, стихи. Повести / [Сост. Л. Ахмедова; Редкол.:
Зульфия и др.].—Т.: Изд-во лит. и искусства, 1985.—
384 с.

Во втором томе избранных произведений известного узбекского поэта, лауреата Ленинской премии Гафура Гуляма представлены поэтические произведения крупных жанров — поэмы, оды, стихи для детей, а также повести «Озорник», «Нетай» и другие.

Г $\frac{4702570200-168}{М 352 (04)-85}$ 107-85

Уз2

© Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма,
1985 г. (составление, оформление)

Поэмы и оды

КИТАЙСКИЕ МИНИАТЮРЫ

ВСТУПЛЕНИЕ

Вам сказки хочется, друзья?
Увы, не мастер я!
На пестрый вымысел скупа
Фантазия моя.
Но бей она хоть через край,
Искрись и полыхай,
Все ж не украсит города
Такие, как Шанхай!
Не нужен ни стихов дурман,
Ни полный тайн роман:
Шанхай сверкает наяву
Сквозь сказочный туман.
И зорче делается глаз
И кровь бушует в нас,
Когда мы видим пред собой
Шанхай в вечерний час.
И не посмел бы никогда
Тот, кто попал туда,
Грязнить сплетеньем небылиц
Такие города.
А потому и я сейчас
Веду, друзья, для вас
Об этом городе простой
И искренний рассказ.
Воспоминания храня,
Святые для меня,
Сперва о ночи расскажу,
Потом о блеске дня.

ШАНДОНСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Словно статуи в садах
Римского дворца,
Ножки в шелковых чулках
Радуют сердца.
Туфель лак и, словно гвоздь,
Острый каблукочок...
Рядом тоненькая трость
Шевелит песок.
Вот резиновых колес
Змеевидный след —
Это рикша здесь провез
Гостя на банкет.
В теннисках из чесучи,
В гетрах и с ружьем
Разных видов богачи
Здесь проходят днем.
Тут же люд бредет босой,
В рваный холст одет,
Лег неровной полосой
Ног разутых след.
Площадь, словно от копыт,
Взрыта вновь и вновь...
В сердце города кипит
Пламенная кровь!
Эта кровь течет бурля,
Ею напоен,
Как горячая земля,
Вспененный Шандон.
Много с каждой стороны
Пестрых улиц здесь,
Памятники старины
В изобилие есть.
Разноцветный блеск реклам,
Лавок теснота...
Всюду глаз слепили нам
Яркие цвета.
Вот Шандонский обелиск —
Каменный орел.
Миллионом звонких брызг
Здесь фонтан расцвел.
За оградаи сады.
На бульваре в ряд
Величавые ряды

Стройных пальм стоят.
Длинных лестниц видел я
Медленный изгиб,
Что на гору нас, друзья,
Привести могли б,
Там есть модный кабачок,
Где играет джаз,
Где мелодия течет,
Обвивая вас,
И кокетливый чарльстон —
Дамская стряпня —
Кружит в воздухе густом...
Это — мода дня!

* * *

В Шанхае много площадей,
Прекрасных, как Шандон.
Руками тысячи людей
Украшен пышно он.

Прекрасна древняя стена.
Везде — рисунки, письмена,
А в высоте, среди камней —
Чернеющий дракон.

В честь императора Шан-ли,
Владыки давних лет,
Его китайцы возвели,
Ему подобных нет!

Вот толстый Будда, тот пророк,
Который некогда изрек
Гуманный лозунг: «Не убий!»
(Бессмысленный завет!)

Подняв двуперстье к небесам —
Вот-вот, мол, вознесусь, —
Людей благословляет сам
Печальный Иисус.

Пока печет для разных стран
Миссионеров Ватикан,
Народам трудно избежать
Религиозных уз!

Вот Толумбез, что шар земной
В ладони стиснуть мог,
Как плод граната в летний зной,
Чтоб алый выжать сок.

Он — капитан, отбивший в рай,
Когда восстал Китай,
На крейсере его настиг
Неумолимый рок!

Но все ж не зря сюда приплыл
Моряк, любивший риск, —
Ведь в честь его воздвигнут был
Тот черный обелиск...

Да обелиск ли это? Нет, —
В глазах искрится свет,
Он смотрит, как цепной барбос,
Вот-вот раздастся визг!

И зубы лязгают порой,
Как будто хочет съесть
Прохожих памятник живой,
Весь день торчащий здесь.

— Ну что ж? — мне скажут. — Не беда!
Полиция нужна всегда.
Так диво ли, что монумент
В ее поставлен честь?

На это я отвечу вам:
— Здесь, у шапдонских стен,
Не монумент стоит, а сам
Британский полисмен.

Как изваяние застыв,
Он дышит и глядит, он жив,
Хотя не терпит никаких
На свете перемен.

Часы, что на углу висят,
Всегда торопят нас:
«Прохожий! Не смотри назад!
Не пропусти свой час!»

А этот — точный, как часы,—
Расправил стрелками усы
И молча, вылупив глаза,
Стоит: таков приказ!

В Шанхае много площадей,
Скульптур, садов, колонн,
Но лишь восточный чародей
Мог сотворить Шандон.

Сеть иероглифов цветных
Пестрит вокруг: кто создал их?
Как будто музыкой цветов
Весь воздух напоен.

Не каждый может оценить
Их блеск и красоту.
Я повести нехитрой нить
Для вас, друзья, плету —

Ведь я не ездил никогда
Смотреть чужие города
И в академиях искусств
Обтачивать мечту.

Простой певец, я не летал
Учиться пенью в Рим,
И Лувр меня не угнетал
Величием своим;

Я по приказу богачей
Цветник не взращивал ничей,—
Моим остался голос мой,
И он — неповторим.

Когда-то был я пастухом,
Я знал, в чем песни цель.
В местечке, диком и глухом,
Я выточил свирель.

И поплыла по городам,
По площадям и по садам,
Проста, бесхитростна, ясна
Моих мелодий трель.

Ну что ж? Пусть груб простой народ,
Зато чисты сердца.
Иной букетом назовет
Охапку чебреца,

Другой начертит углем вид
И думает, что он «творит»...
Зато простая песнь моя
Правдива до конца!

ЗАКАТ НАД ЖЕЛТЫМ МОРЕМ

Вечер тихий, как всегда;
Вдалеке плывут суда,
И прозрачная вода,
Как атлас.
Свет заката золотой
Слился с утренней звездой...
Тихий месяц над водой.
Тихий час.

Негустой туман одет
В желтоватый лунный свет,
И душа грустит в ответ
Тишине.
Как сплетенье стеблей,
Стали тоньше и светлей
Силуэты кораблей
На волне.

Вот послы чужой земли,
Спят на рейде корабли,
Что в тумане залегли,
Как дозор,—
Молча, злобу затаив,
Слушают ночной прилив,
К побережью устремив
Тяжкий взор.

Слышишь? Плещет в ветерке
Чья-то песня вдалеке.
Песнь о боли, и тоске,
И любви.
И мерцают с кораблей
Огоньки, как глазки змей...

Пої смелей, рыбац, смелей
Вдаль пльви!

Посмотри, как вечер тих,
Как в отливах золотых
Возле гаваней родных
Спит волна!
Сеть для лова приготовь —
Пусть над Желтым морем вновь
Реет нежно, как любовь,
Тишина...

* * *

Закат над Желтым морем,
И вдалеке видны
На дымчатом просторе
Следы шажков луны.

Тропой алмазно-синей,
Что луч поцеловал,
По дышащей пустыне
Проходит караван.

Как трепетные листья —
Осенних рощ краса, —
Беспомощно повисли
На мачтах паруса.

Рыбачьи лодки хрупки,
Но ждет их тяжкий труд —
Качаясь, как скорлупки,
Они вдали плывут.

Они полны отваги,
И, бурями храним,
Из тоненькой бумаги
Фонарик светит им.

Пусть трудно караванам,
Пусть в море путь далек —
Он светит из тумана,
Дрожащий огонек!

Как волосы русалки,
Он чертит след в воде...

Рыбак! Твой жребий жалкий
Здесь горек, как везде.

Ты собираешь в море
Сокровища глубин,
Но их отнимет вскоре
Твой грозный господин.

Ты — раб японской знати
В своей родной стране,
Где тысячи проклятий
Звучали в тишине,

Где судьбы поколений
Прикованы к ладьям,
Плывущим по теченью
К неизвестным берегам.

Здесь, в этих лодках утлых,
Порой жила семья,—
У нищих, у разутых
Рождались сыновья,

Чтоб весь свой век трудиться
И лить кровавый пот
И в двери смерти скрыться,
Когда их час пробьет.

За день труда хозяин
Бросал им рыбий хвост,
Глядела ночь в глаза им
Мерцаьем волн и звезд.

И знали рыболовы,
Что рыбе не успеть
Уйти в моря и снова,
Приплыв, попасть в их сеть.

Скорей, чем вновь зарею
Зажжется бирюза,
Рыбак навек закроет
Усталые глаза...

* * *

Редко мелькает вдали
Берег родимой земли,
В серую ширь вплетено
Белых песков полотно.

С лодок сойти хоть на час
Не разрешает приказ:
Смертью грозит он тому,
Кто непокорен ему.

Жирных японцев орда
В бухте встречает суда —
Плут-весовщик, что без слов
Взвесил богатый улов,

Хлипкий чиновник с пером,
Два толстяка, что с багром
Рыбу сгребут на весы
С береговой полосы, —

Вот он, отчизны привет!
А рыбакам на обед
Хриплый везет катерок
Рисовый черствый пирог.

Снова унесит прилив
Тех, кто, едва утолив
Голод, уходит опять
В море богатства искать...

Чтобы сокровищ полна
Стала чужая мошна,
Взвиться должны в небеса
Рваные их паруса!

В тяжких объятьях своих
Море баюкает их —
Вновь, от земли далеки,
Вышли на лов рыбаки...

Мимо надменно плывет
Белый гигант-пароход,
В воздухе рубок густом
Слышится томный чарльстон,

Гейши, веселье, вино —
Все пассажирам дано.
Солнца лучи горячи
Только для вас, богачи!

Деньги добудет он вам —
Жалких челнов караван,
Дети нужды и тоски,
Ваши рабы-рыбаки.

Так уж устроен наш свет:
Хлеба для нищего нет,
А разжиревшему в дом
Золото льется дождем!

Сотни голодных бродяг
Век свой без крова сидят,
А среди пышных палат
Нежится тот, кто богат.

Люди ползут, как жуки,
Ищут в помойках куски,
А у других в кладовой
Тонны муки даровой.

Ты, что обманом живешь,
Хлеба крестьянского ждешь,
Как ты изнежен и хил,
Нет в тебе жизненных сил!

Чем вы, убудки земли,
Поработить нас могли?
Прочь! Ненавижу я вас,
Вас ненавидит мой класс!

ФОКУСНИК

Как будто мстя тебе, земля,
За тысячи обид,
По небу солнце шло, паля,
И выплыло в зенит.

Впивая летний зной с трудом,
Измученный Шандон
Едва шевелит языком —
Он дышит. И молчит.

Бессильно опустившись вниз,
Как покоренный враг,
Над зданием консульства повис
Британский «славный» флаг.

И бронза вывесок светла,
Как будто жаркая игла
На пероглифах прожгла
Свой огненный зигзаг.

Торговцы мелкие сидят,
Как будды, у ворот,
Прищурен их ленивый взгляд,
С них градом льется пот.

Такая страшная жара,
Что шелковые веера
С драконом, цаплей и цветком
Они пустили в ход.

Не треплет ветер дамских тальм,
И тщетно в этот день
Отбросили шеренги пальм
Коротенькую тень.

Как изваянье из камней,
Беззвучна улица. По ней
Ползут ряды прохожих — им
Дышать и думать лень.

Вот женщины с детьми бредут —
Где бедных приютишь?
Как угли, тротуары жгут,
Повсюду зной и тишь...

На раскаленной мостовой
Стоит, как пес сторожевой,
Британский жирный полисмен —
Известный Ричард Фиш.

Он перед консульством стоит,
Похожий на жука, —
Усы как стрелки, строгий вид,
Тяжелая рука.

И на коротенькую тень
(Все тени сжались в этот день!)
Надменно наступил носок
Литого башмака.

* * *

Вдруг, мирному мешая сну,
Вдоль площадей
Прошла, нарушив тишину,
Толпа людей.

Два фокусника! Кверху бровь,
Цветы, тюрбан,
И гулко выбивает дробь
Их барабан.

И даже задрожал слегка,
Их слыша шаг,
Как от дыханья ветерка,
Британский флаг.

Зашелестели листья пальм,
Будя Шандон,
На площадь хлынула толпа
Со всех сторон.

Торговцы, пряча жирный рот
За веера,
Глядят — какая там пойдет
Теперь игра?

Под изваяньями богов
Гурьба детей
Ждет от искусных мастеров
Смешных затей.

Два фокусника — нет
Нигде таких! —
Шаихай их знает десять лет
И любит их.

Играть со смертью их удел,
Бросать кинжал,

Чтоб человека не задел,
А в цель попал,

Иглу сквозь щеку пропустить,
А иногда
Так глотку лезвием пронзить,
Что нет следа.

Они глотают угли, жгут
Огнем лицо,
Они как угорь проскользнут
Через кольцо.

За свой опасный, смелый труд
Они берут
Монеты, брошенные им...
Так и живут.

* * *

Вот начинается игра!
Китаец, старший брат,
Обходит круг, где детвора
Уж выстроилась в ряд.

Шестнадцать блестящих клинков
Сует он в руки простаков —
Они разглядывают их
И отдают назад.

Клинки остры — обмана нет!
Проверен весь набор.
И младший устремил на них
Тревоги полный взор.

Он отвернул лицо к доске
И ждет в смятенье и тоске,
Что прямо в голову его
Прицелится партнер.

Тот, стоя в тридцати шагах,
Прищурил левый глаз,
Занес кинжал... Всех мучит страх:
Сейчас метнет! Сейчас!

«Раз... два...» По счету «три» кинжал
Со свистом воздух пронизал
И впился в доску у виска,
Сверкая как алмаз.

Еще кинжал... еще...
Над глазом... У щеки...
Вот тот — чуть не пронзил плечо!
Летят, летят клинки...

Толпа дрожит, напряжена, —
Вся голова окружена
Венком кинжалов, что, визжа,
Вонзились в гладь доски...

Все рады меткости броска:
Чуть отклонись кинжал,
Китаец лезвием клинка
Пронзенный бы лежал!

Теперь он жив и невредим —
Опасность пронеслась над ним,
Как смерти черное крыло,
Как сотни острых жал.

Он смотрит, подавляя страх,
На всех, что здесь стоят...
Улыбка на его губах —
Как будто не своя.

Вот он скосился на клинки,
В глазах сверкнули огоньки —
И, высунув слегка язык,
Он лижет острия.

* * *

Ну разве вам, друзья, не жаль
Двух этих «мастеров»?
Ведь на душе у них печаль
И жребий их суров.

Попробуй удержи пойдя
Огромный камень на груди,

Хотя бы слыл ты силачом
И был как бык здоров!

А сверху камень бьют киркой,
И бедный акробат
Следит, как ловкою рукой
Кирку вздымает брат.

И под ударами, хоть плачь,
Смеяться вынужден силач...
Ну кто ж притворству бедняков
И их улыбкам рад?

Что заставляет их, смеясь,
Смотреть в глаза смертям?
Богач их душу топчет в грязь
И веселится сам!

Не для его ж забавы, нет!
И не для золотых монет,
Которые он бросит им,
Смеяться беднякам!

Улыбка эта — гордый флаг
И вызов злой судьбе,
Надежда, что в горячий враг
Не выдержит в борьбе,

Что солнца свет прогонит тень,
Что он придет, свободы день,
И все богатства богачей
Народ возьмет себе.

Так смейся, смейся, акробат,
Когда летит кинжал,
Когда твой зритель, твой собрат,
Кулак от гнева сжал...

Смеяться можно — помни лишь,
Что рядом ходит Ричард Фиш,
Который смотрит на толпу
И думает: «Скандал!

Кто разрешил веселье тут?
Прогнать бродяг скорей!

Чтобы повесить этот люд,
Не хватит фонарей!»

— Эй, сброд проклятый! Не тревожь
Сидящих в консульстве вельмож!
Не беспокой ни их самих,
Ни их секретарей!

Кто шум здесь поднимать посмел
При такой жаре?
Китаец видит: полисмен,
Револьвер в кобуре...

Идет к толпе... Да, это он!
Тот черный каменный дракон,
Что перед консульством торчит
На утренней заре,

Весь день гоняющий людей
С шанхайских шумных площадей,
Неумолимый, как закон,
Суровый Ричард Фиш!

Сияет солнце в синеве,
Народ стоит вокруг...
У фокусника в голове
Плап зародился вдруг:

Как сталь натянутой струны,
Все нервы в нем напряжены...
Момент — и вырвался кинжал,
Как молния, из рук.

Но где же опыт долгих лет,
Где меткий, зоркий глаз?
Вот от клинка блестящий след
Промчался и погас.

Но, смело брошенный кинжал,
Вдруг отклонился, задрожал
И врезался не в гладь доски,
А в грудь на этот раз!

Ужасный промах!.. Но клинок
Не брату в грудь попал:

Сам Ричард Фиш свалился с ног,
Сраженный паповал.

Сэр Ричард Фиш, надменный бритт,
В крови на мостовой лежит...
Раздался крик — и дикий страх
Всех зрителей сковал.

И снова онемел Шандон —
Настала тишина...
А посредине круга он,
Как туша кабана.

Теперь ты бедным не грозишь,
Гроза Шанхая, Ричард Фиш,
Лишь изваянием твоим
Украсится стена!

В Шанхае много площадей,
Бульваров и колонн,
И видят тысячи людей
Наследие времён,

Скульптуры, бронзу, письмена,
Которыми пестрит стена...
Но площади в Шанхае нет
Прекрасней, чем Шандон!

СУВЕНИР СЕН-ФУ

В госпитале при тюрьме
Люди метались в тифу...
Бредил в полуночной тьме
Раненый парень Сен-фу.

Утром начальство пришло
С доброй улыбкой к нему
(Редко встречают тепло
Тех, кто попали в тюрьму!)

Сахар Сен-фу получил,
Подали чай с молоком,
Доктор участлив и мил,
Словно давно с ним знаком.

Градусник ставит, смеясь,
Спрашивает: как дела?
Кровь, мол, давно унялась,
Рана не страшной была!

Это пустяк, дорогой,
Скоро поправитесь вы —
Через денечек-другой
Снимем бинты с головы.

Сгладится сабельный шрам,
Скрытый под шапкой волос...
Рану нечаянно вам
Тот полпцейский нанес!

Он в этой схватке ночной
Злостных смутьянов ловил...
Глубже дышите, больной, —
Больше прибавится сил!

Стачечников-главарей
Держим под стражею мы.
Вы ж поправляйтесь скорей —
Выпустим вас из тюрьмы!

* * *

Кто бы в улыбке их губ
Хитрости не рассмотрел?
Если начальник не груб,
Значит наутро расстрел.

Правда, бывает и так,
Что заключенный ослаб
И попадет, как дурак,
В сети, что ставит сатрап.

Не отвечая врачу,
Слова Сен-фу не сказал,
Боль, — словно камень к плечу
Кто-то ему привязал!

Кровь на виске запеклась,
Выломаны два ребра...

Знаем, проклятая власть,
Как ты мягка и добра!

Бредит и мечется он,
И голова горяча...
Издалека, словно звон,
Слышится голос врача...

Явь и виденья в сплошной
Перемешались клубок.
Пленник темницы, больной
Мыслью отсюда далек.

* * *

Полдень. Сен-фу на обед
Лучшие блюда дают:
Супу с яйцом и котлет —
Лучше не выдумать блюд!

Что клеветать на тюрьму?
Рай это, а не тюрьма!
Фаршу с капустой ему
Тащит служанка Ци-ма.

С ложечки кормит... Из глаз
Катятся капельки слез...
Ночью на чистый матрас
Доктор его перенес.

* * *

Так миновали три дня.
Легче больному с утра —
Больше в ушах не звенят
Колокола, как вчера.

Ожил распухший язык,
И удивилась сама
Завтрак принесшая вмиг
По его знаку Ци-ма.

Не занести ли в графу
Выздоровевших его?

Не улыбнулся Сен-фу
И не сказал ничего.

Сил еще нет говорить,
Сил еще двигаться нет,
Смог только взгляд подарить
Девушке милой в ответ.

* * *

Ночь миновала еще —
Стал поправляться больной.
Ныть перестало плечо,
Свет не тревожит дневной.

Он улыбнулся Ци-ма,
О забастовке спросил:
Мысль не идет из ума —
Справятся ль? Хватит ли сил?

— Фабрика сутки стоит,
Начал фасовочный цех.
Мастер-японец грозит,
Что арестует их всех.

Только молчанье: за мной
Чей-то следит уже глаз! —
Выслушал жадно больной
Юной служанки рассказ.

Доктор пришел к нему днем
В сопровождении двоих,
Будто заботясь о нем,
Сделал осмотр он при них.

— Что ж? Всё в порядке! Дадим
Для подкрепленья укол...
Из неизвестных один
Начал вести протокол.
Вынул из папки он лист,
Все записать был готов:
— Ты, говорят, активист,
Организатор бунтов?

Это не так? Отвечай!
Верит тебе президент:

Ты не предашь свой Китай
Недругам в трудный момент!

Ты забастовщик? Ну что ж...
Я глубоко убежден —
Ты нам, Сен-фу, назовешь,
Кто коммунист и шпион!

Кто подстрекал вас к бунтам?
Кто подтолкнул вас на риск?
Где он скрывается там,
Этот шпион-коммунист?

Будешь оправдан и чист,
Если врага назовешь! —
Крикнул Сен-фу: — Коммунист?!
Глупости! Наглая ложь!

Я был зачинщиком! Я!
Зря не попал бы в тюрьму!
Встали, усмешку тая,
Сунули листик ему.

Дать свою подпись — нет сил.
Мучает острая боль...
Доктор рукою водил,
Доктор сыграл свою роль...

.

Утром вбежала Ци-ма.
«Что это пынче со мной?
Уж не схожу ль я с ума?
Где же Сен-фу, мой больной?»

Выздороветь он не мог...
Может быть, больше не жив?»
Села она в уголок,
Слезы свои подавив.

И не посмела пойти
Строгих спросить докторов —
Кто его мог увести,
Болен он или здоров?

Знала одно, что он сам
Встать бы не смог никогда,
Чуяло сердце: он «там»
И не вернется сюда...

Крикнуть хотелось, позвать —
Тщетно! Безмолвна тюрьма...
И на пустую кровать,
Плача, упала Ци-ма.

После очнулась она
И за уборку взялась:
Утром служанка должна
Вымести мусор и грязь.

В старом больничном шкафу
Вещи ей подали весть —
Там была шапка Сен-фу,
Им позабытая здесь.

Друга последний привет!
Все понимая сама,
Бережно синий берет
Поцеловала Ци-ма.

Что это в нем? Талисман?
Или, быть может, защит
В шапку обрывок письма?
Если Сен-фу родовит,

Может быть, древний свой род
Он записал на листке...
Синюю шапочку мнет
Девушка робко в руке.

Шов распорол, глядит —
Не талисман это, нет!
Чей-то знакомый на вид,
Маленький, строгий портрет...

Ленин! Ревкома приказ
Рядом с портретом вождя...
Значит, он бился за нас,
Трудной дорогой идя!

Знати в роду его нет...
Что ж тут обернуто в лист?
Это партийный билет!
Значит, Сен-фу — коммунист!

Вот куда вел его путь —
В новый, невиданный мир!
Девушка прячет на грудь
Друга святой сувенир...

Жизнь ей представилась вдруг
Подвигом светлым, большим:
«Если погиб он, мой друг,
Путь его станет моим!

С этим заветным листком
Выйду на бой я сама...»
Ночью в фабричный ревком
С просьбой явилась Ци-ма.

Там было много друзей,
Дали ей добрый совет.
Вскоре вручили и ей
Красный партийный билет.

Если Сен-фу нет в живых, —
Память о нем не умрет:
Сколько их тут, молодых,
Бодро глядящих вперед!

Об руку с ними Ци-ма
Радостно кицулась в бой —
Книг запрещенных тома
Девушка носит с собой.

В госпитале у нее
Женский открылся кружок:
Взяв на колени шитье,
Слушают жадно урок.

Нет, не напрасно в шкафу
Найден ревкома приказ —
Имя и подвиг Сен-фу
Знаменем стали для нас!

КРАСНЫЕ ПИКИ

Вот, пиками вооружен,
Заполнил весь Шанхай
Народ отважный — это он
Освободит Китай!

То улиц пламенная кровь,
Горячая волна,
Порыв, которым вновь и вновь
Охвачена страна.

От моря до седой стены —
Свидетели времен —
Животворящий шум волны
Растет со всех сторон.

И, миновав Кашгар, Дунган,
Перешагнув Тянь-Шань,
На весь Великий океан
Тот шум зовет «Восстань!»

И древней Индии судьба
Кладется на весы,
И длится острая борьба
Не годы, не часы, —
С биеьем сердца лишь сравнить
Я мог бы этот зов.
Вплелась борьбы живая нить
И в сети рыбаков —

Рабов японских, богачей
И пленников воды, —
И в мысли плотников, ткачей,
Искателей руды.

И в стоны нищих и бродяг,
Отверженцев всех стран,
И тех, пад кем павис кулак
Продажных англичан.

На шахтах, в угольной пыли,
В цехах, где травят медь,
Где лица юных отекли
И начали желтеть, —

Там зарождаются бойцы
Когорты трудовой.
За них придется вам, дельцы,
Ответить головой!

А на плантациях, где чай
Сажают батраки,
Где люди тонут невзначай,
Срезая тростники,

Где для помещиков чужих
Китайский зреет рис, —
Там дух борьбы в крестьянах жив,
Бойцы там родились!

Проснулась воля пятисот
Мильонов человек —
До Гималайских встал высот
Волны ее разбег.

Она ворвется в русла рек,
Затопит океан,
И рухнет ненавидный век,
И сгинет злой тиран.

Отточим пики для борьбы!
Нарушим древний сон!
Перешагнем земли горбы,
Рабов услышав стон, —

Цепь, что сковала мир труда,
Разрушив до конца,
Сынов Китая навсегда
Объединим сердца!

Оружьем сделай каждый труд:
И сети рыбака,
И молоты, что сталь куют,
И вилы батрака,

И перевозчика весло,
И бедных рикш ярмо —
Все, что столетьями несло
Проклятия клеймо.

Кетмень и грабли, скалку, нож,
Шахтерские кирки —

Объедини их все, помножь
И преврати в клинки!
Пускай в решительном бою,
Что мы врагу дадим,
Они вонзятся в грудь твою,
Кровавый господин!

Будь ты японец, иль француз,
Или английский босс,—
Ответишь ты за тяжесть уз,
За горечь наших слез!

Не убежишь за море ты!
Мы — гневный океан —
Затопим фабрики, порты
И шахты разных стран.
Вся жизнь твоя в холодной мгле
Протечь обречена —
Во всех Шанхаях на земле
Разрушится стена!

Клинка смертельного удар
Получит капитал,—
Ваш мир, который дряхл и стар,
Теперь преданьем стал!

А мы построим новый край,
В нем будет каждый дом
Величественней, чем Шанхай,
Прекрасней, чем Шандон.

Падет проклятая стена ·
И все, кто к ней прирос:
Их смоеет гневная волна
Из наших горьких слез!

Все изваянья той волной
С лица земли сметет,
Восстанью памятник стальной
Поставит там народ!

* * *

Лишь половину кончил я
Всей повести моей —

Я рассказал вам здесь, друзья,
Про жизнь богатырей,

Про славных красных партизан,
Идущих на Пекин,—
А то, что я не рассказал,
Не доскажу один.

Пока могу, я буду петь
О подвигах людских,
В шанхайских школах стану впредь
Я говорить о них.

Чтоб знал китайский пионер,
Кем он освобожден,
Чтоб мог достойный брать пример
С отцов и братьев он!

1931

УЗБЕКИСТАН

Видел я
Бескрайние пустыни.
Видел я
Волнение морей,
Град весенний,
Что в полете стынет,
И самум,
Летающий всех быстрее.

Видел извержение вулкана,
И тайфун,
И взрыв грозы в горах,
Я узнал
Сиротство очень рано,
Ночи одиночества и страх.
Пережил
Жестокостей немало,
Окруженный вражеским кольцом,
Стрелами исколотый,
Бывало,
Я врага встречал к лицу лицом.

Я дышал
Орлиной полной грудью,
Брал за перевалом перевал.
По пустыне знойной,
По безлюдью,
По горам горбатым
Кочевал.
В старой тюрбетейке
И в чарыках
Я проделал многоверстный путь,
Чтоб в далеких
Реках и арыках
Посвежее воду зачерпнуть.

С палкой из тяжелого иргая,
С гордым сердцем
И с пустым мешком,
По ущельям и горам шагая,
Сколько стран я обошел пешком!

В раннем детстве
Я играл
С котенком:
Перепелок
Бил
Из озорства.
А позднее
Кровь запела звонко,
От любви
Кружилась голова.
Мне казалось:
И земля и небо —
Все
Огнем мечты озарено.
Жизнью
И последним ломтем хлеба
Я бы с милой поделился,
Но
Когти злобно разрывали тело
Только что родившейся любви,—
Догорело
Все, что пламенело
И кипело
В молодой крови...
Охранял я
По почам ворота,
В кузнице,
Где горны горячи,
Я работал
До седьмого пота,
Я менял профессии без счета,
Даже доводилось быть лунгчи.

На базаре продавал фисташки,
Не давала мне судьба поблажки...
Но пришел я
К сути сокровенной
Избранного мною ремесла.
И нашел я
Место во Вселенной,

Где весна навеки расцвела,
Где закон
Построен человечно,
Где звучит
Светло и безупречно
Песни полнозвучная струна,—
Это наша юная страна.

Родина добра
И дружбы стойкой,
Разгромив жестокого врага,
Запята
Неутомимой стройкой,
Ей покорны
Степи и тайга.
Ей покорны
Топаи и снега.

Крепость
Нашей всенародной веры
Мы от всех изменников спасли.
Нашей силе нет числа и меры.
Мы сильнее
Всех стихий земли.

Прошлого прогнившие основы
Рушатся, шатаются, скрипят.
Видя мир
Просторный,
Светлый,
Новый,
Рыцари доллара плохо спят.
Глухо закипающим вулканом
Гнев народов зреет изнутри.
Не удастся
Лицемерным странам
Заслонить
Растущий свет зарп.
Рабство,
Одинокество,
Сиротство
Мы уже забыли навсегда.
От бывшего мрака
И уродства
В сердце не осталось и следа.

Коммунизма светит нам звезда,
На горах,
В пустыне
И на море —
Мы на вахте,
Мы стоим в дозоре,
К родине
Живой любви полны,
В остром шлеме
Вместо тюбетейки,
В шахте,
На далеком перешейке,
На несчетных рубежах страны
По ночам не спят ее сыны.
Каждое дыханье наше слито
В трепетное облако одно,
Чувство с чувством
Сплетено и свито
И вовек не может быть разбито,
Сломано
Или осквернено.

Я — певец трудящегося люда,
Сын великой солнечной страны.
В гордой книге
О советском чуде
Строчки три и мной сочинены.
Цвет надежды для всего Востока,
Для десятка подневольных стран,
Расцвела и поднялась высоко
Родина моя —
Узбекистан.

1932

ПИРАМИДЫ

I

Говорят, мой дед
Был простой «бузчи».
Он стоял
За кустарным ткацким станком.
Мы, поэты,
В сущности тоже ткачи,
Мы из строчек-нитей
Стихи свои ткем.
Вот уже готовы,
Как ткань ровны.
Песни новые
Убегают вдаль.
Как мне хочется петь
О приходе весны,
О том, как пахнет
Цветущий миндаль!
Обо всем,
Что с восторгом
Я вижу кругом —
О дымящих трубах,
Что, как тополь, стройны,
О гигантах,
Растущих день за днем,
О цветущих садах
Могучей страны.
Я прославить
Текстильный хочу комбинат,
Чьи ударники
Подвигами горды.
Выходите, строки мои,
На парад,
Как солдаты,
Весело стройтесь в ряды!

Кто не знает египетских пирамид?
Посмотреть на них —
Едут со всех сторон.
Как величествен,
Как торжествен их вид!
И у каждой
Внутри
Лежит фараон.
Пирамиды увидев
Средь сумрачной мглы,
На вершинах их,
Чтобы дальше лететь,
Отдыхают
Стервятники и орлы,
Словно аист,
Усевшийся на мечеть.
Чтоб воздвигнуть
Каменные гробы,
Труд убийственный
Длился сотнями лет.
Занзибарские
И нумидийские рабы
Надрывались,
Ломая себе хребет.
И не знали Зулейха,
Или Юсуф —
Фараоны,
Строители пирамид,
Как в пустыне воздух
Горяч и сух,
И как тяжек -
Кубических плит
Гранит...
Но вставляли пирамиды ввысь,
Чтоб народа гений
В веках блистал.
Украшения
По стенам вились,
Чистым золотом
Отливал портал.
В них была красота,
И мечты,
И любовь,

Отражалась
Неба в них бирюза.
В них, как солнце, сверкали
Глаза рабов —
Слез и крови
Полные глаза.
И в просторах
Девственной страны
Нерушимые —
Тысячелетья подряд,
Словно юноши,
Высоки и стройны,
Пирамиды
Египетские
Стоят.
Ну, а где их строители,
Что в далекие дни
Под немислимой тяжестью
Сгибали горбы?
Навсегда неизвестными
Исчезали они,
Изуродованные
Молодые рабы.
Страстный взор Клеопатры,
Щедрый дождь золотой,
Блеск и роскошь пиров,
Что в поэмах гремит,
И Юсуф и Зулейха
С их красотой —
Вот что спит
В основаниях пирамид.
А на стенах их
Иероглифов вязь —
Многотонных каменных
Книг листы.
Это вызов бросает,
Грозной мощью хвалясь,
Властелин мертвецов
С пирамид высоты:
«Эй, вы, люди!
Звенья
Бесконечных цепей!
Поглядите,
Как я, фараон, велик!
Силой,

Золотом,
Властью безмерной своей
Пирамиды эти
Я в пустыне воздвиг!
Может быть,
Среди вас есть такой исполин,
Богатырь,
Титан,
Полубог земной,
Кто жестокой завистью
Или заботой палим,
Попытается
Потягаться со мной?
Выходи,
Хоть одну пирамиду разрушь!
Я поставил их
У всех на виду.
Неужели нету
Отважных душ?
Ну!
Давайте!
Попробуйте!
Что же?
Я жду».
Хватит хвастаться,
Господин фараон!
Ты давно уж развенчан,
Владыка могил.
Пирамиды осмотрены
Со всех сторон,
И взволнован
По-новому
Древний Нил.
Он поднимется вскоре,
Могуч, незнаком,
Бушевать по Египту
Начнет скоро он,
И покроет навеки
Забвенья песком
И твои пирамиды,
И тебя, фараон!

3

Нет, мы строим не склепы
Гробниц,

Не нужны нам памятники
Пирамид,
Перед властью смерти
Мы не падаем ниц,
Наш строитель к жизни
Свой взор устремит.
И когда наш стремительный
Караван
Проезжал путем,
Что в пустыне пробит,
Перед каменным сфинксом
Он свой путь не прервал,
Чтоб взглянуть в глубину
Незрячих орбит.
Знаменуя техники
Торжество,
Самолет нас мчал
Быстрее стрелы
Над Египтом,
И пирамиды его,
Словно кубики детские,
Были малы.
И малы они кажутся мне
И сейчас —
Там, в далекой песчаной
Египетской мгле,
По сравненью с гигантами,
Что растут у нас,
На свободной, повой,
Советской земле!
По утрам,
Возглашая рождение дня,
Пробуждая от сна
Стариков и ребят,
Звонкой бодростью
Наполняя меня,
Эти добрые
Великаны трубят.
Нет, не слышен у нас
Фараонов рык,
И не слышно, как стонут
Его рабы.
Это звонко в пустыне
Журчит арык,
Это смех

Озорной ребячьей гурьбы.
А ведь только недавно
Здесь был пустырь,
И горячий ветер
Кружился, пыля,
И сухою колючкой
Во всю свою ширь
Зарастала
Горестная земля...
У ворот «Сельмаша» —
Тому уж пять лет —
Я узнал,
Как звонкая гордость остра:
Вот что спел мне тогда
Пролетарский поэт,
Чьи стихи помогали
Собирать трактора:
«Я погонщиков спрашивал
В прежние дни:
Почему так тоскливы
Все их песни подряд?
Так ведь это не песни,—
Отвечали они,—
Это седла походные наши
Скрипят.
Я хотел бы сегодня,
Чтоб песня моя
Прозвучала,
Затронув и сердце и ум,
Не как трель соловья,
Не как пенье ручья,
А как нового трактора
Радостный шум!
И взлетела бы песня
Прямо в небо мое,
И услышал бы песню
Край сияющий наш...»
Пел поэт,
Чьи стихи
Ускоряли литье,
Кто входил как хозяин
В могучий «Сельмаш»...
Он так вольно дышал,
Он был счастлив вполне,
Так, как может быть счастлив

Настоящий поэт,
Что живет в нашей вольной
Великой стране,
Где ни рабства,
Ни безработицы нет.
Говорят, мой дед
Был простой «бузчи».
И выходит —
Текстильщик потомственный я.
В комбинате текстильном,
Где кругом ткачи,
Я ищу материал
Своего «тканья».
В комбинате этом
Сорок тысяч машин,
И тысячам зол,
Что в мире живут —
Темноте, бесправью,
Всем врагам большим, —
Сорок тысяч машин
Прочный саван ткут,
И, чтоб так, как Ленин
Народ учил,
Наши души накрепко
Соединить,
Сорок тысяч машин,
Не жалея сил,
Крепче стали прядут
Бесконечную нить...
Как мне хочется петь
О приходе весны
И о том, как пахнет
Цветущий миндаль,
Как гиганты растут
Средь цветущей страны,
Где текстиль создается,
Где варится сталь.
О колхозах
Я песню хочу сочинить,
Где сугробы вздымаются
Хлопка-сырца.
Пусть же накрепко свяжет
Эта прочная нить
С комбинатом текстильным
Хлопкоробов сердца!

Пусть же песня несется,
Светла и горда!
Пусть в работе сливаются
Ткач и поэт,
Чтоб над крышами мира
В честь большого труда
Мы ударили гордо
В литавры побед!

1935

ДВА АКТА

I

Едва Хайдар-Чокки
Рассказ начнет о прошлом,
Из глаз бежит слеза,
Взлетает к небу вздох.
Как будто он опять
Придавлен тяжелой ношей...
Как стар он, наш Чокки!
Как стан его иссох!

Седую бороду
Сожмет рукой сухою,
Воспоминания
Сзывая в тесный круг.
Он трогает кобыз сердец.
И повесть
Течет, мудра, проста.
Ее послушай, друг:

— Подобен морю мир,
А голова людская
Подобна валуну
На берегу морском.
Шумит волна, валун тот обтекая,
Бежит вода, а камень, изнывая
От жажды, сух,
Как горя горький ком.
В те годы я имел
Лишь черствую лепешку.
Крутые жернова
Попреков и обид
Давили грудь мою.
Захлебываясь кровью,
Подобен был я
Поймапному
Соловью.

Тот золотистый луг
На берегу зеленом —
В нем жизнь моя
И молодость моя.
Там солнце спину жгло,
Мороз там жег лицо нам,
Водой нас обделяла там
Скупая Сырдарья.

Коль крепки у тебя
И бодры ноги,
Поднимемся на холм,
К тому вон рубежу.
Я с этого холма,
Что было в прошлом,
Тебе как на ладони
Покажу.
То поле видишь? Там
Я исполу лет сорок
Работал, как верблюд,
Ютился в шалаше,
Мечтал хоть день быть сытым,
Ждал удачи.
А счастье все не шло,
Застыло на меже.

Смотри — вон хауз там,
А вон супа под тенью
Разросшегося вширь
Карагача.
Был то приют
Отчаянья и горя,
На той супе
Свила гнездо печаль.

Здесь дом стоял,
Построенный на диво.
Раскинут сад, —
Не сад, а суций рай.
В нем яблони цвели,
Урюк и сливы.
Плодами разными
Богат родимый край.

Да не богат он был
Счастливой долей

Для тех, кто беден и кто смелым
Слыл.
Сосед Акбар Амиц,
Богач известный,
Владельцем сада
И арыка был.

Для нас земля суха,
А небеса жестоки,—
К Амину, что ни день,
За помощью идем.
Чтоб голод утолить —
Щепотку чаю
И горсть муки
Под урожай берем.
На черном небе доли человеческой
Не видно было ни одной звезды.
Тогда,
Отчаявшись смягчить Амина,
Решили в город обратиться мы.

Ты видишь хауз тот
И ту супу под тенью
Карагача
И розовых кустов?
Знай, то гнездо
Отчаянья и горя,
Там вывела беда
Своих птенцов.
Был день весны.
Рассвет росист и мягок.
На листьях влажных
Бисер чистых слез.
— Собраться у супы,—
Велел безусый,
Что в осень за Амином
Счеты нес.

Покорно собрались.
Покрыта
Была супа просторная ковром.
Какой-то старец,
Утонув в подушках,
Разглаживал усов
Густое серебро.

Он что-то под нос
Бормотал, считая.
Чалма его —
Что аиста гнездо.
Он был святее самого Хидыра.
Халат его
Блистал, сиял звездой,
Мы подошли
И приложили руки
К сведенным голодом,
Запавшим животам.
Склонились, как велит приличье,
Сказали неизбежное:
— Салам.

Старик — судья.
Амин сидел с ним рядом.
Писец Мирза,
Потрепанный на вид,
Держал перо,
Читал тетрадь большую,
Вновь повторял
Поток былых обид.

— О непокорные!—
Судья промолвил гневно,—
Вы не способны
Милости понять.
Добра не помнит
Разве лишь собака,
А вам пора
Добро Амина знать.

Вы жаловаться вздумали?
Вы что же,
Бесстыжими
Глазами запаслись?
Или, забыв
Святой закоп корана,
Вы с подлыми
Гяурами сошлись?..

Как против сильных
Будешь защищаться?
Мы с тем судьей
Бороться не могли.

И суд, начавшись
Окриком суровым,
Был кончен полной
Описью земли.

Перо Мирзы
Проворно закрипело.
Слова тяжелые
Ложились в ленты строк.
В глазах Амина,
Будто бы печальных,
Горела радость,
Искрился восторг.

Так наши мазанки, земля
Согласно акту
К Амину перешли —
В счет сделанных им «благ».
Гневны зрачки судьи,
Они — печать насилья,
И медную печать
Судья кладет на акт.
О, если бы Амин
Взял дочь мою, обидой
И то б не так
Вскипел, наверно, я!
И если бы втоптал
Он в грязь лицо Хидыра,
Все ж не унизилась бы так
Душа моя...

На той земле
Я с той поры лет сорок
Жил, как батрак
Акбар Амина.
Так
Посевы и дома
Ушли в его владенья.
Вот
То,
Что дал нам первый акт.

2

Едва Хайдар-Чокки
Начнет рассказ о новом,

Усы вздымает смех,
Дрожит от счастья голос,
Подобно льву, он смел.
Смеется каждый волос
В курчавой бороде.
Как он помолодел!
Его лицо
Ласкает ветер свежий,
А он стоит,
Что тополь на ветру,
И начинает
Радостную повесть
Веселым голосом,
Подобным пенью струн:

— Наш мир — как сад,
А голова людская,
Там самый ценный плод.
И что ни день,
Дожди побед нам жажду утоляют.
И в каждом облачке
Мы видим счастья тень.

Тот золотистый луг
На склоне горном —
В нем жизнь моя
И родина моя.
Там нежный ветер,
Что пи утро, веет
И влагу на поля
Приносит Сырдарья.
Там дом стоит,
Построенный на диво,
Плодовый сад раскинут —
Сущий рай.
Там яблони цветут,
Гранат и слива,
Плодами разными
Богат колхозный край.

Вон зданий ряд,
Воздвигнутых недавно.
Как улица, гляди,
Пряма и широка!

Вон школа,
Почта,
Банк,
Больница
И клуб наш —
Гордость кишлака.
На запад до реки
Легла земля колхоза,
Раскинулась к востоку
До хребтов.
А вон тот хауз
И супа, с которой
Осыпала нас жизнь
Дождем цветов.

На той супе
Нам новый акт вручили
На вечное владение
Землей.
Все наше здесь:
Вода, поля и солнце,—
Зажиточной теперь
Живем семьей.—
Хайдар-Чокки,
Забывши про усталость,
Спешит о счастье новом
Рассказать.
Он улыбается,
Его волнует радость,
И, точно звезды,
Светятся глаза.

И, точно хлопок,
Борода седая,
И губы
Как тюльпана лепестки.
— Для счастья мы живем,
Работаем для счастья,
И счастливы
Юнцы и старики.

В том акте, что нам дан
На землю и на счастье,

Союза ССР
Легла печать;
Печать любви,
Добытая с боями,
Нам право давшая
Сначала жизнь начать.

Печатью этой
Вражеские души
Прихлопнуты
И силы лишены,
Печатью этой
Право и свобода
Для всех, кто трудится,
Павек закреплены.

Земля родная,
Милая Отчизна,
Для нас она —
Как тело и душа.
Коварный враг,
Что посягнет на край наш,
Костью поляжет,
Сгинет, не дыша.—
Умолк Хайдар.
Два мира перед нами
Возникли вдруг:
Один был злобен,
Мрачен,
Пуст;
Другой, как музыка,
Ласкающая душу,
Не знал, что значит
Нищета и грусть.
Два акта этих
Я сравнить хотел бы:
Был первый
Как оковы на ногах,
Второй как меч,
Сбивающий оковы,
Сверкнул —
И счастье
Вспыхнуло в сердцах.

Гори, звезда
Свободы и величья!
Жизнь, расцветай,
Победна и нова!
Мы знаем,
Что старик Хайдар
Имеет
И в восемьдесят лет
На молодость права.

1935

УЗБЕК-НАМЕ

Пролог

Твое подножье — громады гор,
замыслы гениев давних лет.
Чтоб в образ мне твой вместить простор,
красок у нас на палитре нет.

Как смысл глубочайший борьбы твоей
в скупых стихах уложу?
От земли к зениту, от солнца к земле —
твой путь...
Как о нем расскажу?

Быть может,
усилъя Истории всей
Мощи равны твоей.
Рулевой великого корабля —
громадного, как Земля...
Партии Ленина,
чтобы тебе

Достойно славу воздать,
Я древний узел
былых наших бед

В поэме хочу развязать.

О том, что предками
пройдено,

Что пережито давно,

О том, что как будто ушло
навсегда,

но не ушло от суда,
Ибо, свободу и жизнь возлюбя,
мы познали самих себя.

Прекрасна моя родная земля,
плоды дарящая нам.

В арыках, желтая, словно мед,
течет вода по садам.

* * *

Как по весне над садами
наши гремят соловьи!
Прыгают — с камня на камень —
звонкие наши ручьи.

Если упорно трудиться,
вставши в предутренней мгле,
Что ни посеешь — родится
на благодатной земле.

Скажешь: Эдем расцветает —
плата за наши труды...
Что же душа вспоминает
прошрое, бурю беды!

* * *

В берег бьет пунцовой гривой
сырдарьинская вода.
«Если девушка красива,
помни: ждет ее беда».

Так вот жертвой хищных стала
красота земли моей.
Рать за ратью наступала
все жаднее и лютей.

Что цвело, что было юно,
все растоптано, в крови,
От Сайхуна до Джайхуна
и долин Кашкадарьи.

Древний пращур насмерть бьется,
изнемог от тяжких рац.
И струей багряной льется
непокорный Зарафшан.

Что ты видишь в темных безднах
давних, смолкнувших веков!
Кости, ржу мечей железных,
гниль, обломки черепов.

Там, где серые барханы
сонно льются по степям,
Шли захватчики хаканы,
море бедствий гнали к нам.

То не кровь ли отражалась
на вечерних облаках?
Ночь глухая не копчалась
в прошлых, проклятых веках.

Средь пустынь лежат руины
наших древних городов.
Глыбы пыльных плит старинных,
как надгробия веков...

Слышишь: там из-за туманов
Туркестанского хребта —
Низкий грохот барабанов;
то — чингизова орда.

И над прахом страшных боен,
златом череп оковав,
Темучин — свирепый воин —
пил, вино и кровь смешав.

Все нас грабить были рады —
гуны, Чип, Юпон, Иран,
Шел на нас, не знал пощады
Зулькарнайн,
от крови пьян.

Как дракон, объемля дали,
он дошел до Сырдарьи,
Но отпор жестокий дали
и ему отцы твои.

Лишь развалины остались...
За грозой неся грозу, —
Здесь Ирадж и Тур сражались,
Афрасьяб, Рустам, Барзу.

И царю Бахраму Гуру
не промолвим мы похвал,
Если с предков наших шкуру
он последнюю содрал.

Оттого и мятежами
 повесть прошлого полна...
Помни время:
 встал над нами
Вождь отважный — Муканна.

И в Багдаде сам наместник
 пред восставшими дрожал,
Ради воли, ради мести
 цепь народ мой разорвал.

Муканна погиб,
 пропало
Все, что мы спасли тогда,
И во мгле степной
 вставала
Вражья злобная звезда.

Словно море, необъятна
 бездна темная судьбы!
На сто лет вернись обратно
 к страшным годам
Кутейбы.

Тот — залитый кровью витязь —
 молвил, меч подняв кривой:
«Покоритесь! Изогнитесь!
 Словно месяц молодой.

Поклонитесь Мухаммаду!
 И за то святой Эдем
Вам откроется в награду,
 а иначе — гибель всем!»

* * *

Кутейба
 хоть по-тюркски и звался
 «Верблюжьим седлом»,
- Но свободный народ
 непривычен ходить
 под ярмом.

Враг разрушил Байкенд,
 Самарканд, Бухару, Фергану.
Кровью залил, разграбил
 прекрасную нашу страну.

Он за каждую голову
по сто дирхемов платил,
Чтоб сердца устрашить,
из голов пирамиды сложил.
И в тенистых садовых аллеях
он вместо плодов
На могучих деревьях повесил
детей, стариков.

Чтобы золото прятать —
добычу кровавой руки —
Шить велел он
из человеческой кожи мешки.

Гибла древняя наша культура...
Рушилось все.

Гибли сотни Сино
и тысячи Зебиписо.
И опять снаряжали враги
за походом поход.
И не выдержал натиска
вольнюлюбивый народ.

Погибали защитники...
Таял оплот наших сил.
Говорят, Кутейбу приближенный
однажды спросил:

«Что ты скажешь,
когда твой черед подойдет умирать?»
«Я три слова скажу:
Убивать! Убивать! Убивать!»

Кровь и ужас принес этот зверь
нашим мирным полям,
...Так вот волей-неволею
приняли предки ислам.

Только скоро с посулов его
позолота сошла
И на души железная, тяжкая цепь
налегла.

Нам веками внушали
смиренье, покорность и страх.
Но великой надежды зерно
не погибло в сердцах...

1936

НОВОГОДНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Новый год уже вступает на порог,
Мы подводим достижениям итог.
Видим в тех руках рубаб и пиалу,
Что несли к победе знамя и клинок.

Каждым подвигом страна моя горда.
Драгоценные плоды ее труда
Блещут, словно ожерелья на груди,
Нить его не оборвется никогда.

Наша Родина могуча и светла,
Все осилила и все превозмогла.
Вестник истины — советский наш народ,
Ты бессмертен,
 перед тобой бессильна мгла.

До краев полна сегодня пиала.
Полночь.

 Все расположились у стола.
Год работали мы дружно, чтоб сейчас
Наша встреча самой праздничной была.

Ток с Фархада добежал уже сюда,
Мы как струны натянули провода.
Отражен в глазах узбеков яркий свет,
Он, как солнце, не померкнет никогда.

Это нежное, яптарное вино
В гроздьях пряталось не так еще давно.
Лица девичьи касались тонких лоз,
Светом солнечным оно озарено.

Слезы счастья, росы утренние в нем,
Пиала играет радостным огнем,

В нем узбекских виноделов мастерство,
С наслаждением эту влагу мы глотнем.

Сколько ярких и пленительных примет —
Запах сада, вешней розы нежный цвет.
В пиале крупинки гнея горят
И горячий занимается рассвет.

Бьют часы.

Едва утихнет гулкий звон —
Новый год войдет неслышно.

Вот и он.

Наша Родина — любимое гнездо,
К ней спешат ее певцы со всех сторон.
Выпьем влагу золотистую до дна.
Пусть звенят бокалы, полные вина.

С Новым годом!

С новым подвигом, друзья!
Мы соратники, и цель у нас одна.

Слышит Родина часов кремлевских бой,
С ним сердца свои сверяем мы с тобой.
Знамя партии, ведущее вперед,
Стало нашей всенародною судьбой.

На год раньше пятилетку завершим,
Все преграды, все препоны сокрушим.
Хлопок, тот, что мы недодали стране,
Мы сторицей возратить ей поспешим.

Ждет весны трудолюбивая страна.
Урожайми прославится она.
Мой народ — неутомимый хлопкороб,
Сколько радости сулит ему весна!

Темноту мы одолели навсегда.
Книга в доме — это пламя и вода.
Видит в ней, как в ясном зеркале, народ
И былые и грядущие года.

Книга — вдумчивый и самый верный друг.
Видишь, Родина раскинулась вокруг,

Как любимая страница, мать-земля
Повествует о делах сыновних рук.

Равен целому столетию прошлый год.
Мы избавились от множества невзгод.
К изобилию пришла моя страна,
Вера в будущее радует народ.

Гром войны не так давно отгрохотал,
Но упорно жаждет крови капитал.
Атом яростный, которым он грозит,
Быть его домашней тайной перестал.

Всякий, кто с народом нашим не в ладу,
Наживет непоправимую беду.
Будет ноги он ломать себе всегда,
Как скотина неуклюжая на льду.

Не спасут его ни злость, ни клевета,
Что струятся из оскаленного рта.
Нашу землю не проглотит Уолл-стрит,
Людоедская не сбудется мечта.

Нас пугать враги пытаются,
но зря, —
Ведь от ветра только морщатся моря.
Наша Родина бесстрашна и сильна,
Наше знамя, как победная заря.

Хлеб насущный сами сеем, сами жнем,
Для хозяев мы спины своей не гнем,
Тем, кто издавна живет чужим трудом,
Не осилить нас ни сталью, ни огнем.

Угнетатель, о победе не мечтай,
Не готовь для новой битвы хищных стай.
Поднимаются и Запад и Восток,
Жаждут счастья Филиппины и Китай.

За год радостный мы можем дать отчет, —
Дом наш светел, и вино рекой течет,
Символ славы — наше знамя и клинок,
Нашим людям — всюду слава и почет.

С Новым годом! Я поднял бокал вина
За тебя, моя любимая страна.
Ты по ленинскому движешься пути,
Гордых дум и светлых замыслов полна.

1946

ГОРДОСТЬ УЗБЕКСКОГО НАРОДА

Мчится, гриву разметав, статный конь, карабаир;
Крепким, словно сталь, ногам в долгой скачке не
устать;
Пыль летит из-под копыт, пыль земли, обретшей мир,
Берегущей прах отцов и священной, словно мать.

Всем народам, всей земле вновь являет мощь свою
В сокрушительной войне победивший наш народ,
Он со славою пронес стяги алые в бою,
Ратной доблестью весь мир изумивший наш народ.

Он великому вождю клятву верности дает,
Он присяге боевой не изменит никогда.
Если грозный он встает, замирает бурь полет,
В океане стихнет шторм, успокоится вода.

Бриллиантовый бурав режет грудь уральских скал,
Наш народ в труде упорном несгибаем, как алмаз. ∴
Взяв домбру, Джамбул столетний песни славные
слагал,

О большой его душе, о пытливом блеске глаз.

Черноугольный Донбасс, терриконы до небес —
Это памятник простой терпеливому труду.
В год победы, из руин, поднимая Днепрогэс,
Свет рабочие зажгли, словно новую звезду.

Каждый учится у нас — десять лет, пятнадцать лет.
Отошел в былое мрак человеческой зимы;
Каждый труд — почетный труд, малых дел в Союзе
нет,

И малейшей из побед рукоплещем стоя мы!

Велика у нас страна и огромен план работ,
К их свершению зовет нас родимая земля;

Всяк профессию себе по влечению изберет,
Чтобы искрился талант, словно грани хрустала.

Труд тяжелый — не тяжел, если в сердце страсть
горит,
Пусть струится пот со лба, пересохла в жажде рты,
Ведь пословица не зря об упорстве говорит:
«И с любимой без труда не добьешься счастья ты!»

Кто не любит ремесло, тот осмеян будет зло,
Но приводят к ремеслу лишь упорные труды;
Нам, узбекам, по душе хлопководства ремесло,
Одевая всю страну, нашим хлопком мы горды!

Хлопководы-мастера, понимаем хлопок мы
По дыханию ростка, распрямляющего стан,
По шуршанью корешков в глубине подземной тьмы
И по ветру, что летит из Мурманска в Индостан.

Книга хлопковых полей нам понятна до строки;
Как посеять, как полить, урожай обильный спясть,—
Под умелой рукой так работают станки,
Так рассчитывают план, как растит ребенка мать.

Над щепоткою земли восемь-десять мастеров
До зари не спят порой, изучая, не дыша.
Кто-нибудь, не хлопковод, заглянув под этот кров,
Засмеется... Ну и пусть! В нем не сельская душа!

Чтобы тля не завелась на рассаде от росы,
Я, заботливо трудясь, каждый кустик отрясу.

А пной у нас старик хлопководствует сто лет,
Всей наукой овладел, все рекорды — по плечу,—
И такого от себя агроном не пустит, нет,
Будто Хамракул-ака — дядя Павлу Кузьмичу.

Если мастер-хлопковод песню звонкую поет,
Если в песне — новый звук, словно в полдень ласки
тень,

Значит, что-то он открыл, что обрадует народ,
Что-то там произошло в этот самый жаркий день.

В нежном хлопковом цветку наши милые края,
Словно с неба Млечный путь опустился на поля,

Песням девушек зарей вторит песня соловья,
И джигитов веселит засиявшая земля.

Из тычинок, хлопоча, пчелы золото сосут,—
Этих белых цветников мы художники-творцы;
Мы трудились не затем, чтоб цветы сверкали тут,
А чтоб ситцы наши шли по стране во все концы!

Хлопок раньше, чем у нас, у соседей начал зреть!..
С вестью радостной гонцы кишлаком бегут, пыля,
А у девочек предлог: мы, мол, свадьбу посмотреть,—
И — тихонько за кишлак, и скорей, скорей в поля!

Как отраден тихий свет расцветающей земли,
Каждый маленький бутон драгоценнее, чем клад!
На сверкающих полях все Меджнуны, все Лейли,
Севом ведает Ширин, а поливом — сам Фархад!

Знает наша молодежь: без работы нет любви;
Жарким летом на полях потрудись во весь размах —
И на свадьбу всех друзей поздней осенью зови;
Будет свадьба хороша, если полно в закромах!

Помню я, как богачи не щадили жизнь цветка:
Засыхая, сквозь стекло он глядел на ветерок;
Молодая жизнь любви без работы коротка,
Неуютна и жалка, словно высохший цветок.

Хлопководство от отцов нам в наследство перешло,
Судьбы хлопка нам близки и во сне, и наяву.
Это чувство навсегда нашу душу обожгло,
Мы желаем хлопку жить, как живому существу!

Праздник, праздник на полях! Приходите посмотреть!
За день ровно сто кило хлопка девушка берет.
Как девичьему лицу от улыбки не гореть?
Ведь в корзине у нее — белый жемчуг, первый сорт!

И покамест сбор ее превратится в полотно,
Веретена, челноки не один рабочий час
Будут прясть, крутить, тянуть хлопковое волокно,
На которое в полях мы глядели столько раз!

Хлопок требует любви, и вниманья, и труда.
Мы усердны, нам за труд не приходится краснеть.

Наша вольная страна изобильна, молода,
Хорошо в ней людям жить, песням радостно звенеть.

Партия! Свой долг, свой план свято выполнил колхоз,
Ты в работе каждый час нам светила, как звезда,
И уже бегут, спешат в добром рокоте колес
От Ташкента до Москвы с белым хлопком поезда.

Снова наш карабаир мчится, гриву разметав,
Топот кованых копыт отзывается вдали.
Вновь вздымается до туч над ковром садов и трав
Благородный, тонкий прах в пыль истоптанной земли.

Вновь танцует и поет, весь в садах, Байткурган,
И ликуют кишлаки, этот праздник подхватив,
И слагает на пиру Фергана и Андижан
О победе на полях новый, радостный мотив.

Вновь струится, как река, алый, огненный атлас,
Полосатый бекасам виден в каждом кишлаке,
И колхозный кладовщик не присядет ни на час, —
День и ночь его сплелись, как основа на станке.

Ждет сияющий Ташкент дорогих своих друзей,
Он созвал на слет героев, не обидев никого.
Молодежь и пахлаванов, что стране известны всей,
Знаменитых мастеров — цвет народа своего!

Вновь они перед страной обязательства возьмут,
Снова закипит в работе пятилетки новый год.
Так живет Узбекистан: для него священен труд.
Проявляет мощь свою в созидании народ!

1946

КОММУНИЗМУ — АССАЛАМ!

Жизнь — не четки, и дни не воротятся вновь никогда.
Ты поймал свое счастье — так крепче за счастье держись!
Осветив горизонт, и года, и надежды, и мир,
Словно молния — вот она, — вся твоя вспыхнула жизнь.

Нет, не ждали удачи мы. Счастье мы брали в бою.
Мы творим свое счастье. Пусть вечен годов караван.
Утро мира — наш век. И, приветствуя солнца восход,
Новый день предвещая, наш праздничный бьет барабан.

Мы за век поколения прожили тысячу лет.
Век десятка чинаров пронесся над жизнью моей.
И построили подвигу каждому памятник мы
Из металла Урала, из крепких уральских камней.

Грандиозные храмы, торжественные города —
Все смели незаметные вечные ветры времен.
Но я знаю — тот мир, что сегодня построили мы
Нерушимым пребудет, для счастья людей сотворен.

Что вы знаете там о великих делах Октября,
Вы, сосущие в кафешантанах свой виски и грог?
Эх, какое вам дело, что падают слезы из глаз
У сямского рикши на камень горячих дорог!

Я — восточный поэт! Горизонт вдохновения мой —
От курильских камней до лесов африканских густых.
Но свободу, надежды феллахов и кули мечты
Я стремился вложить в мой свободный, в мой огненный
стих.

Предпочел бы я лучше быть диким куланом степным
И в пустынных просторах колючий кустарник глотать,
Чем, подобно слону на цепи, быть рабом на земле
И подачек покорно от жалких погонщиков ждать.

Тридцать лет я в великой и светлой отчизне моей,
И свободы своей отобрать золотые права
Я не дам. Лучше лягу пусть мертвым в свободной стране,
Лишь была б моя Родина вечно вольна и жива!

Уважая другого — себя признаешь ты в другом,
И священной землей нашу светлую землю зовут,
Потому что не знаем рабов, не имеем господ,
Здесь все поровну делят — и счастье, и горе, и труд.

Дружба наших народов есть дружба великих сердец,
Мы сердцами свободными поняли правду одну,
Если враг на отчизну захочет опять посягнуть —
Мы, как братья, опять выйдем все на святую войну.

Мы по ленинским книгам учились работать и жить.
Мы горды нашим счастьем, мы ценим и труд, и борьбу.
Мы за мир, но коль надо, готовы мы выйти на бой.
Новый враг пусть припомнит насильников прежних
судьбу.

В год, когда силы смерти под именем черным «фашизм»
Вдруг нагрянули в край наш, где труд и свобода цвет
Друг за другом мы встали, как острый разящий клинок,
Как пылающий щит, оградили мы счастье земли.

Мы разбили врага. Наша кровь — вот победы цена.
И теперь, когда в мире затих смертоносный буран,
Когда наша семья почесть павшим героям воздав,
Снова села за мирный, за праздничный свой дастархан,

Появилась вдруг горсточка атома — смертная пыль,
Что грозит нам войною. — Так что ж, мы должны
трепетать
Но, Нью-Йорка дельцы, вам не будет прислуживать мир.
Он не хочет от крови и мук содрогаться опять.

Хватит вам, господа, жить за счет покоренных рабов!
Час расплаты идет. Кончен век ваших легких побед!
Видим: Индия, Африка, горный Ирак и Сиам
Стали голы, как грудь у верблюда на старости лет.

Нил, богатством обильный, и бурный, как южная кровь.
Превратили вы в нищенский, вами ограбленный край.

Как товаром бездушным, вы там торговали людьми,
На костях человеческих банкирский вы строили рай.

В Занзибаре, на Конго, на Ниле и в Капских горах,
Словно тени, чуть двигались черные ваши рабы —
Бессловесные жертвы, — они проклинаят Нью-Йорк,
И они не простят вам своей безотрадной судьбы.

Но, на счастье земли, есть Советский Союз и Москва,
И на счастье народов, есть партия большевиков.
Сковап черный вулкан, тучи грозные сброшены вниз,
Смерч подавлен и вновь не закружит во веки веков.

На прославленных подступах к славной столице Москве:
И моя капля крови в сражение святом пролита.
И очистилась жизнь моя в жарком горниле войны.
И в бою закалилась моя золотая мечта.

Да, Москва защитила свободу в великом бою.
Как о городе счастья о ней повествует молва,
И надеждою светят невольникам звезды Кремля,
И в грядущее двери рабам отворяет Москва.

Уинстон Черчилль, когда бы не светлая сила Москвы, —
Знаю, был бы и я вашим жалким рабом, как индус,
Бы украл б свободу мою, как украл алмаз
В усыпальнице шахов. Но я вас теперь не боюсь!

Тот украденный камень — английской короны краса,
Из свободы моей вы бы сделали веер себе.
Если б не было в мире Москвы, то и я бы, как слон,
Цепи рабства влачил вековечю, покорен судьбе,

Если б не было в мире Москвы, как посмел бы тогда
Ранним утром сорвать я трепещущий, нежный цветок!
Из всего цветника нашей жизни достались бы мне
Лишь колючки... Но нынче свободен родной мой Восток!

По ночам расцветают у нас миллионы огней.
Ярким светом мешается яркая радость моя.
В кипарисовых стройных и тихих аллеях идут,
Нежным чувством полны, наши дочери и сыновья.

Труд, любовь и доверие, правда и светлая жизнь —
Вот для счастья потомков священный ковер-паяндоз.

Мы навек благодарны родимой стране и Москве,
Что живем тридцать лет без неволи, без горя и слез.

Мы свободны, добры, впереди видим ясную цель.
Но одной добротой как я счастье страны охраню?
Славлю волю и ум, что штурмуют высоты наук,
Чтоб создать коммунизму из нового сплава броню.

Нашим звеньям и разуму пет в этом мире границ.
Мы и атома силу заставим народу служить,
И довольно в земле нашей этой могучей руды,
Чтоб советский народ мог спокойно работать и жить.

Мы построили новый, доселе невиданный мир,
Мы работали тридцать упрямых и пламенных лет
Для блуждающих в тьме, в мире рабства, средь горя и
слез.
Путеводным пусть будет октябрьский немеркнущий свет!

Верность Ленину, партии мудрость и сила Москвы —
Вот для счастья народов планеты надежный залог.
Коммунизму хочу я сегодня сказать «Ассалам!»
И привет долетит мой — ведь путь уж теперь недалек!

1947

ДВА ВОСТОКА

I

Я сын Востока, сын отчизны солида.
Рожден под солнцем, солнцем прокален.
Я азиат, исконный местный житель
С древнейших, незапамятных времен.

Я до земли склонялся в храмах Будды,
В Аравии за жемчугом нырял,
Меня душили стынь и снег Тибета
И тяжкий зной Нефуда изнурял.

Я охранял сокровища Бомбея.—
Погибнешь вмиг, попробуй только, тронь!—
Был витязем яванского народа,
Как Снявуш промчался сквозь огонь.

Был астрономом в городе Калькутте,
Постиг все связи судеб и времен.
Как славный Ширази слагал поэмы,
Был мудрым зодчим — строил Вавилон.

Я сын Востока вечного, как солнце.
В туманной мгле веков его исток.
За тыщи лет блистательную славу
По праву заслужил гигант Восток.

Очаг искусства, колыбель культуры,
Ремесел блеск... Но мир, как зверь, жесток.
Тому, кто создавал, тому, кто строил,
Отрады, счастья не дарил Восток.

Дворцы гремели, пировали шахи,
Куражились, один другого злей.
Огромный труд измученных индусов
Весь уходил на кутежи раджей.

Пять, десять, двадцать... сотни миллионов
Голодных, обездоленных людей...
Заволокло все небо дымом стонов.
Народ — как соя, как скопище теней.

Когда пастух лишь о себе печется —
Волк натворит в его отаре бед.
Там, где пробрались к власти ложь и подлость,
Защиты от соседей алчных нет.

Из дальних далей, с берегов туманных
Стервятники слетались на Восток.
Их всех влекло сюда одно желанье:
Побольше, пожирней урвать кусок.

Стервятники — сенаторы и лорды
Провозглашали: «Мы несем прогресс!»
Прогрессом этим был грабеж народов
И виселиц зловещий черный лес.

В Китае, в Индии, на Яве были скрыты
Несметные сокровища земли.
Все взяли просвещенные громилы,
Все в логово свое уволокли.

За каждую попытку возмущенья,
Кичась бесчеловечностью своей,
Привязывали к орудийным дулам,
Расстреливали тысячи людей.

Пятнадцать-двадцать ловкачей британских
Подняли многомиллионный край.
Тащили, рвали, жгли... Вот почему их
Прозвали «шил», что значит — обдирай!

Всё брали: уголь, золото, алмазы;
Лишали хлеба, птицы и скота.
Всё у народа алчно выскребали
До меда у младенцев изо рта.

Ну ладно!.. Это «ладно» не смиренность,
Оно кипящей ненависти взлет,
Оно призыв ко всем, кого измучил
И обездолил чужеземный гнет.

Сегодня — не вчера. С двадцатым веком
Иных начал уже расцвел росток.

Животворящий ветер революций
Повеял в грудь твою, гигант Восток.

В народе говорят: «О небожитель,
Спаси от тех, кто нас пришел спасать».
Эй господа, пожалуйста, скажите,
Кому еще от вас спасенья ждатель?

Нет мочи! Вот еще и с Уолл-стрита
Явились к нам «друзья» в недобрый час.
И снова тот же гнет и та же песня:
«Мы свет прогресса, мы спасаем вас!»

Ох! Не хватало, значит, Альбиона,
Теперь еще и янки в свой черед.
Так шимпанзе, облюбовав местечко,
Тотчас к себе родню свою зовет.

Но у Востока есть иной защитник,
Есть брат его, тот, что подняться смог,—
Защитник настоящий, бескорыстный,—
Оковы рабства сбросивший Восток!

II

Я сын Востока. Вольный, полноправный,
Советского Востока гордый сын.
Я человек. Я твердо, точно знаю,
Как должен жить свободный гражданин.

Для всех народов этого Востока
Я брат родной. Любимый брат и друг.
Наш край огромен. Даже солнцу в небе
Не просто обойти его вокруг.

На этом небе — ленинское знамя,
На нем слова: «Свобода, братство, труд».
Народы прославляют это знамя
И, как зеницу ока, берегут.

Невежества, распутства, мракобесья
Давно уже у нас простыл и след.
Питающимся падалью шакалам
В свободном нашем крае места нет.

Здесь все равны. У каждого народа —
Своя страна, свой герб, своя печать.
Народам-братьям вольного Востока
Есть, что любить, беречь и защищать.

Свою поэзию, свою культуру,
Отраду вдохновенного труда...
Вот почему господство капитала
У нас не возродится никогда.

Здесь наше всё: земля, леса, заводы.
Здесь вольно дышат, радостно творят.
Здесь обращение «фабрикант, хозяин»
В насмешку только людям говорят.

Здесь нет таких вещей, как бедность, голод.
Здесь доверху набиты закрома.
Тут лишь в анналах прошлого остались
Сыпняк, холера, сифилис, чума.

Тут ордена дают за многодетность,
Младенцы, юноши не умирают тут.
Тут семьдесят — всего лишь средний возраст,
И лишь столетних старцами зовут.

Тут горы самоцветами богаты,
И нам доступны недра этих гор.
И отдает нам россыпи алмазов
Бескрайный, неоглядный наш простор.

Миллионы тонн колхозных урожаев,
Растущая зажиточность крестьян...
В каком еще краю, каким народам
Такой счастливый светлый жребий дан?

Гудки могучих фабрик и заводов,
Стальные птицы выше облаков...
Из года в год все краше расцветает
Свободный край — Восток большевиков.

Нам помогают солнце, реки, ветры
Трудом своим, энергией своей.
А скоро мы и силу притяженья
Заставим поработать для людей.

Прекрасны наши города. Взгляните.
Высокие дома, асфальта гладь.

Вдоль тротуаров — стройные аллеи...
Краса такая — глаз не оторвать!

Здесь в сотнях тысяч школ детей бессчетно.
На переменах: игры, гомон, смех.
Так веселятся там, где нету сирот,
Где радость не для избранных — для всех.

Здесь нет невежд, здесь все должны учиться.
Способностям здесь не дадут пропасть.
Здесь за развитие юношей в ответе
На равных — и родители и власть.

Искусство, спорт, театр, литература
Достигли здесь невиданных высот.
Здесь много есть по праву заслуживших
Всеобщее признание и почет.

А почему? Секрет простой, несложный.
Здесь всё для счастья, всё для красоты.
Здесь для народа многое бесплатно:
Ученые, книги, здравницы, сады.

Здесь все смелы, удачливы, культурны,
Однако носа кверху не дерут,
Хотя подчас иной рабочий может
Дать верный отзыв на ученый труд.

И потому, что к солнцу коммунизма
Все ближе он — Советский наш Восток,
Без черчиллей, без трумэнов, свободный,
Познавший дружбы радость и восторг.

Но все равно, мы близкие, родные.
Ударят по рогам — в копытах боль.
И если слишком долго мутят воду —
Пассивная невыносима роль.

Нет, революцию не перевозят.
Она не груз, доставленный извне.
Но, если братья позовут на помощь,
Не сможем мы остаться в стороне.

Короче, не пора ль гостям незванным
Собрать свои вещички и — айда!
Не то, — ведь так уже не раз бывало, —
Споткнутся и не встанут никогда.

Я сын своей земли, поэт восточный,
Предвиденье — мой дар. Уже не раз,
Предсказанное мной, сбывалось точно,
Как будто выполняя мой наказ.

Я вольный сын Советского Востока,
Познавший счастье творчества, узбек.
Мое перо мне дал бессмертный Ленин —
Великий вождь, Великий человек.

1949

ДА ЗДРАВСТВУЕТ МИР

И в этот раз,
Как в сорок пятом,
Когда советское «ура!»,
Весь сотрясая шар земной,
Над куполом рейхстага прогремело,
Опять народы СССР
В защиту мира смело
Подняли голос дружный свой,
Как рев могучий океана,
Как гул вулкана.
Несется отзвук через горы,
Как гром, гремит.
Наш мирный труд —
Свободы верный щит,
Сильна Страна Советов.
Свободный человек
Победой горд своей,
Она — источник света
Для всех простых людей.
Стальная крепость мира
Стоит, как монолит.
Дозор на горизонт глядит
И не смыкает глаз.
О Родина моя!
Ты мужества оплот,
Народов мирных радость,
Надежда и маяк.
Где жизнь привольней, краше?!
Как Млечный Путь,
Светла дорога наша.
Судьбу земли
Решают народы с нами.
Напрасно в Белом доме —
Высокомерью нет границ —
Грозится Трумэн:

«Огнем и муками
Весь род людской
Повергну ниц!»
Но гнусною рукой
Подписанный приказ
Не запугает нас!

Судьба людей —

В их собственных руках.
В крестьянской фанзе камышовой
Китайцы у стола стоят
И палочкою тростниковой
По очереди, в тишине,
Выводят приговор войне:
«Нам нужен прочный мир!»

Борцам неведом страх.

И гнев народный
Угрозу бомбы водородной
Развеет в прах.

Ведь каждый человек земли
Своих товарищей-друзей,
Зеницу ока — сыновей,
Величье гор, простор полей,
Очаг родной семьи своей,
Возделанный любовно сад
Не бросит, ни за что не бросит
В крошечный ад!

Ведь человек — хозяин над землей

С богатствами и красотой,
С ее морской синевой,
С небесною голубизной,
Со свежей зеленью лесной,

Со всею жизни полнотою, —

И настоящий человек,
Поверьте, не откажется
От радостей таких!

• Великий наш союз

Различных наций и племен —
И юноши и старики

В одном строю —

Сто миллионов подписей поставив,

Сказал свое

Решительное слово:
«Войну долой!»

И в этом слове —
 Не мольба,
 Не слезы.
То голос молодой
 Богатырей в бою,
 То голос СССР,
 Что побеждал всегда.

Над мирною Москвой,
Как символ всей земли,
 Горит Кремля звезда.
Узбекский наш народ
 Свободен, и его
 Высок авторитет.
С другими равный, он идет
 Восславить мира торжество,
 К Стокгольмскому воззванию
Он руку приложил.
Цвети и славься, жизнь,
Красуйся, человек!
Желаем гибели тому,
Кто враг народу своему,
Кто ввергнуть хочет мир во тьму,
Кто человека презирает,
Пусть поглотит земля сырая
И трумэнов и черчиллей навек.
Не могут истребить людей
 Ни адские костры,
 Ни молнии атомной лёт,
 Ни рабства гнет,
 Ни этот сброд
 Насильников и палачей,
 Ни гром бомбежек
 Средь ночей.

Близка заря
Победы коммунизма.
 Враги найдут конец позорный свой,
 Раскрепостится люд простой,
 Земля омоется грозой.

Народы новой эры
Дышать свободно будут, наконец,
Озоном щедрой атмосферы,
Что окружает шар земной.

С ТРИБУНЫ МИРА

Посвящается Второй всесоюзной кон-
ференции сторонников мира

Каждый семейный очаг
Счастья историю пишет.
Памятником труда,
Каждое зданье, будь!
Маленькая ячейка
В улье, в саду, под вишней,
Для медоносной пчелы —
Матери-родины грудь.

В юноше каждом, в лице,
Жестах и гибком стане,
Скрыта частица жизни
Матери и отца.
Был он взлелеян ими,
Рост его непрестанен,
Радует он, как цветенье
Саженца-деревца.

Смерть человек отрицает
С дня своего рожденья,
Землю всегда живую
Видеть желает он.
К смерти идущие старцы
Видят свое продолженье
В юных, веселых потомках —
Рода таков закон.

В обществе дружной семьей
Трудятся люди простые,
Чувствами слит человек
С целым народом своим.
Ведь Робинзон — исключение,
Остров не всякий пустынен —
Мы в коллективе едином
Счастье свое творим.

Чаянья и желанья
Всего своего народа
Каждый хранит человек
Бережно в сердце своем.
Атом народа он.
Предначертала природа
Вечно стремиться ему
К счастью широким путем.

Круглую, словно луна,
Лепешку пусть каждый имеет,
Блага земли получить
Право имеет всяк.
Если же кучка обжор
Их расхищать посмеет,
В яд обратится добро,
Гибель им всем неся.

Рушить дома чужие,
Скашивать жизни пулей —
Народ никому не позволит,
Грозен истории суд!
Если просунуть палку
В мирный пчелиный улей,
Пчелы немедля жала
В глаз наглецу воткнут.

Землю народа, культуру —
Многих веков творенья
Долго не может топтать
Жадный захватчик тиран.
Стоны рождают гнев,
Кровь порождает отмщенье,
Лавой врага зальет
Мести народной вулкан.

Жизнь дорогую народа,
Счастье его потомков,
Знаем, не пресечет
Меч никогда никакой.
Мститель — сама история,
В мощном своем потоке
Дикость повергнет она,
Целью скует огневой.

Наши весенние всходы,
Все изобилье земное
К небу взметнуть не сможет
Грозной грозы раскат.
Извергов подлых скрутит,
Прервет их дыханье чумное
Страждущего народа
Мозолистая рука.

Между фальшивых смерчей
Люди блуждали подолгу —
Жертвою водоворота
Не будет народ нигде.
Все племена земные,
Верные дружбы долгу,
Руку всегда подадут
Брату-народу в беде.

Словно проклятый дьявол,
Утративший адрес геенны,
Ввергнул империализм
Корею в огонь войны.
Люди, покрывшие землю
Цветами дум сокровенных,
Больше терпеть эту наглость
Не могут и не должны.

В доме родном и тихом
К честной и мирной работе
Люди простые стремятся,
Чтоб в совершенстве цвести.
Славят они повсюду
Голубя мира в полете,
С соколом не смешают,
Что янки-охотник пустил.

Стоны корейской земли
Всюду разносит ветер —
Американский их
Не заглушит саксофон.
Голос борцов за мир
Крепнет по всей планете —
Не заглушит его
Долларов гнусных звоп.

Кровью залив Корею,
Ястребы продолжают
В небе, от дыма черном,
Свой смертоносный полет.
Но по приказу истории
Эту проклятую стаю
Воля народов мира
К черной земле прибьет.
Славный народ Кореи
В битвах победу добудет,
Сила и доблесть народа
От рабства спасут страну.
Дружно по всей земле
Провозглашают люди:
«Долой поджигателей войн!»
«Мир победит войну!»

Наши народы смело
В зале сказали Колонном
Слово свое с трибуны —
Слышит его земля.
Видят народы мира
Доблестный путь, озаренный
Светом рубиновых звезд
Крепости мира — Кремля.

1950

ГИМН МИРУ

С этих счастливых страниц
Снова торжественный гимн
Может свободно звучать —
Гимн величавых дней.
Белый голубь несет
Народам земли другим
Теплый сердечный привет
Наших советских людей.

Каждый рассвет таит
Свой поэтический ритм.
Летопись каждого дня
Смыслом своим полна.
Надо запечатлеть
Всё, что в сердцах горит,
Всё, что приносит нам
Жизни живой волна.

Труден истории путь.
В многовековой борьбе
Шел человек вослед
Мужественной мечте,
Светлые, как алмаз,

Желанья храня в себе,
С вечным стремленьем шел
К радости, красоте.
Люди хотят, чтобы мир
Устойчивым был везде,
Каждый народ чтоб познал
Блага свободы и прав.
Пусть на своей земле
В честном упорном труде
Вольно живет человек,
Цени раба порвав.

Люди земли хотят,
Чтобы во всей красе,
Не омраченный тьмой,
Завтрашний день вставал.
Пусть наше солнце льет
Щедрости свет на всех,
Кто прозябал в нищете,
Гнет и страданье познал.

Люди хотят дышать
Воздухом цветников,
Люди хотят владеть
Всем изобильем земли.
Люди хотят, чтобы все
Из сока своих плодов
Розовый сахар-гульканд
Вволю варить могли.

Люди хотят обуздать
Американский разбой
В мирной Корейской стране,
Что полыхает в огне.
Дружно встает за мир
Всюду народ простой,
Он разгромит фашизм,
Путь преградит войне.

Близок возмездия час:
Гнева огонь падет
Прямо на логово змей —
Его Уолл-стрит зовут.
В горне грядущих дней
Несправедливость, гнет
Люди дотла сожгут —
Строг революции суд.

Атом урановый нам
Тайну свою открыл,
Пусть он питает впредь
Сил созидательных рост.
Миролюбивый народ
Предупреждает громил:
«Хватит игры с огнем!
Наглых довольно угроз!»

Многострадальный Китай
Гнета оковы взломал,
Мужество, мощь обретя
В славе Октябрьских дней.
Многомиллионный Китай
Врага разил наповал,
Видя великий пример
Советских богатырей.

Чуда не будет в том,
Если наступит черед
И европейский рабочий
Свергнет хозяев своих.
Если Китаю вослед
Вольнолюбивый народ
Атомщиков ярмо
Сбросит и в странах других.

Гордым утесом стоишь
Ты, коммунизма страна!
Нам для великих работ
Мир и покой нужны.
Там, где пылала земля,
Где бушевала война,
Шахты встают из руин,
Озимы всходы дружны.

Люди несут свой труд
Светлой эпохе в дар,
И дерзновенной мечты
Неудержим полет.
Волжские ГЭС озарят
Села и города,
Главный Туркменский канал
Жизнь в Каракумы вошьет.

Партии нашей ученье,
Величье ее идей —
Помыслов наших душа,
Доблести нашей оплот.
Партии нашей ученье —
Знамя советских людей,
То, что к победе вело,
То, что к победе ведет.

Глянь, как широк и могуч
Советских колонн поток!
Алое знамя узбеков
Реет меж братских знамен.
Высится, как маяк,
Счастливый Советский Восток,
Всем подневольным шлет
Свет коммунизма он.

В этот великий день
Шлем поздравленья мы
Всем, кто в желаньях чист,
Всем, кто надеждой согрет.
В синие небеса
Голубь стремительно взмыл,
Людям земли несет
Сердечный привет.

1950

ВЕЛИКОМУ РУССКОМУ НАРОДУ

Тебе все эти строки, брат,
Мой русский брат. Коль в них,
Скажу, как совесть мне велит,—
Как совесть будет стих.

Ты в коммунизм ведешь меня,
С тобой мой путь навек.
Живи, родной!.. С востока я —
Твой младший брат узбек.

Ты тот, кто миру избрал
Могучий самолет.
Вздымайся выше, покоряй
Пределы всех высот.

Глаза открыл мне манифест
В семнадцатом году:
Он букварем был для меня,
Зажег мою звезду.

Учитель мудрецов Ильич
Стал солнцем наших дней,
Согрев и мой родной народ
Огнем своих лучей.

Когда по радиоволнам
Москвы стремится весть,
Я знаю, что ее словам
Восток внимает весь!

С тех пор, как залпы Октября
Мир старый потрясли,
Росши слово — совесть всей
Разбуженной земли.

Ты добр, ты истинно велик,
Ты человек стократ!
О, как ты дорог мне, родной
Брат русский, старший брат.

Не ошибусь, сказав о том,
Что крепость мира — Русь!
Что справедливость — твой закон,
Сказав, не ошибусь.

Все в мире лучшее — в Москве,
В ней мудрость всех веков,
Библиотека Ленина —
Том в миллион томов.

В ней адрес «Правды», в ней зажглась
Заря для всех времен.
Рубинами Кремля весь мир,
Как солнцем, озарен.

Наука русских — океан:
Бескрайна, глубока,
Для человечества всего
Богатство на века.

Пред новым меркнет старина,
Как перед сталью — медь.
Но то, что Ломоносов дал,
Не может потускнеть.

Отраднo сердцу моему,
Когда я по утрам
Внимаю Пушкина стихам,
Радищева словам.

Как брат, я благодарно чту
Твоих гигантов, Русь.
Я Менделеевым горжусь
И Репиным горжусь.

Ты, старший брат, мне подал весть,
Что люди не рабы,
Что я свободный человек,
Творец своей судьбы.

Да, человек я! Я на тех
Двуногих не похож.
Что миру атомом грозят,
Чей символ веры — ложка...

Тебе все эти строки, брат,
Мой русский брат. Коль в них
Скажу, как совесть мне велит, —
Как совесть будет стих.

Седую голову подняв,
Вперед бросаю взгляд;
Великолепные дворцы
Высотные стоят,

И величавый Волго-Дон,
Колыша корабли,
Соединяя пять морей,
Бежит вокруг земли.

Влюбленный в ширь своей Руси
Брат русский, исполнил,
Лелеющий, как жизнь свою,
Красу родных долин.

Сияй, как солнце на заре!
И сердцем и судьбой
Трудящийся Востока я
В одном ряду с тобой.

Ты воспитал мой ум. Теперь
Пред ним бессильна тьма.
«Цвет кожи, раса» — звук пустой
Для моего ума.

В мой мозг впечатались навек
- Прекрасные слова:
И высших нет, и низших нет,
У всех одни права.

Борясь за радость мирных дней
В снегу, в дыму, в огне,
Брат русский, я в атаки шел
С тобою наравне.

Чтоб не стонала вся земля
Под вражьим сапогом,
В те дни на языке меча
Я говорил с врагом.

Спасибо, брат! Я был юнцом,
Ты вел меня в борьбе,
Я мужественным стал бойцом
Благодаря тебе.

Тебе все эти строки, брат,
Мой русский брат. Коль в них
Скажу, как совесть мне велит,—
Как совесть будет стих!

Вот мой народ. Смотри: идут,
Идут за рядом ряд...
Пройдя сквозь тысячи веков,
Тебя благодарят.

По Каракумам потечет
Шумливая река —
Подарок Партии земле
На многие века.

В глазах, во взгляде глаз моих,
Во всем, чем я богат,
В душе, в стремлениях души —
Ты, брат мой, русский брат!

В сознании, в творческих делах,
В блистающих наших рек
По слову партии встает
Священный новый век.

Тебе все эти строки, брат,
Мой русский брат. Коль в них
Скажу, как совесть мне велит,—
Как совесть будет стих!

1952

МОЯ ПАРТИЯ

На рассвете постучало
счастье в нашу дверь.
И народ мой сон и дрему
отряхнул от вежд.
И сказал себе:— Чем был ты,
вспомни и проверь!
Дверь для гостя отворил он
с тысячей надежд.

Чтоб высоко наша слава
к солнцу поднялась,
Чтоб мучениям извечным
положить конец.
Чтоб навек исчезла хана
и кагана власть,
Гнев святой мы раскалили
в глубине сердец.

...Очаги готовы были
ярко запылать,
Подметенные с рассвета,
политы двory,
Ждали знака мы, чтоб знамя
красное поднять.
В час великой, долгожданной,
радостной поры.

- Долго той зари желанной
Азия ждала,
Был на бой за жизнь и счастье
каждый вдохновен...
В землю прежде наша слава
втоптана была:
Небылью мы были в мире
под ярмом времен.

Руки нам вязали четки,
шариат, коран.
До крови нас бил пагайкой
белый падишах:
Не смолкали стоны горя,
кровь текла из ран,
Богател эмир на жалких,
нищенских грошах.

В каждой почке, в самой почве,
в воздухе самом
Ожидание таилось,
что настанет день,
Что рассветный, предвесенний
гулко грянет гром,
Встанет солнце и разгонит
тягостную тень.

Ленин исстари, как солнце,
жил в сердцах у нас —
В вопрошающем движеньи
горестных бровей...
Жил в груди отцов и братьев
в предрассветный час.
Как заря, вставал все выше,
ярче и живей...

Это — Партия и Ленин
словом и щитом
Оградили нас от черпой,
гибельной судьбы.
Если б не великий Ленин —
рухнул бы наш дом
И культуры нашей древней
пали бы столбы.

От Пекина до Багдада
через Хорасан
Мы шелка везли цветные.
Знающий следит,
Как в былом — на удивленье
европейских стран —
Радужным стеклом бухарским
торговал Мадрид.

Жив Абу Али ибн Сина
в памяти врачей
И еще тысячелетья,
верно, будет жить.
Беруни! Твое ученье —
мудрости ручей!..
Твой источник жизни внуков
сможет напоить.

Вспомни росписи Хорезма,
вспомни Самарканд.
Вспомни кладку стен узорных,
сложенных навек, —
В них любой кирпич, как будто
золота талант.
Здесь во всем — твой труд, твой гений,
дух твой, человек!

Улугбек — минувшей славы
нашей торжество —
Дал нам звездные таблицы
и пути планет.
Но невежество отсекло
голову его...
И погас для нас надолго
знанья чистый свет.

И когда от нас в изгнание
уходил Фуркат,
Мы полой отерли слезы,
молвили: «Прости!»
Правду он другим народам
был поведать рад...
Но из плена мулл и ханов
он не мог уйти.

Нашу мощь они пригнули,
как лозу, к земле,
Но великая на помощь
партия пришла,
И увидели мы солнце —
жившие во мгле...
И заря свободы нашей
светлая взошла.

Счастлив я, что ты, родная
партия моя,
Мне торжественно вручила
красный партбилет!
Голос Ленина я слышал —
этим счастлив я.
Книга Ленина со мною
как бессмертный свет.

На рассвете постучало
счастье в нашу дверь.
Мы поднос, лепешек полный,
поднесли гостям.
Говорили: «В братской дружбе
жить нам век теперь!»
Обнимались, целовались,
радуясь друзьям.
Разве наш сегодня пловом
славен дастархан?
Это луч любви и ласки
дом наш озарил!
Ленин проложил дорогу
сам к сердцам дехкан,
Сел за стол у нас, лепешку
с нами преломил.

Словно солнце, на пастушьих
старых курпачах,
Как родной, сидел он с нами,
пищу нашу ел,
Пил кумыс, шутил, смеялся...
И в его речах,
Ясных, мудрых и спокойных,
небосклон светлел.

«Ну, пора вставать!» — сказал он.
Все мы поднялись
И пошли за ним, любимым,
шаг за шагом вслед.
Свергли ханов и каганов
и за труд взялись.
И зажгли неугасимый
над землею свет.

Гром «Интернационала»
старину потряс...
Ленин шел в строю рабочем,
Ленин с нами шел.
Вот тогда, в тысячелетья —
в жизни первый раз —
Звучный голос нашей правды
в мире прозвенел!

Мы Республикой Советов
много лет назад
Крепко стали, крепко взяли
знамя, как зарю.
Всем, что дорого, клянусь я,
друг, соратник, брат:
Навсегда народ узбекский
верен Октябрю!

1957

НА ПОРОГЕ ГРЯДУЩЕГО

Взирая на бурливый бег событий,
ты хочешь ясный получить ответ:
Что будет с человечеством, с планетой
всего через каких-то двадцать лет!
Нам не к лицу гаданья, мы — марксисты,
не нужно нам красивых небылиц, —
Дает нам силу мыслить и предвидеть
живая правда ленинских страниц.

Я верю: через два десятилетия
в стране чудес, где мы с тобой живем,
Еще мощней и величавей станет
всех наших сил стремительный подъем.
Тогда увидим мы, как воплотится
в бетон и книги, в песни и металл
Та светлая эпоха, о которой
весь род людской столетьями мечтал.

Мы все живем высокою надеждой,
наш взор упрямо устремлен вперед.
Мечты о днях грядущих нам дороже
всех наших личных, будничных забот.
Мы знаем: труд огромный только начат,
но наш великий, небывалый труд
Подхватят волны новых поколений
и до конца победно доведут!
Да, друг мой, через два десятилетия,
когда мне будет восемьдесят лет,
Еще глаза мои успеют встретить
дней коммунизма пламенный рассвет.
Хотелось бы увидеть мне в те годы,
когда я буду немощен и стар,
Кем станет самый младший из Гулямов —
Мой маленький внучок Мирзамухтар.
Сейчас ему три с половиной года,
а сколько в нем задорных, свежих сил!

Лишь пять минут назад он был шофером,
теперь служить в милиции решил.
Вот нацепил игрушечную каску
и собирается пожарным стать,
А прогудел вдаль ТУ-104,
и он мечтает в небесах летать!
Нет, ждут тебя дела куда чудесней,
веселый мой внучок Мирзамухтар!
Не знаешь ты, что в годы коммунизма
домам не будет угрожать пожар,
Не знаешь ты, что в годы коммунизма
милиция на пенсию уйдет,
И будет дряхлою арбой казаться
наш самый быстрокрылый самолет.
Вся наша Родина — твой дом просторный!
Еще узнаешь ты, с каким трудом,
В какой борьбе твои отцы и деды
для вас воздвигли этот светлый дом.
Штыками вражий натиск отражая,
кирками скалы мрачные дробя,
Они страдали, гибли, побеждали,
чтоб новый мир построить для тебя.

А через двадцать лет!.. Каким ты станешь,
мальчонка смуглый, мой внучок меньшей?
Наверно, статным, молодым красавцем
с лицом веселым, с гордою душой.
Уверен я, из всех путей на свете
ты выберешь не самый легкий путь...
Ах, если б смог до этих дней дожить я,
чтоб на тебя, мой озорник, взглянуть!

Кем станешь ты?.. Ученым ли пытливым,
чей взор в глубины вечных тайн проник,
Строителем ли атомных заводов,
творцом ли новых вдохновенных книг,
Одним из тех властителей природы,
- что землю превратят в гигантский сад,
Или из тех разведчиков Вселенной,
что к самым дальним звездам полетят?

Ты будешь жить под небом коммунизма,
мой маленький шалун Мирзамухтар,
Вам, поколению зорких и счастливых,
грозить не будет мировой пожар.

Бессмертный Ленин — ваш живой наставник,
наследством вашим станет вся земля,
И будут ваши души, совесть, разум
кристальнее и тверже хрустала.

Мир коммунизма! Знаешь ли, мой мальчик,
как сказочно он ярок и богат!
Там кончились навек людские распри,
там каждый — твой товарищ, друг и брат,
Там смело реют крылья вдохновеенья,
не ведая ни гнета, ни помех,
Там солнце щедрой, справедливой жизни
сияет одинаково для всех.

Там буйно колосится изобилье,
там все таланты радостно цветут,
Там люди счастья большего не знают,
чем дружный, вольный, вдохновенный труд.
Там нет господ-пиявок пенасытных,
что раньше пили жизни лучший сок,
Там человек поистине свободен,
а жизни смысл — поистине высок!

Не знаешь ты, мой мальчик, что сегодня
под сводами Кремлевского дворца
С рассвета собрались в огромном зале
отчизны нашей лучшие сердца.
В том зале, где торжественно со сцены
глядит бессмертной истины портрет,
Съезд ленинцев, как знамя, развернулся,
по всей планете разливая свет.

Полны мечты и правды путеводной,
в простор грядущих дней устремлены,
Программы новой солнечные строки
отсюда хлынут, как лучи весны.
Ты подрастешь на штурм высот орлиных
строительница счастья — молодежь.

Ну, а пока резвись, забот не зная,
мой смуглый озорник Мирзамухтар,
Возись в песке, за бабочками бегай
и отдыхай в тени густых чинар.
А я, твой дед, седой, почтенный, строгий,
всю жизнь отдавший битвам и трудам,
И за себя, и за тебя, мой мальчик,
шлю нашей Партии свой пламенный салам!

1961

ПИСЬМО И СЕРДЦЕ

Когда в Узбекистане гостил общественный деятель Аргентины Родольфо Гьолди, Гафур Гулям написал в стихах приветствие аргентинскому народу. Родольфо Гьолди доставил это послание в свою страну, а известный аргентинский поэт Рауль Гонсалес Туньон написал ответ в стихах. Здесь первое — послание Гафура Гуляма, второе — ответ Рауля.

Океан между нами, сверкашие вод
И в гудении шторма валов нарастание,
И вершинами горы вросли в небосвод,
Полыхая, как полдни в Узбекистане.

Но ничто мою песню с пути не свернет,
Сердце путь ей открыло, свобода вскормила,
И пускай она станет меж ваших забот
Другом, спутником, веточкой с дерева мира.

Что в поэзии чин или сан,
Бремя славы и почестей прочих?
Я — крестьянин для ваших крестьян,
Я — рабочий для ваших рабочих.

В уважении к миру, добру, труду
Я с открытой душой в этот путь иду,
Небесами, морями в полет, вперед,
От земли к земле, из народа в народ!
Мой советский, свободный, щедрый Восток
Подсказал мне музыку чувств и строк.
Вашим людям, рекам, садам, полям
Шлет привет и поклон свой Гафур Гулям!

РАУЛЬ ГОНСАЛЕС ТУНЬОН

Мой друг Родольфо Гьолди мне сегодня,
Все в запахах земли твоей далекой

И желтых бликах солнца над арыком,
Принес письмо и добрый твой привет —
Далекый зов,
Кусочек жизни жаркой,
В которую всегда влюблен поэт.
И голос твой проник мне прямо в душу.
Пусть разные
Горят над нами звезды,
И разные синеют небеса,
И между нами катит океан.
Холмы, холмы,
И с ледниковых гор
В долины прыгают седые реки,
И табунами бродят облака.

Пускай язык испанский и узбекский
Не схожи,
Как не схожи наши звезды,
Зато в родстве у нас с душой душа
Неистребимость мира на земле.

Мы, два поэта, вместе славим жизнь
И в будущее движемся упорно.
Мои ты любишь звезды, я — твои,
Ты — пампу,
Я — твои сады в пустыне,
И разом оба — небеса свободы
Над родиной твоей, мой друг Гафур.

Честь твоему народу!
Честь и слава!
Он сам в грядущее мостит дорогу,
И трудный хлеб его —
Как лучший мед!
Но о своей серебряной стране
Я, к сожаленью, не скажу того же.
Да,
Высоко пшеничные колосья
Под утренним сверкают ветерком.
Но низко, так, что прах с глазами вровень, —
У нас склоняют головы крестьяне.
Белым-бела стоит у кромки моря
Столица наша,
Но ее дворцы
Из пота, из мозолей, из нужды

Не каменщик, а черт наживы строил.
Пыль, пыль в пути глотает мой народ.
Но на дорогах, солнцем обожженных,
Предвидит встречу с новою судьбой.
Да, он еще найдет ее!
И глубже
Запустит плуг, к посеву рыхля пампу,
И смелый подвиг твоего народа
Ему тогда послужит образцом.

В знак этого
Я розу с красным ртом,
И запах Анд, осыпанных снегами,
И в росах веточку плакучей ивы
Из Байя-Бланк
Тебе сегодня шлю!

Ты о себе сказал,
Что ты — крестьянин,
Ты о себе сказал,
Что ты — рабочий,
Так от крестьян и от рабочих
Этот,
От родины моей, ее народа
Народу родины твоей — привет!
Привет прекрасному Узбекистану
Через тебя, мой друг Гафур Гулям!

1961

ВОДИТЕЛЯМ «ГОЛУБЫХ КОРАБЛЕЙ»

По волнам густого хлопка,
в ясной утренней дали
Проплывают друг за другом
голубые корабли,
И похожи вереницы
этих чудо-кораблей
На жемчужные цепочки
перелетных журавлей.
Ближе, ближе гул моторов,
а в ответ поют поля...
Кто же это за штурвалом
головного корабля?
Вижу пеструю косынку,
озорных бровей разлет —
Черноглазая узбечка
голубой корабль ведет.

Бьет в лицо задорный ветер,
жарко с самого утра.
Смотрит радостно и гордо
комсомолка Манзура.
Влюблена в свою машину,
не машина — просто клад:
Чисто хлопок убирает
этот мощный агрегат!
А за ней ведут подруги
в пене хлопковых долин
Строй таких же хитроумных,
удивительных машин.
— Добрый путь вам, дорогие! —
крикнуть хочется вослед.
Как отец, любуясь вами,
восторгаюсь, как поэт,
В дружных семьях, в светлых школах,
веселы, умны, горды,

Вы росли, не зная страха,
униженья и нужды.
Вам не прятать лиц пугливо
и не плакать взаперти.
Яркий символ новой жизни —
ваши вольные пути.
Слаще меда Арсланбоба
ваши нежные черты,
Шпре зорь над Сырдарьею
ваши смелые мечты.
Встречу вас — и в старом сердце
заструится кровь быстрее!
Сколько у меня красивых
и счастливых дочерей!
Дни уборки наступили,
и поля блестят кругом,
Будто солнечные чаши
с закипевшим молоком.
Каждый час рабочий дорог,
зря мгновения не трать —
Быстро, чисто, до пушинки
хлопок надо собирать.
Весь народ сегодня в поле,
и шеренгою стальной
На заре ведут машины
ученицы Турсуной.
Проплывают с львиным рыком
голубые корабли —
Будто острыми клинками
грудь долины рассекли.

Добрый путь! Не уставать вам,
черноглазые мои!
Вам дарю я эти строки
восхищенья и любви.
Вдаль ведете вы машины,
чуть качаясь на волнах,
Будто сказочные перп
на волшебных скакунах.
Пусть лукавят ваши брови
и звенит здоровый смех.
Пусть на всех дорогах жизни
вам сопутствует успех,
Пусть вас песней окружает
всенародная хвала,

Пусть везде примером служат
ваши славные дела!

Не хочу я, чтоб джигиты
обижались на меня,
Чтобы критики злорадно
покушались на меня,
Чтоб могли с усмешкой люди
о стихах сказать моих:
«Хоть и стар, а воспевает
только девушек одних!..»

Нет, герои мирной битвы,
славные мои сыны,
В сердце солнечные строки
и для вас припасены.
Выйдешь к хлопковому морю
в золотой рассветный час,
Только глянешь — и невольно
залюбуешься на вас.

На своих стальных тулпарах
в алом пламени зари
К рубежам большой победы
движутся богатыри.
Брови сдвинуты упрямо,
руки стиснули штурвал,
И на доблесть вашу глядя,
вас бы львами я назвал.
На гвардейцев вы похожи,
взявших с боем высоту —
Сотни тонн уже сегодня
у любого на счету,
На батыров вы похожи
из прославленных легенд —
Равен подвигу Фархада
каждый собранный процент!

Но любовь, что затаилась
в наших пламенных глазах,
Разве выразить в процентах,
разве взвесить на весах!
Горы сдвинуть вы готовы,
все преграды сокрушить —
Лишь бы нежную улыбку
глаз любимых заслужить.

Вам, упорным, сильным, зорким,
все на свете по плечу,
Пожелать большого счастья
вам заранее хочу.
Завершим уборку с честью
да итоги подведем,
И тогда начнутся свадьбы,
радость хлынет в каждый дом!..
По волнам густого хлопка
в ясной утренней дали
Строим движутся машины,
будто в небе — журавли.
Я гляжу — и в старом сердце
кровь струится веселей:
Сколько у меня счастливых
сыновей и дочерей!
Весь народ гордится вами,
вашей славой восхищен,
Собирайте быстро, чисто
сотни белоснежных тонн!
Вас увидев за штурвалом
голубого корабля,
Птицы вслед крылами машут,
и хвалу поет земля.

1962

СЛАВА ПОБЕДЕ

Узбекистан наш достиг намеченных рубежей — собрал большой урожай хлопка. Ради этой великой победы самоотверженно трудился весь наш народ — наши мастера-хлопкоробы, прославленные механизаторы, юноши и девушки, старики и молодежь. Обеспечили нашу нынешнюю великую победу заботы и организующая роль нашей великой партии.

Мое искреннее преклонение перед моим народом-хлопкоробом и перед его вождем — Коммунистической партией я и хочу выразить в приводимом ниже стихотворении.

В глубине бесконечной
вспышки трепетных звезд.
Над извечностью
Млечный
перекинулся мост.
Вечным движется ходом
светил хоровод...
Как они,
год за годом
идем мы вперед...
Скажешь — волны,
мне видится море.
Скажешь — море,
и волн закипают ряды...
Словно миротворенье,
в первозданном просторе
Необъятны наши труды.
Эти верные руки,
этот разум и пламя сердец —
Крепче всякой поруки,
что к цели придем наконец.
Как мысль, беспокойный,
как воображенье, живой,
Покоритель глубин и высот,
Труженник,
сильный,
скромный,
простой —
Мой богатырский народ;
Он каждую каплю
в алмаз превратил,
Землю — в золото,
власти его и уму

Покорились дэвы
 неведомых сил —
 своевольные волны Аму.
 Как на необыгранном сазе
 мелодий неведомых пенье,
 Ту загадку, что ум разрешить
 не умел в былые года,
 Гений наш, вдохновенье, прозренье
 разгадали раз навсегда.
 Золотая земля,
 что века пустовала,
 Сегодня
 обильно орошена,
 Принесла урожай,
 никогда небывалый
 в прежние времена.

Как рельефы на скалах щербатых,
 как свирепая клинопись древних царей,
 Долгим опытом память богата
 в голове поседелой моей.
 Оглянись на стотысячелетний
 Страдный путь
 поколений былых

И гордись:
 ты —
 всех гениев мира
 наследник,
 Продолжатель сегодняшних их!
 Видишь ты
 сквозь систему
 магических стекол

Копошепье миров —
 за ковшем Сурайи...
 И по радиоволнам
 летят издавека

Ответы планет,
 услыдав позывные твои.
 Механизмы,
 творимые нами, —

Ключ сокровищницы вековой,
 Так мы стали могучи,
 что можем руками
 Ощутить
 горизонт мировой.

Крепкие мы приковали
крылья уму,
В помощь дали
машин и моторов тьму.
Рабочему классу
шлем благодарность
Мы — «белого золота» — хлопка
творцы.
Тебе — моя мысль
и труд наш ударный.
Здесь сказано все —
и созвучий
не нужны венцы.
Мы — потомки
простого
народа узбеков,
Удивлявшегося
при гашении извести
появленью тепла.

Да!
Был год наш —
годом «овцы»!
Но отныне до века
Наша зрелость окрепла
и в силу вошла.
Где слава былая
Тавакская и Керминне!
О Родина,
дети твои
Поселились —
видится мне —
В Чирчике
и Навои!
Тебе
от друзей хлопкоробов
привет!

Как знамя,
пламя
костра во тьме.
Во всеобщем
сегодняшнем торжестве,
Наших подвигов повесть,
как Шахнаме.

* * *

Пусть движутся годы,—
всегда и везде
Величье народа
в творящем труде.
Ведem мы машины
по древним степям.
Сняв шапки,
вершины
склоняются к нам.
Откроются щедро
источники вод.
Глубинные недра
земля распахнет.
Безгласные годы
над этой землею
прошли...
Открыты народом
сокровища нашей
земли.
Поэтому
вольный, свободный стих
И новый
строк моих строй,—
Тебе,
любимец песен моих,
Народ мой,
борец и герой!
Мой народ
вперед
в Коммунизм идет!
Каравановожатым
на светлом пути
Партия Ленина
нас ведет!
С нею нам
к победе идти!
В день победы
партии нашей салам!
В день победы
партии нашей салам!

1962

Стихи — детям

ДВА ДЕТСТВА

1

Весна. До сих пор ветра нет с высоких гор.
Ветви тала грустят. У ребят печален взор.
Тишина среди полей. Может, ей наперекор
За мечтою своей побежать во весь опор!
Ветер, ветер, поскорей
 пусть летит бумажный змей!

Ветра нет. Побегу. Змей бумажный не летит.
А поднявшись слегка, рухнет колом и разбит...
Я на крыше стою. Сердце яростно стучит.
Ветер мимо проскакал, точно на коне джигит.
Ветер, ветер, поскорей
 пусть летит бумажный змей!

Вспомню детство свое, мало радости я знал:
Серость обветшалых крыш, дома сыро, дым, сандал...
В перештопанных штанах, не обут и ростом мал,
Змея грустно подобрав, я играл и друга звал:
Ветер, ветер, поскорей
 пусть летит бумажный змей!..

2

В небе снова запел твой пропеллер озорной.
Самолет высоко пролетает над землей,
Даже ветру не догнать птицы сизо-голубой.
Где-то мальчик пионер машет весело рукой.
Выше, выше, Низамджан,
 ты веди аэроплан!
Как на карте внизу расстилается земля,
Крыши новых домов, краны, стройки, тополя,
Дальше — речка, сады, золотистые поля.

Небо синее зовет, всех мальчишек окрыля!

Выше, выше, Низамджан,

ты веди аэроплан!

В новом детстве светло. Нет нужды и горя нет.

Каждый в школу идет. Каждый празднично одет.

У детишек много книг, игр веселых и конфет.

Им высокий, звездный путь освещает знаний свет.

Выше, выше, Низамджан,

ты веди аэроплан!

1935

УТКА И ТУРГУН

Когда-то утка дикая жила,
Она себе разумницей казалась.
У леса речка синяя текла,
И утка в ней и день и ночь купалась.

И перья утки, словно паруса
При ветерке, взлетели над рекою.
Она глядела томно в небеса
И обливалась теплою водою.

В речушке рыбок маленьких не счесть,
Их наша утка целиком глотала,
Их с косточками можно было есть...
«Гок-гок» она, наевшись, напевала.

Был летний вечер с полною луной,
Прохладный ветер веял над волнами.
Кудрява, как ягненок молодой,
Волна играла с лунными лучами.

Поплавать утке в голову пришло,
Поплавала она и замечталась:
«Прелестный вечер, тихо и светло,
Но кажется, что я проголодалась».

В лесу похолодало в час ночной,
Рыб стая к теплому ручью умчалась,
Речная рябь, мелькая под луной,
Рыбешками той утке показалась.

Вот утка вытянула шею, вот
Раскрыла клюв. И ловит — не поймает.
Волна, играя, за волной плывет,
Как блестящая рыбка уплывает.

Всю ночь трудилась утка... Рассвело,
В гнездо ушла охотница лихая,

Голодная, клюв спрятав под крыло,
Заснула, ничего не понимая.

На завтра же, когда в лучах дневных
Вновь рыбки заиграли под ногами,—
Та утка отвернулась от них
И с той поры питалась лишь червями.

Вот так бывает плохо в жизни тем,
Кто, раз ошибшись, ленится трудиться...
Тургун на утку не похож совсем,
Он исправлять ошибки не боится.

Любитель игр, как ртуть сама, живой,
Он прошлый год учился очень мало,
Остался в классе он на год второй,
И стыдно нашему Тургуну стало.

И он догнал товарищей своих,
Из класса в класс перешагнул он смело,
Зовет теперь ленивцев он других,
Зовет ошибки исправлять умело:

«Не будьте как та утка,— говорит,—
Мои друзья веселые, иначе
Останемся мы в жизни ни при чем,
Другим на смех, без счастья и удачи».

1935

ЗМЕЙ ТУРСУНАЛИ

Пришла весна. По небу журавли
Мелькнули быстрокрылой вереницей,
Как черные косички Джамили...
В такую пору дома не сидится.

Пришла весна. Сияют облака
В лазури белоснежными шарами,
Трещоткою бумажною змейка
Рокошет гром за дальними горами.

Как мальчугану дома усидеть
В такую пору, раннею весною?..
Турсунали не хочет спать и есть,
Он носится, как ветер над землею.

Сейчас стоит на крыше он своей,
В траве зеленой, маками заросшей...
«Ах, как хорош у Умарджана змей!
Ах, как бы сделать змей такой хороший!»

Ревниво сердце мастера стучит,
Грудь не вмещает юную отвагу,
Из камышинок змей он мастерит,
Раскрашивает клетками бумагу.

Вот кисею приладил он, и вот,
Когда на крышу ивы тень упала,
Расправил змей кисейный пышный хвост,
Трещотка на ветру затрепетала.

Теперь лети! Лети, бумажный змей,
С зеленой крыши в синие просторы!
Пусть быстроте и легкости твоей
Завидуют и тополя, и горы!

На палочке размотан весь шпагат,
Змей рвется вверх, летит, не улетая,
Как будто бы отнять его хотят
Просторы неба, завистью пылая.

Без умолку трещит он, будто им
Садовник мира землю охраняет...
К шпагату ухом прислонясь своим,
Загадки неба мальчик постигает.

А змей шумит: «Ты видишь, я высок,
Жаль, что напрасны все мои усилья,
Не то бы я умчал тебя, сынок,
В простор Вселенной на бумажных крыльях».

И в этот миг коснулась земли
Тень плотная большого самолета,
И молвил самолет: «Турсунали!
Скорей расти для славы и полета!

Прекрасен светлый мир. А я могуч,
Мы пролетим с тобой над городами,
Над пашнями колхозов, выше туч,
Всю Родину увидим под крылами.

Расти скорей, товарищ юный мой,
К твоим услугам техники высоты». ...С
закинутою в небо головой
Турсунали глядит вслед самолету.

Он выпрямился и отдал салют:
«Я вырасту, я сделаюсь пилотом!»
А змей бумажный закружился тут
И вниз упал, пристыжен самолетом.

1937

МОЛОДЕЦ,— Я СКАЖУ,— СЫНОК!

Отец! А если стану я большой
И полечу высоко над землей,
Над этою звездой и над той,—
Что скажешь ты, оставшись одинок?
— Молодец,— я скажу,— сынок!

— Отец! А если на коня вскачу,
Как быстрый ветер, по дороге полечу,
И в краснозвездную Москву примчу,
Что скажешь ты, взглянувши в даль дорог?
— Молодец,— я скажу,— сынок!

— А если я — на танке в гром атак,
И от снаряда загорится танк,
А я врагов и этак бью и так,—
Что скажешь ты, смиряя боль тревог?
— Молодец,— я скажу,— сынок!

— Отец! А если мне из пушки бить,
Артиллеристом знаменитым быть,
Одним ударом всех врагов разбить?
Что скажешь ты, узнав об этом в срок?
— Молодец,— я скажу,— сынок!

— Отец! А если в Арктику в поход
С тобой нас вместе Родина пошлет.
Кругом морозы, белый снег и лед...
Что скажешь ты, коль будет путь далек?
— Молодец,— я скажу,— сынок!

— Отец! А вдруг, уехавши один,
На северянке женится твой сын
И будет жить среди полярных льдин,

Сменив на север свой родной Восток?

— Молодец,— я скажу,— сынок!

— Отец! А если вырасту большой

И карандаш возьму заветный твой,

И напишу стихи своей рукой,—

Что скажешь ты при виде новых строк?

— Молодец,— я скажу,— сынок!

1939

ПРАЗДНИК СОВЕТСКОГО НАРОДА

Великий праздник. Впереди знамен пурпурный строй,
И я, нарядный, как тюльпан, обрызганный росой,
И я отважным быть хочу,
С знаменосцами в строю идти плечо к плечу.

Вот скачет конников отряд, и песни их звенят,
И все поют, все вторят им, и я им вторить рад.
И я, расправив грудь мою,
Не отставая от других, победный марш пою.

Тяжелой сталью грохоча, идет могучий танк.
На командира я гляжу с мечтой: «И мне бы так!»
И вырасти хочу скорей,
Чтоб равным быть в кругу таких бойцов-богатырей.

Как будто чистый океан — бескрайний небосвод,
И белый лебедь-самолет в нем плавает, и вот
Летит к нему мечта моя,
И мы с ним плаваем вдвоем, как равные друзья.

Ликует площадь, начался могучих сил парад.
Звенит оркестр, плечо к плечу стоит за рядом ряд.
Гремит победный гордый марш.
Команда подана: «Вперед! Колонны — шагом арш!»

Народ проходит. Славный наш, советский наш народ.
Идут его богатыри, — любовь его идет,
Идут творцы его побед,
Великой партии мужи — опора светлых лет.

О сердце, как мне рассказать о радости твоей!?
Я здесь, я с вами навсегда, ряды богатырей.
Я здесь, о Родина моя!
Хоть мне еще немного лет — я здесь, со всеми я!

Я ЗНАЮ

— Слушай! Синее небо, как зонт, над твоей головой,
И земля золотая, и ветер весенний такой,
И мой сын черноглазый красив, как олень молодой,
А когда это было, Яшар? Расскажи дорогой...

— Вы про праздник, отец, говорите, я знаю!

— Я с любовью к тебе как-то утром стихи сочинял,
Красный мой карандаш утащив, ты писать помешал.
Ты бежал в сапожках лакированных, я догонял,
А когда это было, Яшар? Ты про это слышал?

— Вы про праздник, отец, говорите, я знаю!

— Ты свою тюбетейку с пунцовым тюльпаном надел,
В карусели на льва с чернобурою гривой сел,
С детворой ты под музыку гордо по кругу летел.
А когда это было, Яшар? Я забыл среди дел...

— Вы про праздник, отец, говорите, я знаю!

— Ты под вечер, уставши, взобрался на плечи мои,
На меня посмотрели лукаво глазенки твои,
И с осанкой поэта ты молвил: «Я буду, отец, Навои!»
А когда это было, Яшар? Этот день назови.

— Про сегодняшний день говорите, я знаю!..

1941

ТЕБЯ ЖДЕТ РОДИНА

Ты последний экзамен сдаешь,
сердце радостно бьется в груди,
Мир открыт для тебя,
много светлых дорог впереди.
Ты советской отчизны,
надежда ее и оплот,
Знай: для славного дела
тебя наша Родина ждет!
Алым цветом на глобусе
обозначена наша страна.
Та, что дружбой миллионов,
что братством миллионов сильна.
Будет вечен, бессмертен
великий советский народ.
Знай: для славного дела
тебя наша Родина ждет!
Ты познал тайны алгебры.
Пусть тебя эти знания ведут
К месту новых строителей,
на радостный творческий труд.
Не сегодня, так завтра
ты — душа инженерных работ.
Знай: для славного дела
тебя наша Родина ждет!
И простой разговорный язык,
и язык стихотворной строки
У народов различны.
Будешь многие знать языки,
И на пост дипломата
Отчизна тебя призовет.
Знай: для славного дела
тебя наша Родина ждет!
Много в мире наук,
сила знания в наших руках.

Пусть проляжет твой путь
на земле, на воде, в облаках.
Будь застрельщиком всюду,
иди лишь вперед и вперед.
Знай: для славного дела
тебя наша Родина ждет!
Покоряя грядущее,
помни о прошлой борьбе,
Пусть история партии
светочем будет тебе.
Сын советской отчизны,
надежда ее и оплот!
Знай: для славного дела
тебя наша Родина ждет!

1941

СНАЧАЛА — УЧЕНИЕ

**Вчера, десятый класс окончив на «отлично»,
Ты получил, сынок, желанный аттестат.
Теперь к лицу тебе и галстук и привычный
Мужчине взрослому мужской наряд.**

**Рокочет голос твой. И так, в дому отныне
Царит звучанье жизни двух мужчин.
Мать не насмотрится на стан, на облик сына,
И горд, и рад отец, что стал опорой сын.**

**Когда ты слышишь смех за изгородью сада,
Тотчас гонцом любви твой разум унесен.
Глупыш! Не девушка смеялась за оградой —
Пиал фарфоровых к тебе донесся звон.**

**Вот уж и на тебя раскидывает сети
Захватчица-любовь — обычай всех веков.
Невеста пылкая всех юношей на свете
Сочла, что ты уже один из женихов.**

**Но с этим подожди. Ловец нетерпеливый
Не словит птицу счастья, мальчик мой.
Недаром говорят, что деве торопливой
Жених достанется плешивый и хромой.**

**У пятилетки, сын, еще в большом долгу ты
И не прочел еще ты многих сотен книг.
Перед тобой еще ученье в институте,
Ты многих мудрых тайн покуда не постиг.**

**Наука ждет в тебе Ньютона, Авиценну,
Поэзия ждет Пушкина в тебе.
Не посрами отца. Будь мне достойной сменой,
Хозяином земле, хозяином судьбе.**

Не раз ты удивишь теперешних ученых,
Дорогой знания пройдешь ты далеко.
Так оправдаешь ты и труд отца бессонный
И матери, тебя вскормившей, молоко.

Пора студенчества — всего пять лет, но в ней ты
Найдешь залог на сотню лет вперед.
Она пройдет, когда став тонким телом флейты,
Речной камыш в оркестре запоет.

Наукой не зови познания крупицу.
Жизнь полной не считай, не получив диплом.
Твой час еще придет. Ученье завершится.
Тогда, взрослее став, веди невесту в дом.

Тогда вам и почет. Тогда иное дело.
Пусть тысяча гостей придет на свадьбу к вам!
А нам уж, в ком любовь состариться успела,
Отрадой будет честь прислуживать гостям.

Да, к слову. Постарев, мы все ворчим да учим
И надоедливы в советах иногда.
Что делать! Я хочу, чтоб род мой был могучим
И радостным на многие года!

Пусть знания мои твоей помогут славе,
Избравши верный путь, учись не отступать.
И помни, мальчик мой, нет цели величавей,
Чем истинная цель: творить и побеждать.

1945

НОВОГОДНЯЯ ПЕСЕНКА

Елка в комнате растет,
Это значит — Новый год.
Новогодний пирожок
Так и просится мне в рот.

Вон барашек золотой
С шерстью, в кольца завитой.
Потому он ходит сам,
Что с пружинной заводной.

«Раз-два-три-четыре-пять,
Вышел козлик погулять.
Раз-два-три»... «Кто «три» сказал?
Ты нас будешь догонять!»

Зарифа, Назми, Нур-ой,
Я, Алмос и Алтыной.
Сколько кос у всех подруг,
Если двадцать у одной?

Зубы выпали мои,
Снова выросли они.
Мне сегодня восемь лет,
Не дождусь я девяти!

Скоро аист прилетит,
Он весну с собой примчит.
Крылья у него белы,
Как тетради белый лист.

Я до тысячи считать
И свободно русский знать

Буду в этом же году,
Чтоб отличницею стать.

Ёлка в комнате растёт,
Огоньками вся цветёт...
Мне сегодня восемь лет,
Девять будет через год.

1946

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

Вы еще в школе. А в сейфах из мраморной стали
Зрелости вашей грядущей печати лежат.
Звонкие слитки для будущих ваших медалей —
Клад золотой до поры безымянных наград.

Юноши, девушки! Дома ль я встречу, иль в классе
Взор ваших умных, внимательных ваших очей —
Знаю заране, чью жизнь благодатно украсит
Яркая будущность в алом сияньи лучей.

Нет, в этой фразе, пожалуй, немного неправ я.
Будущий путь ваш у всех лучезарно пригож.
Этому миру, которому не было равных,
Кто же хозяйева, если не вы — молодежь!

Будущность — вы. Вы народа пытливые взоры.
Если не вы — загорится ли в небе звезда?
Если не вы — зародятся ли новые зори —
Светлых грядущих времен золотая гряда?..

Нет вам пены, поколенью, впитавшему с детства
Тягу к познанию, к труду для народа любовь,
Выпекли вас из добротного славного теста.
Верность вождю и Отчизне и в плоть вам впиталась
и в кровь.

Ваши отцы — мы гордимся, любуемся вами.
Юноши, в дружбе, в любви берегущие честь!
В каждой семье будут рады назвать вас зятьями,
В каждой семье, где красавицы дочери есть.

Девушки, милые девушки, девушки-пери,
Нежной своей красотой украсьте наш сад.

Век красоты не на долгие годы отмерен,—
Знание впитавши, она совершенней стократ.

К девушке — юноша, к верности — верность
стремится.

Сну не прикажешь: «Не спишь!» Не по знаку
приходит любовь.

Тонкой сурьюмою познания подкрасив ресницы,
Гляньте сквозь них, как светла, как безоблачна
НОВЬ.

Гляньте вокруг. Перед вами широкие дали.
Стают снега, возвратятся в сады соловьи.
Точно орлы, что окрепших птенцов поджидали,
Ряд институтов вас примет в объятия свои.

Быстро пройдут, пронесутся студенчества годы.
Ваши слова будут вкладом в богатство страны.
Славным делам, созидającym счастье народа,
Ваши способности будут, как воздух, нужны.

Дел не измерить. Один разгадает парады
Горных пород, облегчающих свод голубой,
Мертвые степи ликующим сделавши садом,
Зеркалу мира придаст лучезарность другой.

Третьим из вас будет жизни предел атакован,
Так, чтобы жить нам да жить и о смерти не знать.
Так, чтоб дожив до две тысячи сорок шестого,
Здравицу партии мог я, ликуя, сказать.

Вникнет четвертый в тайник стихотворного строя.
Слово его заблистает, как пламенный лал.
Пусть же и я тогда буду вспомнят порою,
Вот хоть за это, а может, за все, что я дал.

Юноши, девушки! Чистая преданность ваша,
Бодрость, старательность радуют душу и взгляд.
Молодость ваша еще и еще будет краше,
Если медали дорогу ее озарят.

1946

ПИОНЕРУ

Ты, маленький мальчик,—
Народа великого сын,
Хозяин отчизны,
Морей ее, гор и долин.

Еще не велик ты,
Тебе лишь одиннадцать лет,
Но очи недаром
Блистают, как солнечный свет.

На лбу твоём — солнце,
И ветру подставлена грудь.
Открыт пред тобою
Дерзаний и подвигов путь.

Свободная родина,
Все ее доли — твои,
И добрые книги,
И светлые школы — твои.

Захочешь летать ты —
Готовы стальные крыла.
Захочешь ты строить —
Отчизна кирпич припасла.

Недаром твой галстук,
Как красное пламя костра,
Недаром ученья
Дана золотая пора.

Расти, вырастая,
Мужай и прилежно учись!

Как брат-комсомолец,
Ему подражая, трудись.

Обоим вам Ленин
Открыл все земные пути,
Чтоб вам нашу славу
К вершинам коммуны нести.

1947

ПЕРВЫЙ УРОК

В моем саду — джамбиль, райхон,
И розам нет числа душистым,
Цветами воздух напоен,
Нагрет он солнцем золотистым.

Взойдет сентябрьская заря,
Нарву я красных роз веселых,
В день самый первый сентября
Пойду с большим букетом в школу.

Мне из Москвы привез мой брат
Портфель с серебряной застёжкой.
Пуускай подружки поглядят,
Какой он новый и хороший.

Я каждый день встаю чуть свет,
Учебник новый раскрываю,
Гляжу на Ленина портрет,
Урок свой первый повторяю.

• А в первом классе прошлый год
Мы буквы тридцать две учили.
Но буквы, как бойцы в поход,
Еще со мною не ходили.

О буквы! В наступленье вы
Готовьтесь проявить отвагу!
...Тень от ребячьей головы
Легла на белую бумагу.

* * *

О как широк сегодня двор
Любимой нашей светлой школы!

Кругом веселый разговор,
Стоит повсюду шум веселый.

Встречают девочки подруг,
Показывают им подарки,
Как будто сад цветет вокруг.
Как розы лета, лица ярки.

Но классная открылась дверь,
Как книги первая страница.
И тишина кругом теперь,
И вдумчивыми стали лица.

Все парты заняты кругом,
Везде, как зернышки граната,
На них сидят, к рядку рядком,
Круглоголовые ребята.

Вошла учительница к нам,
Был ласков взор ее и светел.
Она сказала: «Ассалам!»
Класс дружно «Ассалам!» — ответил.

Мы имя Ленина прочли
По нашей книге дружным хором.
Открылись нам родной земли
Необозримые просторы.

О сколько милых детских глаз,
Любовью чистой озаренных!
...Был колыбелью этот класс
Для будущих страны ученых.

1947

ПЕСНЯ РАННЕГО УТРА

Здоровый человек любит песню.
Юлдаш Азунбабаев

Глаза в одно время с тобою
Открыли мы, солнце мое!
С зари и до вечера славно
Дружили мы, солнце мое.

Сейчас мое дело — умыться
И выпить стакан молока.
Пока буду я собираться,
И ты подшмайся слегка.

В мое загляни ты оконце
И книгу мою прочитай,
Увидишь в ней Ленина солнце,
Привет свой ему передай.

Мы рядом с тобой зашагаем
По улице в школу потом.
Я — в дверь, ты — в большое окошко,
Мы вместе с тобою войдем.

Пока я там буду учиться,
Ты, солнце, весь класс обойди.
Четыре часа — это много,
Устанешь — со мной посиди.

А после мы будем свободны,
Мы будем играть во дворе!
Не хочется мне расставаться
С тобой на вечерней заре.

Идешь ты домой, мое солнце,
В огнях электрических — высь...
А завтра, мой милый товарищ,
Пожалуйста, раньше проснись!..

1947

ПРИХОДИТЕ К НАМ В САД

(Песенка в День Победы)

Дереvцо я посадила,
Вырос персик — шафталы.
Он расцвел в саду весной,
Лепестки его светлы.

Долгожданный, день чудесный,
Наступил он наконец,
День, когда с победой вместе
В сад вернулся мой отец.

Прибрали сад. Вокруг прохлада.
Все деревья расцвели,
Став цветастой тюбетейкой
Нашей солнечной земли.

Позвала я всех подружек,
Рассадила у стола.
Папа говорит с улыбкой:
— Как дочурка подросла!

Мы до вечера играем,
Постарались — и готов
Для тряпичной куклы домик
Из дощечек и цветов.

Приходите в сад, подружки,
Каждую весной впредь,
Чтоб играть и веселиться,
Песни радостные петь!

1947

СТИХИ О МАЛЕНЬКИХ СОЛНЫШКАХ

Поют щеглы. То песенка зари.
Но под снегами спит еще весна.
На елке — золотые фонари,
В честь нашу эта елка зажжена.

Учился в классе на «отлично» я,
В звене примерным пионером был.
Ах, елочка, красавица моя,
Я этот праздник честно заслужил.

Ах, елочка! Среди твоих ветвей
Игрушки разноцветные висят.
Благодарим отцов и матерей,
Что нас с любовью бережно растят!

Каникул зимних хороша пора.
На улице — бело, в дому — тепло.
Раскрыта книга, начата игра,
Мороз покрыл узорами стекло.

Учителей своих благодарим
За их работу и заботу их.
Друзья мои! Пообещаем им
Не пожалеть в ученье сил своих.

Благодарим отцов и матерей
За радостное наше бытие.
Отчизна наша — солнце наших дней,
Мы — маленькие солнышки ее.

1947

СТАРШЕМУ БРАТУ

Чтоб идти всегда дорогой светлой,
Чтоб иных вовек не знать дорог,
Я хочу носить под самым сердцем
Комсомольский золотой значок.

Хоть годами я еще не вырос,
Гордость в сердце у меня горит!
Обо мне великий Ленин думал,
Родина моя меня растит.

Старший брат мой, ты уж комсомолец!
Комсомолу нынче тридцать лет.
Тридцать тысяч лет ему желаю
Жить да жить для славы и побед!

Об одном прошу тебя сегодня:
Дай примерить славный твой значок.
Я отличник первый в нашем классе,
Крепок я, и ростом я высок.

Очень он к лицу мне — полюбуйся!
Очень твой значок ко мне идет...
Сапоги я надевал украдкой,
Те, в которых ты ходил в поход.

Вырасту — меня своим героем,
Как тебя, отчизна назовет.
Выпрямлюсь и я с тобою рядом,
Встану горделиво во весь рост.

Старший брат мой, мы с тобой похожи,
Мы пойдем по одному пути!
Только бы мне вырасти скорее,
До тебя скорее дорасти.

1948

РАЗБУДИТЕ ОЛМОС!

Еще рассвет над темною землею
Не распускает золотистых кос.
Укрывшись одеялом с головою,
Спит безмятежно дочь моя Олмос.

Две бабочки вперегонки летают,
Холодные шныряют ветерки,
А в чайхане уж в шахматы играют,
Проснувшись до рассвета, старики...

Над Бешик-тау, темною горою,
Копье луча огнистое встает,
И смехом розовеющим — зарею —
Уже почти охвачен горизонт.

Все радостней, все ярче пламенея,
Лучи коснулись зелени садов —
На персиковых тоненьких деревьях
Зажглось сиянье алое цветов.

Вот пчелка зажужжала на окошке,
Несет о том, что солнце встало, весть.
У этой пчелки золотые ножки
И сапожков позолоченных шесть.

А там в саду... Какая это птица
Поет, приветствуя восход зари?
Не птица то, соседка-озорница,
То ножницами звякает Хайри.

Вот перепел завел рулады,
Захлопал крыльями он во дворе,
И лозы молодые винограда
Побеги расправляют на заре.

Отец сказал: «Ну, зорька заалела!
Хоть «пятью-пять» — не очень трудный счет,
Но дочь его еще не одолела.
Олмос будите. В школу пусть идет».

И с книжкой под мышкою шагает
Олмос навстречу солнцу, на урок,
И луч ее головку обвивает,
Как золотой торжественный веноч.

1918

МОЛОДЫМ ДРУЗЬЯМ

На весенней заре, в золотой тиши
Седовласый отец дорогим друзьям
Написал этот стих ото всей души,—
Молодым друзьям, молодым сердцам.

О друзья мои, жизни майский цвет!
В глубине веков на земле вокруг
Славой равного вам поколенья нет,
Нет счастливей глаз, нет проворней рук.

Впуки Ленина вы — Ленин в вас живет,
Ради вас она как цветник цветет.
Вы страны родной молодой оплот.
Вы — хозяева всех земных высот!..

Авиценна слыл мудрым средь людей,
Но любой из вас большего достиг,
Вы пытливей нас, ваша жизнь полней,
С детства вам открыт всех наук родник.

Всем открыт простор творческих высот,
Новая земля, новые пути...
Молодежь моя!

Выходи в полет,
На больших крылах времени лети!..

С праздником, друзья!—

И со всех дорог
И со всех садов молодежь спешит.
На груди ее —
комсомольский значок,
Алоцветный оп, как заря, горит.

В блеске этой зари я пишу в тиши
Поздравление своим дорогим друзьям...
Этот стих, этот дар ото всей души
Молодым друзьям, молодым сердцам!

МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ

Для новой песни натяну основу;
Вот черная, вот золотая нить,
С минувшей жизнью, мрачной и суровой,
Хочу на миг наш яркий день сравнить.
Друзья мои, я вижу ваши лица,
Они задора юного полны.
К вершинам знания вы должны стремиться,
И девушки и юноши страны!

Прошли тысячелетья без возврата,
Но, в прошлые века бросая взор,
Отравленного вижу я Сократа,
Джордано Бруно пышущий костер.
...Но разум торжествует, он нетленен —
Мечты людей в дела претворены.
Знамена наши осеняет Ленин,
О юноши и девушки страны!

Веков завесу я рукой раздвину:
Ученых ждали бедность и хула.
И «Книга исцелений» Абульсина
Невеждами отвергнута была.
...Вас озаряло солнце с колыбели,
Для славных дел вы были рождены.
Вперед шагайте, к благородной цели,
О юноши и девушки страны!

Мы помним вас, узбекские поэты,
Дошли к потомкам ваши голоса.
Казнен Машраб за гневные памфлеты,
От вражеской руки погиб Хамза.
Должны воспеть мы наших дней кипенье,
Всё, чем теперь горды мы и сильны.
Не знающее горе поколенье,
Вы, девушки и юноши страны!

Пытлив и зорок разум человека,
Мысль не убить, ее не сжечь огнем.
Потомки не забудут Улугбека,
Был умерщвлен великий астроном.
Горят созвездья в сонмах звездной пыли,
В грядущее глаза устремлены.
И ход времен себе вы подчинили,
О юноши и девушки страны!

Как много дел вам переделать надо,
Как много песен надо вам пропеть!
Заводов новых возводить громады,
Пески пустынь в зеленый шелк одеть.
А коммунизма даль не за горами!
Учиться и работать вы должны,
Чтоб родина всегда гордилась вами,
О девушки и юноши страны!

1948

МЕЧТА

Вчера еще был я совсем малышом.
Считать до пяти нелегко было мне.
Я был в первом классе, а пыпче — в седьмом.
Пора мне подумать о завтрашнем дне.

С поры моей утренней изо дня в день
Я шагом веселым по лестнице дней
Взбирался легко. И любая ступень
Мечту приближала. И вот я пред ней!

Пришла долгожданная юность моя,
Как строй самолетов, несутся года.
И путь кораблей, как надежный маяк,
Кремлевская направляет звезда.

Я школу кончаю! Седьмой уже класс,
Уже мне пятнадцать исполнилось лет!
Желапья я тку, словно светлый атлас,
А сила желанья — основа побед.

Сын родины радостной, понял я сам,
Что день наш столетий решает судьбу.
Сегодня минуты подобны векам,
За каждую я начинаю борьбу!

Не стану минуты терять ни одной.
Я буду достоин великой страны.
Как матери — дети, отчизне родной
За все наше счастье мы вечно должны.

Как быть мне? Задача совсем нелегка!
Ведь жизнь многогранна, как яркий алмаз.
Работа бескрайна, страна велика,
И надо решить — кто нужнее сейчас!

Отец мой мечтал, чтобы стал я врачом,
Когда-то мечтал стать механиком я.
Но степь Каракума мечтала о том,
Чтоб воду давала ей Амударья.

У хлопка мечты, и у строек мечты, —
Я их словно яркую книгу листал,
И весь предо мною раскинулся ты
Мечтой многоцветной, Узбекистан!

Надежды отца тяжело обмануть,
И спорить не стал бы я с ним никогда,
Но ясный, как зеркало, выбрал я путь;
Я строить большие хочу города!

Ташкент мой — вот сердца мечта моего,
Сквозь тысячелетия тянется шить:
Не взял Александр Македонский его,
И Дарий персидский не смог покорить.

Ташкент мой любимый, столица моя!
Ты слава узбеков, наш каменный град,
Ты здесь, на Востоке, коммуны маяк,
Великой Москвы ты товарищ и брат.

Я в градостроители завтра пойду,
Чтоб все совершилось, о чем я мечтал,
С другими столицами чтоб наряду
Ташкент мой одной из красивейших стал.

На свете ценнее всего человек,
Я строить жилища хочу для людей.
Пусть мчится наш светлый стремительный век
Средь улиц прекрасных, садов, площадей.

И тысячи юношей в нашем САГУ
Пусть строят науки литой монумент...
Но нет! Я тебя описать не могу,
Мой город, мой древний и новый Ташкент!

Асфальт полированный блещет вокруг,
И пятиэтажные встали дома,
И ночью в огне электрических дуг,
Как сахар в воде, растворяется тьма.

Поэта стихи нам несут рунора,
Веселая музыка радует всех.

И целые дни — будь любая жара!—
Звонит с Комсомольского озера смех.

Лихую «Победу» пришпорив свою,
Наездник-водитель уносится вдаль...
Я молча один у окошка стою,
Где голосу девушки вторит рояль.

Как солнце, на стройках у нас кирпичи:
Серебряный ряд в них и ряд золотой.
И вдаль уходя, пятилеток лучи
Сверкают в грядущем свершенной мечтой!

1949

ДЕТЯМ

Глаза детей — души моей светильник.
В моих ушах не молкнет детский смех.
Малыш воркует — и ветра притихли,
И громы смолкли — никаких помех!

Малыш ступает по земле неровно,
От пяток-слив смешной петляет след.
Но этим начат путь его огромный,
Его большие сто счастливых лет.

Капризы, игры, смех и слезы рядом...
О радость дома, с чем тебя сравню!
Держу ребенка — выше нет награды!—
И никогда его не уроню.

Пусть это слабость, но такая слабость,
Которая нам силы придает:
Люблю волос ребячьих кучерявость,
Над чистотою глаз — бровей полет...

Ребята, вы для нас — очей зеница,
Вся наша жизнь — защита ваших лет,
Мы — ваша крыша, дом, игра, больница,
Над вашим сном — любви бессонной след.

Пока, малыш, еще не стал ты взрослый,
Пока лепечешь первые слова,
Скачи беспечно по лужайкам росным,
Где так мягка зеленая трава.

Беспечно веселись — нам ждать не в тягость.
Но верим мы, что вырастешь — и вот
Не дрогнут плечи, ощущая тяжесть
По эстафете принятых забот.

Вы — наши корни, дети, наше завтра,
Чинары наши и карагачи,
Следим, чтоб вихрь вас не сломал внезапно,
Чтоб гром войны не загремел в почу.

На всё глядеть отрадну пам и любо,
Мы вас всей силой помыслов людских
Храним, как тридцать два здоровых зуба,
Как чистый жемчуг из глубин морских.

И пусть порою наши дни суровы.
Мы строим мир, достойный нас во всем.
Так будьте же красивы и здоровы,
Чтоб жить красиво и достойно в нем!

1954

ПРАЗДНИЧНОЕ ПИСЬМО

Великая славная дата,
Великий суровый рассвет!..
В тот год незабвенный, ребята,
Мне было четырнадцать лет.
Былое... Порою ночной
Как пронасть оно предо мной.

А школа?.. Какая там школа!
Без хлеба подчас, без огня.
Оборванный, чуть ли не голый...
Судьба не ласкала меня.
Да что там! В тот памятный год
Был горестным весь наш народ.

Война. Боль утрат каждодневных,
Разор, безнадежность, тоска.
Голодные стонут деревни,
Голодные бьются войска.
Руины, пожаров огни...
Когда ж отпылают они?!

Но Ленина передовые
Вступились за нашу судьбу,
За всех угнетенных впервые
На смертную вышли борьбу.
Рабочие в бой поднялись,
Крестьяне степой поднялись,

Багряное подняли знамя,
И в огненный день Октября
Взошла, засияла над нами
Свободы святая заря.
И в пламени этой зари
Пропали, сгорели цари.

Стал пылью престол самодержца,
Поверженный Октябрем...
Навеки тогда мое сердце
Пленил революции гром.
Доныне опять и опять
Я счастлив ее воспевать.

Великая партия наша
Меня повела за собой.
Всё горькое стало вчерашним,
Судьба — благодатной судьбой.
За всё, что она мне дала,
Хвала ей великой, хвала!

Ребята, вы знаете, кто я.
Для вас я и друг ваш и дед.
Питомец Советского строя,
Дарящего радость и свет.
Возлюбленный родины сын,
Наставник, поэт, гражданин.

Моя беспокойная доля
Была не ровна, не гладка.
Я не был учащимся в школе,
Не ждал с нетерпеньем звонка,
Но я, рукава засучив,
Лепил для нее кирпичи.

С другими рабочими рядом
Для вас я построил ее.
И не было лучше награды
За трудное детство мое.
Для вас, дорогие друзья,
И жизнь, и работа моя.

Поэтому я вам известен,
Поэтому близок я вам.
В строках моих солнечных песен
Учу я вас добрым делам.
Чтоб, радуясь, родина-мать
Спасибо могла вам сказать.

Поэтому ваши удачи
Душе моей — нежный букет,
Поэтому счастьем охвачен

Ваш старый наставник — поэт.
Для вас, дорогие, для вас
Все дали открыты сейчас.

Не надо дивиться, что в праздник
Я вашей радостью рад.
Пусть судьбы разительно разны
Один у нас счастья парад.
И если я с вами в строю —
Я лучше, я чище пою.
Пойдем в авангарде парада,
Звонящие голоса,

Взлетит ваша песня, ребята,
Под самые небеса.
И выше, в надзвездный зенит
Мечта ваша гордо взлетит.

Великому Ленину слава,
Он в наших сердцах живой.
Он в наших делах величавых
На линии передовой.
Кто к счастью привел свой народ —
Во веки веков не умрет.

Да здравствует партия наша,
Великий творец Октября!
Блистай, разгорайся всё краше,
Бессмертной победы заря!

1955

ДРУЗЕЙ ЗОВИТЕ В СВОЙ ЦВЕТНИК

Уже краснеет ранний виноград,
И хлопок вырос, пышен и богат,
Все крепнет зной. У нас в разгаре лето,
И девушки идут в тенистый сад.

Здесь каждая проворна и мила,
И наш народ прославил их дела.
Певуны, хлопкоробы и ткачихи —
Как белый хлопок, их судьба светла!

Их щеки алы, как зари восход,
Их речь сладка, как андижанский мед.
Грядущее следит за их судьбою,
На всех путях их бережет народ.

Их много. Это — дочери мои.
Они живут у воли Амударьи.
Их косы всех цветов благоуханней,
Их песни словно звон речной струи.

В узбекском небе луч горит всегда —
То знамени советского звезда.
Под ней растут и крепнут наши дети
И смехом наполняют города.

Вот тот малыш — он гибок, как трава,
Курчава, как каракуль, голова...
Оценишь ли ты, маленький товарищ,
Моих стихов нарядные слова?

Тебя растит ташкентская жара
И древняя ласкает Бухара,
Тебе велеречивые кокаидцы
Несут хвалу на острие пера.

Тебе сияют звездные огни...
Как соколенок, крылья разверни!
О как прекрасны маленькие дети!
Как сердцу моему милы они!

Наливом белым мой наполнен сад.
Что может быть приятней для ребят?
Придите! Я парву вам столько яблок,
Что пазухи рубашек затрещат.

Расти, малыш! Страну свою люби,
Играй и пой, и в звонкий горн труби,
А в два часа лови в эфире волны
Классических напевов Раджаби.

Как хорошо поплавать, отдохнуть,
В глубь в Комсомольском озере нырнуть,
Пока бензин машина набирает,
Чтоб в Янгйер продолжить быстрый путь.

Узбекистан на сад сплошной похож,
Его за год никак не обойдешь.
Здесь климат создает своим дыханьем
Чудесная, родная молодежь.

Здесь льется дружбы радостный родник,
К гостеприимству каждый здесь привык.
И я, отец ваш, рад быть вместе с вами.
Друзей зовите в яркий свой цветник!

1955

ШКОЛЬНАЯ ВЕСНА

В небеса с утра взвиваются щеглы,
Журавли летят на север тут и там,
Все холмы на зелень яркую щедры,
Стригунки, резвясь, гоняют по холмам.

Вечер. Ласковое бляенье ягнят...
Снова мир весенней радостью объят.

На цветке сидит мохнатая пчела,
Муравей травинку в кучу поволок —
Муравьиная бригада начала
Кладовые и амбары строить впрок.

Соль земли и кровь отцовская — в моей,
Руки тянутся к земле — спасибо ей!

Пусть участок школьный мал, но он не мал,
Чтобы землю научиться понимать,
Как впервые просто сердцем понимал —
Что с твоих любимых губ слетало, мать.

Пусть мы сами — стригунки еще с тобой,
Это — первое крещение, первый бой.

Эту землю, ее щедрость, ее грусть,
И привычки, и обычаи ее
Мы, как азбуку, заучим наизусть,
Чтоб найти на ней заветное, свое.

В эту пору даже стыдно отдыхать,
Время пахоты. Научимся пахать!

Мы — дехкане, поколения дехкан
За спиной у нас, за далями годов,

И отцами нам наказ великий дан —
Не жалеть для дела сердца и трудов!

Мы — садовники. Живой листок любой,
Как страницы книг, мы сбережем с тобой.

Теплый ветер веет... Вей, весенний, вей!
Как звонки ручьев искристых голоса!
И не зря взмывает, как бумажный змей,
Мое сердце в голубые небеса!

Все посеяно в полях. Ну, солнце, жары!
Спит младенцем в колыбели урожай.

1956

ОТГАДАЙТЕ ЭТО, ДОЧКИ

Как халат в полоску, гладкий.
Круглый сам и сладкий-сладкий.
Клювом птахе не добраться
До его середины красной.

Это что — ответ, Кундуз?
— Это, папочка, арбуз!

Нанизала осечь бусин
На кустах — янтарных, вкусных.
Бусин — черных, бусин — белых,
Бусин — красных, спелых-спелых.

Что же это, Мамлакат?
— Это, папа, виноград!

В плов кладут,
Варенье варят,
На зиму хранят в подвале.
Прежде чем, Мехри, ответ дать,
Золотистый плод отведай.

Он вкуснее, чем халва...
— Это, папочка, айва!

Под кожуркой — рядом ровным, —
Снят рубиновые зерна.
Дети сок его приятный
Пьют не морщась, кисло-сладкий...

Это что — ответ, Санат?
— Это, папочка, гранат!

1959

УЧИМСЯ ДУМАТЬ

Сказал Мухтар сестре Мунис —
Обоим по шесть лет:

— Умеешь думать ты, Мунис?

Мунис глазенки мигом — вниз.

— Умею думать? Не-е-ет...

А что такое — думать, брат?

Мухтар сестре ответить рад.

Он лоб серьезно морщит,

Он показать ей хочет,

Как думают на свете

И взрослые и дети.

— Вот сижу и думаю...

— А о чем ты думаешь?

— Дали б мне без разговору

Сливки целое ведро,

Да мороженого гору

Завернули б в серебро.

Положили бы на блюдо

Сыр величиной с верблюда.

Знаешь, очень вкусный он...

— Ах, — сказала Мунисхон, —

Давай и я подумаю!

— А о чем подумаешь?..

— Хочу я куклу новую,

Красивую, здоровую,

Чтобы глазки закрывала.

Меня мамой называла...

— А вот я наоборот,

Когда мне будет лет пятьсот,

Стапу папой...

— Отчего же

Папой, а не мамой тоже?

— Ну и глупая сестра!
Знать тебе уже пора:
Мамами бывают только девочки...

— Буду папою ста дочек!
— Буду мамой ста сыночков!
— Назову их всех... Пупис!
— Назову их всех... Пухтар!
Это значит — Мунис.
Это значит — Мухтар...
Эти брат с сестрой родные —
До чего они смешные!
Еще плохо говорят,
Но глаза у них горят!
Все сидят и думают,
Думают, думают...

Приходится помучиться —
Дети думать учатся!

1961

ЗАЗНАЙКА САБИРДЖАН

Ташкент. Сабира Рахимова.
Обыкновенный дом.
Большие и малые граждане
здравствуют в доме том.

Ташкент. Зеленая улица.
Дом номер сорок три.
Здесь некто Сабир Пулатов
разные штуки творит.

Да сколько ж ему от роду?
Ему только девять лет.
Но в мире зазнайки такого
не бывало и нет.

Жил бы как все мальчишки,
жил-поживал себе.
Но что шалуну ни скажешь,
он отвечает:
— Бе-е!

Запустят ребята змея —
Сабир начинает кричать:
— Бе-е!
Вот я покажу вам,
как надо их запускать.

Скоро из телецентра
вышку домой притащу,
залезу наверх и змея
ка-а-а-к с нее запущу!

Что — привирает проказник?!
Выдумывает как никто?!
Дайте ему лишь слово —
наговорит и не то.

...— Я с Комсомольского озера
до Амударьи доплывал.
А в прыжках я
выше, чем Брумель,
на целых полметра бывал.

И вообще наша улица
назвапа в честь меня.
Правда, фамилию спутали,
но все-таки это я.

Друзья Сабира хохочут.
А он и не удивлен:
головы так морочить
может один лишь он.

Однажды отец Сабира
вслух прочитал о том,
как в космос взлетел Гагарин
ясным апрельским днем.

Врунишка наморщил лоб.
— Бе-е!— с усмешкой сказал.—
Будь у меня ракета,
я б кой-кому показал.

Я бы не просто в космос
слетал —
от звезды к звезде.
Не совершал такого
никто, никогда, нигде.

Отец в усы усмехнулся:
— Ну что ж, подрасти, малыш,
может, на межпланетных
ракетах и полетишь.

Ох, уж этот мальчишка!
Конца хвастовству его нет.
Однажды о наших солдатах
узнал с изумленьем весь свет.

Четверо сильных, отважных
сорок девять дней и ночей

блуждали по океану
в кольце водяных смерчей.

Волны мотали баржу,
грозили любой из бед.
Но насмерть стояли солдаты
и выстояли в борьбе.

— Бе-е! — воскликнул зазнайка. —
Я б и не этот срок,
не сорок девять,
а сто бы
суток проплавать смог.

Что? Сапоги они ели?
Я бы не смог, говоришь?
Да для меня сапожки —
все равно что кишмиш.

Я не в таких переделках —
в худших еще бывал.
Я б доски пилил и опилки,
как Гекльберри Финн, жевал.

Друзья опять посмеялись.
У Сабира — довольный вид:
вот что им преподнес он,
вот как их удивил.

Врал бы наш враль и дальше,
важничал бы не раз,
но посрамил Сабира
свой класс и соседний класс.

Как-то однажды вожатый
ребят пригласил в зоопарк,
Сабир надулся и — важно:
— И я?
Как бы не так!

Мне там неинтересно —
я там уже побывал
и что посмотреть бы надо,
могу посоветовать вам.

Есть змея там в десять размахов,
но вы подходите к ней.
Пошита она для страха
из десятка ежей и ужей.

Есть там трехлапые барсы —
только стоит ли вам объяснять!

Тут спросил Асрор Сабирджана:
— А как жирафа узнать?

— Бе-е! —
сказал фантазер с улыбкой. —
Ты не знаешь?
Вот это да!
'Так жирафа чуть меньше кошки
и немного больше кита.

У жирафы четыре глаза.
Каждый глаз набоку сидит.
Она круглая, круглая, круглая —
прямо как крокодил.

Как шимпанзе, копошится
она под землей весь век.
Сусликов ест, как страус,
хоботом, как медведь.

Жирафа с тремя хвостами —
вылитый бегемот.
Встречается на Pampe
в горах высоченных. Вот!..
— А скажи, Сабир, о Pampe.
Эти горы — что — далеки?

— Чуть подальше Ахунгузара,
в стороне от Тешик-капки ¹.

Тут уж поняли все ребята,
что Сабир наш так много врет
потому,
что совсем не знает,
где жирафа и как живет.

¹ Ахунгузар и Тешик-капка — названия кварталов в Ташкенте.

Тут уж поняли все ребята
Сабирджана Пулатова нрав.
И сказал Аброр болтунишке:
— Эх, ты, жираф!

И такой тут хохот поднялся,
что мальчишка вконец растерялся.

С той поры перестал он врать,
перестал свой нос задирать.

Но друзья и в школе, и дома
говорят, улыбаясь, с ним.
До сих пор не могут еще
про жирафу забыть они.
Но все реже и реже ребята
о Сабире думают так.

Вообще-то он парень хороший.
Вообще-то он весельчак.

1961

АХМАД НЕ ПЛОХОЙ МАЛЬЧИК, НО...

Запятый случай был у нас
мнущею зимой,
О нем я поведу сейчас
рассказ правдивый мой.

Ахмада знаете? Так вот.
Он славный мальчуган.
Но, ох, досталось же тогда
хлопот его мозгам!

Ахмад учился хорошо и раньше,
в том году,
Но вот с порядком, с чистотой
был очень не в ладу.

Нет, нет! Он не был драчуном,
он даже смиренным был.
И малышей не обижал,
и старшим не грубил.

Но только в поведении
порядок соблюдать —
Отнюдь не значит —
до конца
Порядки в жизни знать.

Еще другой порядок есть —
порядок рук и ног,
Желудка, легких, и ушей,
и губ, и глаз, и щек.

Вот в этом-то и был Ахмад
примерным не всегда.
Боялся мыла, и врагом
была ему вода.

Он не жалел зубов своих,
и рук, и ног, и глаз,
И не по назначенью их
употреблял не раз.

И вот однажды в час, когда
езде потушен свет,
Решили в горести друзья
собраться на совет.

Ох, сколько было там обид,
упреков, горьких слов!
Ох, сколько жалоб раздалось
тогда со всех концов!

Нога так пачала свою
взволнованную речь:
«Я что? — заржавленный топор,
что он меня беречь

Совсем не хочет?
Или нас
У Ахмеджана шесть?
Иль нечего хранить одну,
Когда другая есть?

Иль изломав ступню, он вновь
наставит мне ступню?
Но я ведь вовсе не сродни
кирке и кетменю.

Ах всюду, всюду я его
посила до сих пор:
И в степь, и в пыль, и к яме той,
где сваливают сор.

Хотел — я делала прыжок,
хотел — бежала я.
В холодной глине, в кизяке
была ступня моя.

Меня поранил ржавый гвоздь,
порезало стекло,
Судите сами, как тогда
мне было тяжело!

А грязь? Вода ведь к нам течет
не из заморских стран.
Ведь в нашем же дворе стоит
водопроводный кран.

Так что ж —
не заслужила я
Хоть полведра воды?
Иль почему-то хуже я,
чем ноги Халиды?

А обувь? Сколько в доме пар
чувяк, сапог, калош!
Все хороши, все первый сорт,
какую ни возьмешь.

Чтоб от заноз, от синяков
мне, бедной, не болеть,
Хотя б одну из этих пар
ведь мог же он надеть!

Но нет! Как видно, я ему
совсем не дорога».
Закончив этой фразой речь,
расплакалась нога.

Рука тихонько поднялась,
сказала так она:
«И сотня тысяч за меня —
ничтожная цена.

Пусть я еще невелика,
но я должна расти,
Расти, чтоб в небе самолет
Уверенно вести.

Должна я чистой быть всегда,
должна я крепкой быть,
Чтоб, не слабея в трудный час,
врага по скулам бить.

Чтоб, разметав врагов ряды,
в сраженьи не устать,
Чтоб я хорошие стихи
могла потом писать.

Вот то, что нужно для меня.
Да, милые друзья.
Ведь я рука!
А для него — скорей лопата я.

Нас две. Вы знаете,
у нас у каждой пять детей,
Но как же плохо им порой
от всех его затей!

К чему он приучает их,
что делать им велит!
Пу ладно, все вам расскажу,
хоть это просто стыд!

Большой мой палец, старший сын,
у кошки ловит блох,
А указательным
в носу он ковыряет... Ох!

Нет сил терпеть!..
А младший мой, мизинчик, не ленясь,
Ему из уха каждый день
выскабливает грязь.

Вот посмотрите-ка на них,
на всех детей моих —
Что под ногтями,
и какой спаружи вид у них».

Тут громко всхлинула рука
и пальцы подняла.
И легкие закашлялись:
«Да, скверные дела!»

«Она права», — хотел сказать желудок,
но сперва
Из-за отрыжки буркнул он,
и вышло «неправа».

Потом, с минуту отбурчав,
он внятнее сказал:
«И мне живется нелегко,
ведь я кладовкой стал.

Порядка в пище и в питье
не признает Ахмад.
То недоест, то переест,
то тащит все подряд.

Халву, селедку, моппансье,
орехи, брынзу, мед,
Потом, кишок не пожалев,
в арыке воду пьет.

Ведь это же не аппетит,
ведь это чепуха!
А после кашляет весь день:
«акха, акха, акха!»

Я хольвайтар переварить хочу
спокойно...

Нет!
Уже мороженое здесь
за хольвайтаром вслед.

А после — яйца тут как тут,
за яйцами — халва.

А я терпи!
Да кто ж ему такие дал права?!

И то не все. Вслед за халвой —
крюшон и мармелад.

Что ж я такое, наконец, —
желудок или склад?!»

«Тук-тук, — сказала сердце, — тук!
Он верно говорит.

Друзья мои,
Ахмад никем из нас не дорожит».

И легкие вздохнули:
«Да! Не дорожит ничуть».

Потом о горестях своих
рассказывала грудь,

Потом — язык, потом — глаза,
вслед за глазами — нос.

Так горький перечень обид
неудержимо рос.

Да, жесткой критике в ту ночь
подвергнут был Ахмад.
Собрание пенилось, точь-в-точь,
как бурный водопад.

Дрожало сердце, плакал глаз,
кляла судьбу рука,
Температура поднялась
почти до сорока.

Тут председатель-голова
свою сказала речь:
«Друзья, вы правы,—
Ахмаджон не хочет нас беречь.

Собрание затянули мы.
Смотрите, скоро — час,
И нервы, вижу я, совсем
расстроились у нас.

От головокружения
и я едва дышу.
Впошу вам предложение,
принять его прошу:

До этих пор для всех нас был
хозяином Ахмад.
Но если будет он и впредь
всё делать не впопад,

Не возвратит нас к чистоте,
порядка не введет,
Работать мы не будем.
Пусть как хочет, так живет!»

«Согласны! — закричали все. —
Вот это голова!
Не только одному ему,
и нам даны права!»

И вот, когда минула ночь
и стало рассветать,
Ахмад проснулся, хочет встать
и вдруг не может встать.

Захочет шевельнуть рукой,
рука висит, как плеть.
Погой — не движется нога.
Попробует смотреть —

В глазах туман.

И все вот так ему наперекор:
Сказать захочет что-нибудь —
выходит жалкий вздор.

И аппетита нет совсем,
и голова пуста,
В ушах какой-то глупый шум,
и в горле тошнота.

Лоб раскален, болит живот,
и тяжело дышать.
Увидев мальчика таким,
разволновалась мать.

«Беги за доктором, отец, —
наш сын совсем больной!»
Лежит, как тряпка, Ахмаджон,
ни мертвый ни живой.

Отец ушел и через час
вернулся внопыхах,
А с ним какой-то человек
в халате и в очках.

Зашевелилась голова,
приподнялась рука,
Глаза, шепнув: «Давно бы так!» —
глядят исподтишка.

В ушах мембрана напряглась,
как чуткий микрофон.
Все поняли, что это врач,
все ждут, что скажет он.

Врач к Ахмаджону подошел,
все тело осмотрел,
Поставил градусник, вздохнул,
задумался и сел.

«Ага,— сказал он наконец,—
ложись-ка на живот.
Без банок тут не обойтись.
А впрочем, все пройдет.

Болезнь его не так сложна.
Довольно прост секрет,
Нечистоплотен, небрезглив,
порядка в пище нет.

Пускай побольше сам себя
побережет больной
И это вот, три раза в день,
пусть пьет перед едой.

Но я еще к вам загляну.
Проверю, прослежу.
Ну вот, как будто бы и все.
Прощайте. Ухожу».

И врач ушел.
Пятнадцать дней был болен Ахмаджон.
Лежал, стонал,
но с этих пор переменялся он.

Три раза в день лекарство пил,
диету соблюдал,
Все без капризов делал так,
как доктор приказал.

Вот понемногу голова
уже не так болит,
Язык стал слушаться его,
вернулся аппетит.

Ахмад глядит и говорит,
все чаще просит есть,
И ноги силу обрели,
и в пальцах сила есть.

И вот опять,
когда Ахмад подслушать их не мог,
Все «члены тела» собрались,
чтоб подвести итог.

«Друзья! — сказала голова. —
Пора его простить.
Он умный мальчик,
и теперь он будет нас ценить.

Начнем работать. Ну, кто — за?»
Все члены были — за:
Желудок, печень, уши, нос,
и зубы, и глаза.

А утром врач в последний раз пришел
и говорит:
«Ну, поздравляю!
Ты теперь совсем здоров, джигит!

Но чтобы снова ты не слег,
не захворал опять,
Хочу тебе еще одно
лекарство прописать.

Лекарство: паста для зубов,
мочалка и вода».
Услышав это,
Ахмаджон стал красным от стыда.

А к вечеру того же дня
с отцом был в бане он.
Уж как плескался он,
как тер себя со всех сторон!

И стал он чист,
и стал он свеж от головы до ног;
Глаза сияют, нос блестит,
как сладкий петушок.

Развеселившись от души,
в ладоши руки бьют,
И ноги в новых башмаках
превесело идут.

Все члены тела с ним дружны,
и, слушаясь его,
Работают один за всех
и все за одного.

Теперь Ахмад уже вполне
опрятный мальчуган.
Здоров желудок, зубы все —
как будто жемчуга.

Теперь порядок у него везде.
Все это вам
Об Ахмаджоне рассказал
поэт Гафур Гулям.

1940

ГАФУР ГУЛЯМ



Озорник



Перевод Александра Наумова



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ДЕТИ СТАРОЙ МАХАЛЛИ

Народу в торговых рядах уйма.

В большой чайхане Ильхама-чайханщика, что стоит как раз на повороте от молочного ряда к махалле Махкама, играет граммофон, без умолку звучат старинные песни в исполнении Туйчи-хафиза, Хамракула-коры, Ходжи Абдул-Азиза или ферганских певец. Места в чайхане всегда не хватает. Тут проводят свободное время байские сыновья



из торговых рядов. Они собираются вокруг дастархана, посреди которого на большом медном подносе разложены сахар, миндаль, фисташки, разные сладости, стоит в посуде варенье, а зачастую красуется и коньяк в соломенных плетенках с изображением ласточки. Усаживаясь, они весело горланят, рассказывают анекдоты, сопровождаемые громовым ржаьем. Дехканам, бедным кустарям, казахам, киргизам, приехавшим на базар издалека, нечего сюда и соваться.

Чайханщик — худощавый парень по прозвищу Асра-лысый, в легком халате нараспашку, подпоясанном голубым шелковым платком, услужливо носится среди посетителей. Через плечо у него перекинут кисейный платок в горошек, на ногах — кавуши. Стоит кому-нибудь из гостей крикнуть: «Асра!» или «Лысый!» — он уже тут как тут:

— Что угодно. мулла-ака. чай или чилим?

И не успеешь оглянуться, как он снова появляется — с маленьким чайником в одной руке и двумя китайскими пиалами в другой или наполняет табаком головку сверкающего медного чилима, шумно раскуривает и, кланяясь, подает гостю: «Мулла-ака, пожалуйста...»

Много удивительных вещей можно увидеть в этой чайхане. Но, конечно, самое замечательное в ней — это подвешенная к потолку у входа большая клетка, позолоченная, украшенная амулетами от дурного глаза и пестрыми флажками. В клетке живет попугай, ей-богу, настоящий, живой попугай! Перья его переливаются всеми цветами радуги, как шелковые нити в шкатулке вышивальщицы: синий, красный, голубой, желтый, белый, розовый, коричневый, темно-вишневый, фишашковый — все цвета, какие только есть на свете! Но главное, он разговаривает! Подумать только, он болтает так бойко и смешно, что я и сейчас еще слышу его голос, звонкий и раскатистый, как у трехлетней девчонки, только что научившейся говорить:

— Асра, Асра, услуги гостю, один чай, один чилим, пожалуйста, мулла-ака, пожалуйста, байвачча...

Мы, мальчишки, бродим по базару чумазой босоногой стаей, в рубахах и штанах из буза; мы спуем всюду, но ко входу в чайхану нас тянет неизменно:

— Попка, эй, попка!

Асра-лысый кидается на нас, делая свирепое лицо. Кто попадется, и впрямь получит изрядную порцию тумачков. А попугай посылает вслед нам крепкое ругательство:

— Ах, бабушку твою...

Впрочем, главным нашим развлечением на базаре служат джинни — юродивые. Сколько их в Ташкенте — и-и! Начнешь считать — собьешься! Карим-джинни, Рыжий, Пара Голубей, Майрамхан, Юродивый из Юродивых, Жена Ишана, Хал-паранг, Таджихан, Алим, Аваз... Каждый из них «сходит с ума по-своему», безумствует на свой лад; мы знаем их всех отлично. Пара Голубей, например, помешался на властях. И царя Николая, и Кауфмана, и Мочалова, и полицейского стражника по прозвищу Наби-вор — всех, бывало, соберет вместе и понесет, понесет, с непривычки и слушать страшно. Карим-джинни тоже ругается без умолку. Этому уже все равно — аллах ли, пророк, ходжи, ишан, казий, — он клянет всех подряд, клянет до седьмого колена, разносит в пух и прах! Когда-то он был ткачом, но потом стало полно фабричного ситца, Карим не мог уже кормить семью — и в конце концов помешался. То же, при-

мерно, случилось и с Хал-парангом. Он был родом из Коканда, ткал бархат и, судя по прозвищу, считался искусным мастером. Он сошел с ума, когда сгорела его мастерская вместе со станком. А Майрамхан? О, это, пожалуй, самый знаменитый из всех джинни! Его настоящее имя — Маматраим, он был слесарем, и таким превосходным слесарем, с такой «легкой» рукой, что считалось, удача сопутствует уже тем, в чьей мастерской, лавке или доме он побывал. Говорят, Майрамхан собственными руками и не ел-то никогда, столько находилось охотников кормить его пловом из горсти, как почетного гостя! Бессчетные мастера по изготовлению колыбелей, самшитовых гребней, веретеп почитали это за счастье... Словом, он был всеобщим любимцем — потому и прозвали его Майрамхан! — и ходил по улицам и базарам, таща на себе панизанный на проволоку металлический лом, отпуская шуточки, сияя ослепительной улыбкой. Он прогорел со своим ремеслом, когда металлические изделия стали выпускать заводы; понемногу сделался никому не нужен и помешался от нищеты и тоски...

Джинни по прозвищу Жена Ишана, смуглая, статная, с тонкими черными бровями женщина лет сорока пяти, и вправду была когда-то женой ишана Миттихан-турам из Каландархоны; однажды она застала мужа со своей младшей сестрой и сошла с ума.

Один Аваз, пожалуй, не был настоящим сумасшедшим, а только притворялся, не желая работать.

Мы знали все истории этих несчастных — слышали от взрослых, сколько раз все это при нас пересказывалось! Но у мальчишек нет времени для жалости. Зрелищ на нашу долю выпадало мало, вот мы и выдумывали сами, что могли, а с джинни можно было устроить представление — лучше не надо! Иногда мы уговаривали их спеть или сплясать, но чаще просто безжалостно дразнили. А когда они приходили в иступление, тут-то и начиналось самое интересное. Они бросались за нами вдогонку, мы увертывались, не всегда удачно, нам-таки перепали от них побои, — поделом, конечно. Словом, остроты ощущений хватало и смеху тоже, особенно, когда сходились два-три джинни вместе. Как-то раз джинни по имени Таджихан стал гоняться на улице за прохожими, размахивая черенком от кетменя и требуя, чтобы все шли в одну сторону.

— Эй, не разбредайтесь! — вопил он. — Порядок должен быть, порядок!

Никто ничего не мог с ним поделаться, покуда не появился Алим-джинни.

— Эй, джинни, что ты тут мелешь? — закричал он.

— Почему они не идут в одну сторону? — говорит Таджихан. — При царе Николае порядок должен быть! Порядок!

— Ай, и дурак же ты, Таджики, — сказал Алим-джинни, — ну и дурак! Земля у нас знаешь какая? Вроде весов! Если все пойдут в одну сторону, что получится? Наклонится она, как поднос, и все мы утонем тогда в Курдударье!

Таджихан остановился, постоял с разинутым ртом, покачал головою — и пошел прочь. Видно, одну сумасшедшую мысль может выковырнуть из головы только другая, еще более сумасшедшая, — как иголка занозу.

Так, в развлечениях, проводим мы дни и едва замечаем, как наступает вечер. Забежав домой сразу после третьей молитвы, что перед заходом солнца, мы наскоро хлебаем мучную похлебку, или затируху, или какое-нибудь варево из маша — с тыквой или рисом, или суп с лапшой, что-нибудь, что оказалось в доме, — и снова убегаем на улицу, над которой начинают высыпать добрые летние звезды...

Наша махалля с одной стороны выходит к махалле Тиканли-мазар, с другой — к махалле Кургантаги. Мы собираемся в глухих тупичках, расположенных слева от главной улицы, и играем допоздна. Вечером — самая игра, особенно в лунные вечера. Летом, весной, осенью улицы наши пыльные, мягкие, одно наслаждение, только вот зимой — вязкая грязь, кому по колено, а нам так по пояс, и тогда мы переносим свои игры на площадь или в крытые переходы со дворов на улицу. В тусклых фонарях, установленных городской управой, горят семилнейные керосиновые лампы. Каждый вечер проходит фонарщик с лестницей, наливает керосин, подрезает фитили, чистит стекла; утром он проходит снова — гасит фонари. В темноте, стоит чуть стойти, они едва мерцают — точно глаз кошки. Их красноватое пламя не столько освещает улицу, сколько напоминает прохожим, идущим по узкому тротуару: «Эй, не наткнись на меня! Я здесь...»

Ну, что можно делать при свете такого фонаря? И разговаривать-то неудобно! Взрослые, едва сотворив последнюю вечернюю молитву, расходятся по домам. Улицы пу-

стеют. Даже ворона не пролетит. Остаемся только мы. Самое время для игры в прятки...

Впрочем, у нас множество и других игр: борьба, «батман-батман», тоже что-то вроде борьбы: играющие стоят спиной друг к другу, сцепятся руками и поочередно поднимают напарников себе на спину; или еще игра в «белый тополь, зеленый тополь» — мальчишки разбиваются на две группы, каждая выбирает вожака, загадывает кого-нибудь, а противоположная сторона должна угадать — кого? Отгадавшие садятся на спины противников и едут до условленного места... Что еще? Ну, вот хотя бы «минди-минди», или «вор пришел», или «головка моей птички»...

По правде говоря, все эти игры немножко похожи друг на друга. И почему это так увлекательно — сидеть верхом на ближнем? Затевая «головку моей птички», ребята опять же разбиваются поровну на две команды, каждая выбирает «матку» — главаря. «Матки» берут какую-нибудь тряпицу, завязывают ее узлом, стараясь придать форму птицы, потом, перешептываясь, загадывают название: козодой, чайка, синица, горлинка, ястреб, пустельга... А обе ватаги терпеливо ждут, пока «матки» наконец договорятся и, показывая тряпичное чучело, приступят к опросу:

— Головка моей птички во-от такая, а туловище во-от такое, отгадай, что за птица?

— Коршун! — вопит ватага.

— Не-ет, не отгадал!

— Курица!

— Хо! Не отгадал!..

— Иволга.

— Не отгадал!

— Филин!

«Матки» сдаются:

— Отгадал, отгадал...

И ребята из команды, к которой принадлежит отгадчик, усаживаются верхом на соперников, дружно кричат: «Хык, мой ишачок!» — и едут на чужих спинах, куда было условлено. Тут кто-нибудь спрашивает у «матки»:

— Верхом или пешком?

Если «матка» скажет: «Что внизу — то вверх», ослики и всадники меняются местами...

Разъезжая «верхом», мы поем песни, их нам тоже не занимать, ну, хоть вот эта:

Хум, хум, кабы власть,
пить, есть можно всласть.

Хан, хан, Умарали,
бек, бек, Мадали,
нам, нам вашу власть,
пить, пить станем всласть!

Носимся, поем, кричим, пока не выведем из терпения какую-нибудь старуху:

— Чтоб вам провалиться, дети шайтана!

...Да, есть ведь еще «гонки нагишом»! Ну, это совсем просто: берем две тубетейки, привязываем их к вискам, получаются словно бы лошадиные уши! — подол сзади завязываем наподобие хвоста — и устраиваем бег на разные расстояния. Обычно наши маршруты проходят по Тиканли-мазару, по Караташу, по Ялапкари, Алмазару, Деваибегги и снова по Тиканли-мазару; получается круг длиной версты в три. Прибежавшего первым встречают хлопками в ладоши, возгласами похвалы, всяческими знаками почета. Главное, до следующих «скачек» он считается самым сильным...

Кроме силачей, есть еще и богачи, но богатство у нас тоже на свой лад. Главной ценностью почитается альчик, раскрашенный, залитый свинцом, или костяная бита, которую нам подтачивают мастера-веретенщики, или крышка от каких-нибудь старых часов... Эти ценности в ходу главным образом днем, когда бегать по базару да по чужим улицам слишком жарко — в разгар лета, или слишком грязно — зимой. И тут своя вереница развлечений: всякие виды игры в альчики, в орехи, в мяч, в чижики, стрельба из лука, игра в конокрадов...

А ведь в месяц поста ко всему этому прибавляется много интересного. Вечерами мы ходим по махалле из дома в дом и поем «Рамазан». После захода солнца, с наступлением намазшама, четвертой молитвы, и до полуночной трапезы, которая именуется «сахарлик», мы бродим из мечети в мечеть и слушаем, как коры, раскачиваясь, распевают Коран наизусть...

И то сказать, времени у нас хватает, в школе задерживают нас ненадолго, а дел... Какие у нас могут быть дела! Наши родители и себе-то подчас не могут найти работу, где уж там пристроить мальчишек!

Махаллю вроде нашей населяют обычно мелкие ремесленники — кожевенники, что обтягивают кожей литавры и бубны или изготовляют потники; веревочники; мастера, которые чинят фарфоровую или стеклянную посуду (с помощью металлических скрепок), водоносы, носиль-

щики, конюхи, сторожа, массажисты, мелкие служители окрестных мечетей... Правда, в нашей махалле жили главным образом рабочие типографии и кондитерской. Но все же, кого тут только не было! Это родители моих товарищей, я их помню отлично.

Отец Амана, Турсунбай-ака, изготавливал перочинные ножи. Был он вдовец, жена его умерла рано, и Аман остался единственным сыном. Отец Абида — да, Абидов ведь у нас было двое, мы различали по прозвищам: одного звали «Ит» (пес), другого — «Бит» (вошь) — так вот, отец Ит-Абида, Захид-ака, был старьевщиком, а у Бит-Абида отец шил ножны. Кожевенным ремеслом занимался и отец Хуснибая, Аманбай: изготавливал хомуты.

Отец Салиха, Юнус-ака, был хафизом — певцом. Расулмат-ака, отец Турабая, торговал гузой, а отец Абдуллы, Азиз-ака, — керосином. Он разъезжал на повозке с огромной бочкой и продавал керосин на улицах. Разумеется, и повозка, и лошадь, и бочка, и керосин ему не принадлежали: он служил в компании Нобеля.

У Пулатходжи отец что-то вроде коммивояжера; он ездил по разным городам, расположенным по ту и эту сторону границы, и исчезал иногда очень надолго. Говорят, когда Пулатходжа был шестимесячным зародышем, то прирос к утробе матери и оставался там, пока отец — лет пять или шесть — разъезжал по Кашгару; родился он спустя три месяца после возвращения отца.

Собирались мы в доме у Юлдаша, который жил без старших; мать его давным-давно умерла, потом заболел и умер отец — Бува-ака, сапожник.

Кстати, сапожным ремеслом занимался в махалле еще Миразиз-ака; меня даже отдавали к нему в ученье. Из примечательной он был семьи. Отец его, Салимбай, с тех пор как поселился в нашей махалле, кормил семью тем, что приносил кости с бойни и вываривал из них жир. Но когда-то он был воином у Якуб-бека и во время Кашгарского восстания захватил в качестве трофея девушку-китайку. Он привез ее в седле, заставил принять мусульманство и потом женился. Ее китайское имя он сменил на Бахтибуви. Миразиз-ака был младшим их трех сыновей Бахтибуви.

Всех ли соседей я помню?.. Фу-ты, чуть не забыл самых важных птиц! Как, однако, меняются времена! Тогда они были первыми, настоящие богачи: мануфактурщик Карим-кору, торговец воском Якуб-тыква, торговец крас-

ками Абдуллаходжи. Они стояли в мечети впереди всех, только вот не помню, кто в какую мечеть ходил — их ведь было две поблизости: одна на Тиканли-мазаре, другая на Кургантаги. При каждой из них была школа, имамы были и учителями: на Тиканли-мазаре — Шамси-домла, на Кургантаги — Хасанбай. Я ходил во вторую, к Хасанбаю-домле, который учил не по «Хафтияку», а по «Устоиди-Аввалу» и куда быстрее обучал грамоте...

ПЛОВ В СКЛАДЧИНУ

Это злополучное для меня дело затеял Юлдаш.

Мы играли в альчики под навесом, у главного входа в Лайлак-мечеть, и мне необыкновенно везло. Карманы и рукава моего легкого халата, да еще и поясной платок были полны выигранными альчиками. Я упивался победой и, пряча за пазуху очередной выигрыш, радостно вопил:

— А-а, проворонили! Ащички мои!

Конца удаче не предвиделось. Тут-то и появился Юлдаш. Он подошел, вытирая нос засаленной полой халата, посмотрел на игру и сказал как бы нехотя:

— Что, ребята, устроим плов в складчину?

Все мгновенно к нему повернулись:

— Устроим! Устроим! — Мое везение явно не приводило в восторг никого, кроме меня.

Юлдаш прищурился:

— Где?

— Где хочешь! Ну, хоть в бывшем дворе Ризки-халфи! — Ризки-халфи был помощником учителя.

— Идет, — сказал Юлдаш и стал распределять, кому что. Хуснибая выбрали поваром: котел, шумовку, соль перец, воду должен был обеспечить он. Рис и морковь взял на себя сам Юлдаш. Принести мясо выпало на долю простачка Абдуллы, сало обещал достать я, а прочее (прочего-то почти не оставалось) поручили хитрецу Пулатходже.

Мы разошлись, и я, отягченный выигрышем, отправился домой за салом.

Мать была на кухне. Она развела огонь в тандыре и лепила самсу с тыквой. Я высыпал альчики в своем уголке. Припасы и домашние мелочи хранились в чуланчике, позади нашего старенького домика. Путь туда лежал мимо айвана; на айване моя средняя сестренка нянчила младшую. Пройди я мимо нее даже с самым независимым ви-

дом, она тотчас заинтересовалась бы — куда? — и подняла шум, как сторожевая собака. Пришлось прибегнуть к хитрости.

— Шапаг, — сказал я ей, — а где твой большой мяч?

— Там, где мои куклы, а что?

— А вот и нету там!

— Ах, чтоб тебе пусто было, наверно, ты и взял, отдай сейчас же, отдай!

Я стоял, ехидно улыбаясь. Она кое-как положила сестренку и, зашипев в мою сторону, побежала к своим куклам. Я помчался в чулан, мгновенно отковырнул кусок сала в кувшинчике, завернул его в клочок бумаги, которым кувшинчик был накрыт, и сунул добычу за пояс. Главное дело было сделано. Я спокойно пошел в сарай, где хранились дрова. Оказалось, серая курица снесла яйцо и теперь его высиживала. Мне представлялся прекрасный случай отличиться: кроме сала, я принесу еще и яйцо, а ведь оно не входило в мою долю! Я согнал курицу, она закудаhtала и убежала, я пристроил яйцо под шапкой. Теперь оставалась одна опасность: надо было пройти мимо кухни. Я пошел к калитке, будто прогуливаясь, в надежде, что мать занята у тандыра. Увы! Она стояла у двери и со страдальческим видом, со слезящимися глазами, отмахивалась рукой от дыма.

— Ах, чтоб ты сдох! — закричала она. — Опять на улицу?

Я покорно остановился.

— Только и знаешь, что бегать, проклятый! — кричала мать. — А ну, иди сюда, помоги мне разжечь огонь. Дымит, чуть не ослепла!..

Делать было нечего, я пошел к тандыру и стал раздувать пламя. Дым ел мне глаза, яйцо тихонечко перекачивалось под шапкой, точно выжидая удобного случая выкатиться или произвести на свет цыпленка. В кухне было жарко. Огонь наконец начал разгораться, когда я почувствовал, что по животу и ноге у меня что-то течет. Это от жары растаяло сало! Жирная струйка густела и наливалась силой, как арык в половодье. Меня охватили досада и страх. Штанина намочла, растаявшее сало начало капать на землю. Я как раз собирался обернуться, чтобы посмотреть, не видит ли все это мать, — и тут на мою голову обрушился удар.

— Чтоб ты сдох! — кричала мать, размахивая скалкой. — Такой здоровый балбес, сам мог бы иметь детей,

если б женился,— и обмочился здесь, в священном месте, где хранятся принадлежности Фатимы и Зухры. Ах, чтоб...

Тут она осеклась и уставилась на меня. Яйцо под шапкой разбилось, желток, смешавшийся с белком, тек у меня по виску и правой щеке. Мать слышала легкий хруст при ударе, теперь она, видно, решила, что пробила мне голову и это вытекает мозг. Мешкать было нельзя. Я скользнул мимо нее к выходу и помчался со двора. Мать вслед что-то кричала, к ее крику прибавился злобный визг сестренки, но мне было не до них. Через мгновение я был уже далеко на улице.

Обогнув третий угол, я остановился, чтобы обдумать свое положение. Было оно такое, что хуже пекуда. Идти к ребятам не с чем. Домой я тоже не мог вернуться, мать вот-вот обнаружит пропажу доброй трети сала, тогда мне и вовсе несдобровать. Куда деваться? Я вдруг почувствовал одиночество и тоску. Нет мне приюта в этом мире!

Я стоял, машинально ковыряя пальцем дувал, у которого остановился. За дувалом, во дворе, шла обычная жизнь, слышались спокойные голоса. Какая-то девчонка крикнула: «Ой, тетя!»

И тут меня осенило: тетка на Сагбане! Как я об этом сразу не подумал!

В самом деле, на улице Сагбан жила со своим мужем, скорняком, моя бездетная тетка, сестра отца. Бывал я у них редко, но они во мне души не чаяли. Детей у них нет, в доме вечно тишь и гладь, все прибрано, все вылизано, так что иногда даже скука берет, да и ребят окрестных я там не знаю. Но зато ведь и дом у них как магазин, чего там только нет! Почти все, что водится на свете!

Три охотничьи птицы с мощными когтями: ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник, пустельга. Бойцовый петух. Индюк. Обыкновенный петух, но такой огромный и толстый, что на нем можно прокатиться верхом, с фиолетово-зеленой спиной, черными боками и багровым гребешком, похожим на язык пламени. В клетке, плетеной из ивовых прутьев, жил кеклик. В сетке, с дном из тыквы, обитала перепелка. Из певчих там были соловей, щегол, скворец, горлинки...

Жили в доме и три собаки: одна охотничья, борзая (ее держали только из роскоши, дядя с ней никогда не охотился), маленькая комнатная собачонка, которая меня, правда, терпеть не могла, и дворняжка, в старой конуре у ворот. Все они мирно уживались с пышной бухарской

кошкой. Когда я был в последний раз у тети, у кошки появилось пять или шесть котят, и их наверняка тоже оставили в доме.

А какой был во дворе цветник! Портулак, шиповник, ирис, розы, астры, резеда, ночная красавица, георгины, олеандр, ноготки — всего и не упомнишь... Каждый куст дядя с теткой оберегали как зеницу ока, но я так и не мог понять, как им удавалось спасти свой сад от своего зверинца.

И такими они угощали лакомствами! Я вспомнил все это, и у меня даже слюнки потекли от предвкушения той полной удовольствий жизни, которой готово было сменитьсь мое грустное существование изгнанника. Я кое-как умылся у ближнего арыка и отправился на Сагбан, то и дело останавливаясь по дороге, чтобы рассмотреть все попадавшиеся навстречу любопытные вещи, и переживая в воображении начало новой прекрасной жизни.

Как я и ожидал, дядя и тетя встретили меня с радостью. Тетка сразу засуетилась и запричитала:

— Ах ты, голубчик мой, заходи, заходи. Как вырос! Каким тебя ветром занесло! словно брат воскрес и пришел к нам, недаром у меня веко подергивалось сегодня!

Я, скромно потупясь, сказал, что очень по ним соскучился и пришел к ним на несколько дней. От этих слов тетка засветилась, да и дядя обрадовался.

— Ну, молодец! — сказал он ласково, глядя меня по голове. — Вот так молодец! Вспомнил нас! Не зря юлпашша (это такая большая муха) все кружилась нынче по комнате, я и то думал, что за гости будут? Оказывается, это ты! К добру она прилетала, к добру, ай, молодец!

Осыпая ласковыми словами, они повели меня в дом, и я так разомлел от всего этого, что и сам поверил в объявленную мной причину прихода.

Для меня началась жизнь как в раю.

Впрочем, многие уже убеждались и до меня, что жить в раю скучновато. Я понял это к середине второго дня, выяснив свои отношения со всеми животными и при этом дважды доведя до бешенства комнатную собачонку, перекормив дворняжку, лишив громадного петуха нескольких самых красивых перьев во время попытки совершить на нем путешествие вокруг цветника, дав понять двум кошкам — матери и дочери, где их настоящее место в доме, и так усердно перенюхав цветы, что они лишились доброй половины своего аромата.

Я попросился на улицу. Дядя дал мне три копейки на мелкие расходы — немалая сумма (а мне было обещано, что я стану получать ее каждый день, если постараюсь не попасть под арбу), и я отправился навстречу новым знакомствам.

Махалля была не такой многолюдной как наша, но ребят хватало, и занимались они, в общем, тем же, что и мы, так что я без труда включился в их игры. Два дня мы играли в войну, потом стреляли из лука, играли в альчики, однако на этот раз мне не везло. На третий день с утра решили стравливать собак. Из двух бродячих псов, которых мы поймали, один оказался таким слабонервным, что дал стрекача, едва ему представилась возможность. Тогда я решил похвастаться дядиной дворняжкой и тайком вывел ее со двора. Сначала, чувствуя мою поддержку, она отважно кинулась в атаку, но недавние желудочные неприятности, должно быть, сильно подорвали ее силы и веру в себя. Она была побеждена и вернулась с поля битвы с перекушенной ногой. Боюсь, она хромала потом до конца жизни.

Мне было жалко дворняжку, я никак не рассчитывал на такой исход. Теперь пришлось ломать голову, как скрыть эту беду от дяди, но мне снова повезло! Дядю пригласили за город, на бахчу, чтобы поесть дынь прямо с грядки. Дядя решил, что заодно навестит родственников, у которых должен был побывать по случаю хайта, и собрался за город на несколько дней. Он захватил с собой борзую и ястреба-перепелятника, да еще сачок с длинной ручкой, которым ловят птиц. Дворняжкиной раны он не заметил — бедная собака забилась в глубь конуры, к тому же я тщательно загораживал ее спиной. Перед самым отъездом дядя дал мне три бухарских танги:

— Корми птиц, смотри, чтобы они не сидели голодными. Вот, купишь им еще корму, если я задержусь...

Я загордился. Я уже взрослый, мне скоро четырнадцать, мне доверяют важное дело. Да еще не каких-нибудь пташек, а таких хищников, как ястреб и пустельга! Я пошел на птичник. Ястреб и пустельга сидели на насестах в разных углах, вобрав в себя головы. Я не знал, чем дядя их кормит, но в голове у меня мелькнула одна мысль. Помет у них совершенно белый. Белый, как молоко. Может, им нужна молочная пища? Конечно, пресное молоко не годится, слишком жидко, а простокваша? Должно быть, в самый раз! Надо попробовать. Нет, определен-

по эта пицца им в самый раз. Иначе помет не был бы таким белым, и как это никто еще не догадался?

Тайком от тети я взял в кухне горшочек, в котором обычно сквашивают молоко, и отправился на базар. Там за две копейки мне наполнили горшочек доверху. Дома я разлил простоквашу в чашки и поставил их каждой птице. Они бросили на пиццу равнодушный взгляд и тут же отвернулись. Еще бы, породистые птицы, гордые, не какая-нибудь мелюзга! Хоть и голодны, а при людях до пиццы не дотронутся. Будь это курица, она бы тут же показала бы свой низкий характер, сразу бы накинулась на еду. А эти — нет.

Я вышел из птичника. Часа два спустя я зашел туда снова. Гордые птицы все еще сидели, отвернувшись от пиццы и не слезая с насеста. Я разозлился. Душа-то с воровья, а тоже — важничают, подумаешь, хищники! Я ведь проявил к ним полное уважение, даже вышел, думая, что они любят обедать без посторонних. А они — на тебе! Не притронулись!

На резном колу в птичнике висели рукавицы дяди: он надевал их, сажая птиц на насест. Я надел рукавицы, взял пустельгу и, зажав ее меж колен, стал кормить простоквашей из серебряной ложки. Когда я решил, что пустельга наелась досыта, я посадил ее обратно на насест и взялся за ястреба. Ястреб тоже прилично поел.

— Теперь порядок, — сказал я им, уходя. — Когда человек сидит неподвижно на одном месте, он знает, как утомляется? А когда наешься как следует, тогда хватит сил, чтобы посидеть спокойно. Теперь сидите себе: сыты — и горя нету.

Так, потихоньку от тетки, я кормил их дня два. Пустельга мне особенно нравилась, и я скармливал ей густой верхний слой простокваши. Забот у меня теперь стало многовато, я почти не выходил на улицу. Тетя молча радовалась, глядя на меня, но я делал вид, что не замечаю, как она вся сияет доброй улыбкой.

— Молодцы! — сказал я. — Не все же сидеть на насесте! Тоже надоедает.

На завтрак птицы опять ели простоквашу. В полдень я решил дать им сюзьмы, они ведь сидели все время на постном и соскучились по жирной пище. Но когда вечером я снова вошел в птичник, то не поверил своим глазам! Пустельга лежала мертвая, подвернув под себя крыло и вытянув ноги. Ястреб лежал в такой же позе; он еще ды-

шал, но ясно было, что долго не протянет... Меня охватил ужас: что я теперь скажу дяде? Он же так любил этих птиц! И чего им понадобилось подыхать? Неужели из-за простокваши? Подумаешь, я тоже люблю мясо. А сколько дней я сидел на одном молоке, да и того — не вдоволь? Надо же, какая беда! Что же я все-таки скажу дяде?.. И тут я понял, что мне сказать ему печего. Жизнь моя в этом городе кончена. Теперь все пропало. Надо уходить, пока не поздно. Уходить куда глаза глядят. Как молодцы в старых сказках, которые рассказывала мама, когда я был маленький. Пожалуй, не такое уж плохое это было время. И я слова почувствовал себя таким одиноким и несчастным, что мне захотелось плакать. Но делать этого было нельзя, тетка могла заметить.

Из тех денег, что дядя дал на корм, оставалось еще пять копеек. Я спрятал их в пояс и пошел к воротам. В крытом проходе висела клетка с горlinkками, которых я очень любил. Я посмотрел на них с сожалением, подумал немного и вдруг решился: тихонько спял клетку с крючка, поставил ее на голову и вышел. Улица была почти пуста. Я пошел быстрым шагом, чтоб отойти поскорее от дома. Мне представилась тетя: когда я уходил, она готовила шавлю для кошек. Что она будет делать, когда меня хватится? Уж наверно, заплачет. Чтоб отогнать эти мысли, я в виде напутствия хлопнул себя свободной рукой по заду и — деньги в поясе, полы подоткнуты, клетка с горlinkками на голове — пошел, пошел, как герой сказки, держа путь далеко... за пределы города.

Я по дальней дороге, рыдая, пойду,
ты останешься, плача, в печальном саду.
Мы две горlinkки малых, два слабых птенца,
и разлука меж нами — как путь без конца.
Ах, печаль моя, пыль да полуденный жар,—
каково мне, расскажет дорожный комар.
Я же — песню сложу про тоску да жару,
каково на дороге тому комару.
Ах, спроси не меня, расспроси мудреца,
каково нам, скитальцам, в пути без конца...

БАЗАР

Я шел куда глаза глядят, а так как частенько они глядели по сторонам, я долго плутал в глиняном лабиринте, пока выбрался на дорогу, ведущую прочь из города. Тем

временем стемнело. Черные тени карагачей, чинар, тополей, стоявших по обочинам, слились воедино. Днем они дарили прохладу, теперь под деревьями казалось душнее, чем в поле. Дорога опустела. Неподалеку разъехались с руганью две встречные запоздалые арбы, прошел мимо, прихрамывая, какой-то дехканин. Он обогнал меня, видно, торопился домой. Пора было и мне подумать о почлеге. Время от времени к самой дороге выходили дувалы каких-то дворов, там негостеприимно лаяли собаки. Я решил переночевать в поле. На свободе и впрямь было свежее. Только теперь я сообразил, что не захватил с собой ни еды для себя, ни корма для горлинок. Придется терпеть до утра. Я вспомнил с сожалением теткинны теплые лепешки и даже простоквашу, которую скамливал проклятым птицам. Клетку с горлишками я сунул в какой-то густой куст, расстелил рядом свой халат и лег. Надо мною простиралось черное, утыканное звездами небо. В первый раз оно показалось мне таким громадным. И звезд столько, что, пожалуй, их и вправду не сосчитать. Я попробовал — и заснул.

Разбудило меня солнце, оно только что встало из-за горизонта и брызнуло светом в глаза. Тело ныло — постель была жестковата. Но голова стала легкой и ясной. Я натянул помятый халат, взял горлинок и отправился дальше в путь.

Долго ли, коротко ли я шел (как говорят в сказках), но впереди показались дома селения. Звалось оно Аччабад, это я потом узнал. Не успел я опомниться, как навстречу вынеслась ватага черномазых ребят разного возраста. Они окружили меня и, разглядывая, стали обмениваться замечаниями разной степени дружелюбности, начиная от довольно лестной характеристики моего халата и кончая предложениями отлупить меня, чтоб не шлялся там, где не надо. Их было человек двадцать, некоторые раза в полтора выше меня, другие доставали мне до пояса, таких четверых можно бы уложить одним ударом. Но об этом сейчас нечего было и думать.

Неожиданно от них поступило деловое предложение.

— Продай-ка горлинок, — сказал басовито самый длинный, должно быть, главарь. На нем была рыжая тубетейка, разорванная почти до середины, так что голова у него походила издали на треснувшую дыню.

— Не продаются, — сказал я как можно более твердо.

— А-а, не продаются! — пробасил Рыжая Тюбетейка таким зловещим тоном, как будто теперь-то уж наступило самое время втоптать меня в землю. Ватага сгрудилась тесней. Рыжая Тюбетейка подумал и сказал: — Ну, тогда выменяй!..

— На что? — Я решил продать свою жизнь возможно дороже.

Тут они все ужасно загалдели и стали совать мне под нос у кого что было в руках. Особых цепностей я не увидел, но поскольку с горlinkками все равно приходилось расставаться (я-то был уверен, что они их у меня попросту отнимут), это было лучше, чем ничего. Минуту спустя они унесли с горlinkками, а я остался с кучей добра на руках. Тут было три обода от решет, деревянная трещотка, две игрушечных колыбели, продырявленный бубен, кожу и обод которого зачем-то выкрасили в красный цвет, деревянная лопатка, две порции жвачки. Я прогадал или они — это одному богу известно, но теперь моя поша сделалась в несколько раз тяжелее. Кое-как связав все и взвалив себе на спину, я двинулся дальше и миновал селение без новых происшествий.

Деревья по обочинам давно уже остались позади, вокруг расстилалась бугристая степь, поросшая колючкой, там и сям зловеще поблескивали проплешины солончаков. Ноги мои погружались в пыль, сверху пекло полуденное солнце, мне страшно хотелось и есть и пить — даже не знаю, чего больше.

Вдали показалось одинокое дерево, и я, сколько мог, ускорил шаг, торопясь добраться до тени. Она была уже близко, когда я заметил, что навстречу мне, тоже, видно, направляясь к дереву, бредет тощая фигурка с кетменем на плече. Что-то в ней показалось мне знакомым. Мы сошлись еще немного поближе, и — подумать только! — я узнал моего друга Аманбая. Того самого Аманбая из нашей махалли, отец которого торговал ножами собственного производства! Мы оба страшно обрадовались и побежали навстречу друг другу, забыв жару и усталость. Встретились мы как раз у дерева — старой джиды.

Недели две назад отец послал Аманбая к родственникам в кишлак, чтобы они пристроили его поденщиком. Теперь поденная работа кончилась, и Аманбай возвращался домой — пешком, таща на себе кетмень. Он, конечно, ничего не знал о моем бегстве из дому и, приметив ободы от решета, решил, что меня тоже послали на зара-

ботки — формировать кизяк. Мы сели под джидой, и я рассказал ему про свои несчастья.

Обменявшись новостями, мы оба вспомнили, что голодны, и, как по команде, задрали головы кверху. Но, увы, никаких плодов на джиде не было.

— Видно, она того сорта, что плодоносит раз в два года, — сказал я ехидно. — Надо не забыть прийти сюда в будущем году.

— Ну и дурак, — сказал Аман. — Сейчас же саратан, забыл, что ли? В саратане плоды отправляются в Мекку, чтобы им на косточках написали «алиф!» Они скоро вернутся.

Как я мог забыть об этом! Есть нам, однако, было нечего. Ни у меня, ни у Амана — ни крошки съестного.

— Вообще-то не очень далеко отсюда Кок-Терак, — сказал Аман нерешительно. — Большо-ой город... И базар там здоровый!

— Пошли?

— Я ж домой иду...

— Пошли! — сказал я. — У меня деньги есть, и вещей сколько! Продадим!

— У меня тоже есть деньги. Я ж заработал.

— Ну вот! Пошли, а завтра вернешься! А то... пойдём со мной? А?

Аман молчал, переживая внутреннюю борьбу. Мое предложение явно показалось ему замащивым. Я стал рисовать яркие картины будущего путешествия и богатые возможности, которые перед нами открывались. Он слушал, изредка взглядывая на меня, и вдруг вскопился:

— А, ладно! По рукам! Клянись — все пополам?

Я с радостью поклялся.

Мы разделили пожитки поровну, подсчитали деньги (я оказался сравнительно с Аманом прямо-таки богачом: он заработал поденщиной без малого одну таньгу) и зашагали. К заходу солнца мы пришли в Кок-Терак и остановились в чайхане. Нам повезло: назавтра была пятница — базарный день. Утром мы отправились на базар.

Это был базар, скажу я вам! Ну и ну! Всем базарам базар! Иран да Туран, Мекка да Медина, Маймана да Майсара, Стамбул и Мазандаран! Ни во сне, ни паяву, ни в грезах не доводилось человеку видеть такого базара. И рассказать нельзя, сколько тут было разных торговых рядов, какое обилие товаров, какая пестрота базарного люда! А лица торговцев — такие хитрые, как будто им не раз уж

удалось обмануть весь свет! И одежда на них — всех цветов радуги, да еще у каждого цвета по два сына с внучатами, такие оттенки, что и не знаешь, как назвать! В глазах так и пестрит, так и мелькает, в ушах — гам, звон, грохот, точно народ расходится после Страшного суда. Такого базара не описывает ни «История пророков», ни книга «Хурилика», такого базара и не было еще в мире.

Нет уж, давайте рассматривать все по порядку! Вот парфюмерно-галантерейный ряд. Галантерейщики разложили свой товар прямо на земле, устроив навесы из старых мешков, перепачканных паласов, клочков материи, из сшитых лоскутьев — красных, синих, зеленых. Тут можно все найти, чего душа ваша пожелает, все, что от сотворения мира изготовляли галантерейщики и парфюмеры. Желаете ли ртутной мази против вшей и блох? Или, может, масла индау от чесотки? Или средства от сибирской язвы? Или имбирь, александрийский лист, аконит? Или черные бусы с белыми крапинками, которые надевают от дурного глаза? Или шарики от болезней желудка? А то, может, вам нужна большая игла, какой стегают ватное одеяло, или гребень для бороды, или шнур для штанов, или тесемки, чтоб подшить штаны снизу? Или лекарственное растение «халилан-занг» — кто его знает, от чего оно лечит, но если вам неизвестно, чем вы больны, оно в самый раз. А вот пластырь с целебной мазью от всяких ран и язв, бухарская жвачка, гвоздика, лекарственная гречиха... Что и говорить, тут есть все! Ирбит, настоящий Ирбит!

Только и остается восхищаться теми, кто все это собирал, сортировал, раскладывал...

А вот другой торговый ряд. По одну сторону — гончары, по другую — торговцы мылом. У гончаров вас ждут целые выводки обожженных глиняных красавчиков, целые семейства кувшинов, кувшинчиков, чашек, блюд, похожих, как близнецы или братья-погодки. Нужен вам большой таз или, наоборот, маленький тазик, или требуется огромный хум — пожалуйста, их только что вынули из хумдана, такой здоровой печи, где обжигают глиняную посуду. Или вы хотите горшочек для заквашивания молока? Или маленький кувшинчик с горлышком, как у дышла? Все это ждет вас, ждет не дождется, и от радости так и отдает звоном, стоит щелкнуть по стенкам пальцем.

В ряду у мыловаров разложено круглое мыло, свечи. Перед мыловарами в хурджунах — шкварки и внутрен-

ности животных. Жужжат тысячи зеленых мух. Чтобы купить здесь фунт мыла, необходимо сначала обмотать нос платком или спрятать его в рукав. Некоторые мыловары, привлекая покупателей, стоят с угощением в руке — пиалой чая и кусочком лепешки. Но какой уж там чай, какая лепешка! Хорошо еще, если не вывернет тебя панзанку. По мне, лучше век не видеть мыла, лишь бы не пырять в эту вонь, густую, как вчерашняя шавля.

Однако ж это еще не самые знаменитые ряды: на весь мир прославлен «Битбазар», — то есть «Вшивый рынок», барахолка. Вот уж тут действительно можно найти все, что душе угодно и чего не угодно: солдатские брюки, непарные кавуши из сагры, толстый стеганный ватный халат, который и носили-то всего лет семь, не больше, одна беда — сейчас трудно установить, из какой ткани его сшили; или тюбетейку, — очень ценную по-своему тюбетейку, ведь по возрасту она могла бы стать аксакалом среди всех тюбетеек к востоку от Каспийского моря; или верхнюю одежду с короткими, до локтей, рукавами времен Малляхана; или лоскутья разных цветов — чего только не сошьет из них искусная мастерица! А может, вам нужна попона? Хоть ее и сняли с дохлой лошади, она еще поживет! Или сафьяновые ичиги — о, вы их еще поносите, стоит только поставить новые задники и подошву да покрасить как следует голенища! А сколько тут материи для портянок, — какой выбор! Для портянок или еще для передников, которые падевают мужчины, когда моются в бане...

Но самое интересное — физиономии перекупщиков, которые всем этим торгуют. Они не мыты уже добрую неделю, бороды отроду не знали бритвы, но лица так и светятся. Стоит вам обратить внимание на товар да спросить цену, они просят так, словно воскрес их дорогой покойник, которого вчера только с рыданиями похоронили. Они непременно сначала поздороваются с вами за руку, а потом уже назовут цену. О, доводилось мне слышать, что есть на свете место, именуемое «Амиркан». Видно, это самый Амиркан и есть!

И надо же, именно здесь, на Битбазаре, мы встретили Хуснибая из нашей махаллы! Мы увидели его, когда уже довольно долго бродили тут, ошеломленные гамом, пестротой, обилием, все еще не решив, с чего начнем — с продажи или с покупки. Хуснибай торговал лоскутом! Лоскут — это не просто мелкие лоскутки, а изрядные, в поло-

вину или три четверти аршина, обрезки ситца, которые зачастую остаются, когда распродан целый кусок материи. Крупные торговцы мануфактурой сбывают их по дешевке коробейникам, а те, разложив в хурджунах так, что свешиваются паружу краешки самых разных узоров и расцветок, разносят по базарам. На лоскут находится много покупателей. Ведь аршин самого дешевого ситца стоит восемь с половиной пакиров — семнадцать копеек! Беднякам это редко по карману. Шить будничную одежду целиком из ситца они не могут, вот и покупают обрезки на рукава и нижнюю часть штанин, видную из-под халата; остальное шьется из буза.

Когда Хуснибай успел заделаться коробейником, мы понять не могли, но ходил он как заправский торговец: оба мешка переметной сумы набиты лоскутом, в руках аршин.

— Кому поплин, кому ситец, кому сатин, кому мадаполам, кому бязь, тик, кому чертову кожу, покупайте, посите на здоровье! — орал он во все горло — и вдруг увидел нас. Он так удивился, словно встретил живых имамов Хасана и Хусана. — Ой, это вы? Откуда вы тут взялись?.. А меня отец хотел послать на базар с хомутами, но я сказал, это мне не под силу. Я уже давно хотел побродить, как мой дядя, коробейник, отец дал денег на лоскут, а тут как раз Саид-Палван ехал на базар, вот я и здесь... Глядите, какой товар, такого не найдешь и в магазине Юсуфа Давыдова! Рубля на три товара! — Он спохватился. — Да, а вы-то что здесь делаете? Ты, Амап, из кишлака идешь? — Тут он вспомнил про мою историю: — А ты — хорош! Учеником к цыганам нанялся, что ли? Где это ты шатаешься уже вторую неделю? Бедная твоя мать, где только тебя не разыскивала! Не сдох бы, если б дал о себе знать! Спасибо, твой дядя приходил и успокоил мать. Сказал, что ты пять дней жил у него, а потом в Капланбек подался, к другому дяде. Мол, до осени поможешь ему в поле... Как же это ты здесь очутился? И дяде наврал? Заглянул бы ненадолго к матери, дурак! А то она все плачет...

— Подзаработаю сначала немножко, одежду справлю, потом вернусь.

— Спра-авишь! Еще и без этой останешься!

— Ну-ну, полегче!.. У меня вон тоже товар есть.

— Ого! Действительно! Где это ты набрал? Воронье гнездо ограбил?

— Ладно, ладно! — вмешался Аман. — Хватит ругаться, и так жарко. Ты лучше расскажи, что в махалле нового?

— Что там может быть нового?.. Хотя, вы же еще не знаете! — Хуснибай оживился. — Там такое было! Бакалейщик Джалил сложил свое сено на крыше мечети, а там пожар начался. Пожарные приезжали, вот было здорово! А еще Пулатходжа стащил у своего брата револьвер и пристрелил собаку сторожа. Миршаб посадил его на сутки, приходили два полицейских и сам Мочалов! Все попрятались по домам, а мы с Салихом подсматривали с балхоны Миразиза-ака. Мочалов говорит (тут Хуснибай стал передразнивать Мочалова): «Ай, ай, жаман, жаман, совсем жаман, тувая Сибирь пойдешь...» А брат Пулатходжи все твердил: «Пожалиска, пожалиска...», сунул порядочно денег, они и ушли. Пулатходжу отпустили, а брат ему давал знаешь как. Только он теперь хвастается, что никого не боится — ни полицейских, ни Мочалова, ни сторожа, слепого Рахима. «Всех, говорит, перестреляю, если захочу!» Мы ему всыпали слегка, а он говорит — я и вас перестрелять могу...

— Ох, задам я ему, когда вернусь, — сказал я.

— Конечно, задашь, — сказал Аман насмешливо. — Только вернись.

— Эй, Хуснибай, — сказал я. — Придешь домой, не забудь передать привет моей матери и сестренкам, скажи, пусть за меня не беспокоятся. Да, постой, этот пятак отдай Юлдашу, я ему должен. Ну, мы пошли по своим делам. Прощай!

— Прощайте! — сказал Хуснибай, и через секунду мы услышали, как он снова заорал: «Кому пошлин, кому ситец...»

Мы с Аманом решили выставить для продажи то, что я выменял на горлинок, и прибавить к этому еще кетмень. Покупателей около нас появилось очень много, и мы подумали было, что товар у нас ходкий. Однако это оказались просто любопытные, — их интересовала даже не цена, а назначение наших вещей, и они высказывали разные остроумные предположения. Помучившись около часа, мы продали наконец кетмень Амана и мою деревянную лопатку. Дело не обошлось без добровольных посредников.

— Ну, по рукам, что ли, — говорили они еще и после того, как мы, проторговавшись с покупателем полчаса,

уже уступили ему: кетмень — за полтинник, а лопатку, по случаю летнего времени, всего за полторы таньги.

Деньги Аман завернул в поясной платок. Теперь надо было избавиться от остального. Игрушечные люльки и трещотку я дал Аману, а сам взял бубен и ободы от решета. Аман завертел трещоткой, а я ударил в бубен, чтобы привлечь покупателей. Нас тотчас окружила толпа таких же, как мы, оборванных ребят, они собрались на бесплатный концерт. Одному худенькому мальчугану ужас как понравилась трещотка. Это был сын дехканива. Аман взял его на крючок и, не допуская возражений, скоро выменял трещотку на два арбуза и дыню. Я подмигнул ему: молодец, дескать, у тебя рука легкая. Вслед за тем мы продали бубен юноше с красивыми усами, который разъезжал по базару на буланой лошади. Он дал таньгу. А потом нашелся и «слепой покупатель» на игрушечные люльки: старенькая казашка, которая принесла на продажу курицу, яйца, курт и пшено.

— Вай-буй, миленькие мои, отдайте мне эти люльки, принесу детишкам с базара подарок, порадуя внучат!

Аман сказал суровым тоном:

— Люльки не продаются отдельно от обода.

— Вай-буй, миленький, что же мне делать с ободом без сита?..

Качая головой, она пошла было прочь, но вернулась:

— Ладно, так и быть, куплю, пусть дети играют. Сколько просите?

Торговались долго, пока остановились на двух десятках яиц, тибетейке пшена и десяти шариках верблюжьего курта. Избавившись от вещей и получив плату, мы почувствовали себя легкими, как птицы.

— Ох, устал я! — потягиваясь, сказал Аман. — Надо перекусить, а?

— Пошли. Что будем есть?

— Главное, чтоб дешево и сытно!

— Тогда просяную похлебку!

За один пакыр мы купили две кукурузные лепешки и пошли в ту сторону, где торгуют горячей пищей. Тут были на выбор шашлык из печенки (печенка, правда, чуточку припахивала, но кто обращает внимание на такие мелочи?), самса с картошкой, лапша, каша из рисовой сечки, затируха, похлебка из пшеницы, похлебка из проса... Целые ведра пищи ждали едоков; едоки, подходя, располагались на корточках, а повара, разливая половником, по-

давали им с легким поклоном похлебку. В иной чашке с лапшой плавало что-нибудь черненькое. «Это что такое — не муха?» — спросит привередливый едок. «Ну уж, муха! Откуда муха в лапше? Лук горелый...» — ответит повар и — раз-раз, пальцы в чашку, вытащит свой «горелый лук» — и в рот... «Пожалуйста, ешьте спокойно».

«Дешево тут, чисто», — подумали мы и тоже взяли по чашке лапши. Чашка стоила три копейки, но мы сторговали две чашки за пять копеек и принялись есть с удвоенным удовольствием. Хорошо! Лапша слегка прокисшая, но с хрустящей кукурузной лепешкой она кажется нам вкусной, как сливки. Аман, высоко подняв чашку, шумно хлебает, втягивая лапшу с таким шипящим звуком, будто рядом потревожили целый выводок змей, я тоже стараюсь, и мы оба то и дело левой рукой смахиваем пот со лба.

Покончив с обедом и закусив одним из арбузов, мы сладко потягиваемся. Яйца, пшено, курт, остатки кукурузной лепешки мы заворачиваем в мой поясной платок. Я беру узелок и дыню, Аман — арбуз. Куда дальше?

Оказалось, у Амана появилась новая мысль. Наши деньги завязаны у него в поясе — там набралась теперь солидная сумма, почти два рубля. И они не дают ему покоя. Правду говорят: жир полезен только барану. У Амана сразу появились замашки байского сынка.

— Идем-ка сходим на скотный базар, — сказал он мне.

— Это еще зачем?

— А я на свою долю куплю барашка и отведу его в город.

— Ты что, спятил? — сказал я. — И самому-то нечего жрать, где уж тебе прокормить барана? Или твой отец только и ждет, чтоб ты ему барана в дом привел?

Но мои слова отскочили от него, как горох от бубна, и он поволок меня на скотный базар. Дыню и арбуз мы оставили у ворот, у сборщика, а узелок взяли с собой, мы его никому не доверяли. Если базар напоминал прихожую Страшного суда, то здесь, на скотном, этот самый Страшный суд и происходил. Не знаю уж, что думала на этот счет бедная скотина, наверно, она тоже полагала, что пришел последний день. С одной стороны отчаянно, без умолку блеяли бараны, связанные по десять одной веревкой, с другой — вопили козы с козлятами. Чуть подальше исходил мычаньем крупный рогатый скот — коровы, телята, телки, быки, волы. Еще дальше — конный базар. Барышники торгуют тут несчастными клячами, выдавая их

за аргамарков, для этого они сперва загоняют их в речку, нещадно стегая; речка течет неподалеку и зовется Загарык. Взад-вперед снуют тьма людей, это большей частью перекупщики; около привязанных животных стоят, переругиваясь, торгуясь или попросту громко разговаривая, продавцы и покупатели. В сторонке — владельцы крупных овечьих отар. Двое из них — ташкентские бай, остальные — казахи, они в кошмовых чекменях, в войлочных шляпах, трясут друг друга за руку, торгуются. Меж ними тоже снуют маклеры, они то и дело подзадоривают: «Покупайте, бай-ота, покупайте!», или: «Продавайте, бай-ота, продавайте, в самый раз!» Глаза у маклеров поблескивают, руки дрожат... Еще бы, тут пахнет поживой, речь идет о сделках на сотни рублей!

Человеческие голоса тонут в мычанье, ржанье, бляенье. Солнце в зените, жара невыносимая, в воздухе нерассеивающейся тучей стоит пыль, острые запахи пота, мочи, помета, шерсти. И посреди всего этого медленно идет водонос с бурдюком за плечами и двумя глиняными чашками в руках:

— Вода, холодная вода! — Это он угощает с богоугодной целью и раздает воду всем, кто хочет пить. Кто желает расплатиться за воду, бросает деньги в глиняную чашку, что в руках водоноса; кто не желает, может не платить, человек с бурдюком на него и не посмотрит.

Вот и еще напиток: двое босопогих мальчуганов, поменьше нас с Аманом, зазывают во весь голос: «Кому холодный айран!» В ведре с айраном плавают кусочки грязного льда. Где только они раздобыли лед?

Мы привыкли уже к сутолоке Битбазара, но этот нас ошеломил. Мы бродили, останавливаясь около торгующихся, рассматривая вместе с ними зубы верблюда, походку и стати лошади, выясняя цену на пегого быка. По-моему, Аман забыл про своего барана. Может, он бы еще о нем и вспомнил, не начнись скандал в восточной части базара. Шум скандала докатывался до нас медленно, как неповоротливый гром перед осенней грозой, и, наконец, докатился.

— Бей его! — завопил кто-то по-казахски.

— Карманщик!

— Вор на базаре!

Залились свистки. Двое полицейских, казах и узбек, побежали туда, переваливаясь на бегу, с саблей в одной руке, поддерживая другою синие суконные штаны. Мы

побежали вслед и сразу же их обогнали. И кого же мы увидели в центре толпы? Не верите? Аман свидетель: по середине стоял отлично известный нам обоим вор из соседней махалли Кугирмач по имени Султан. Но он был здесь в роли не вора, а пострадавшего! Да, да, он возвышался среди толпы, со слезами благородного возмущения на глазах, держа за шиворот какого-то безобидного на вид паренька, похожего на подмастерье.

— Мусульмане! — говорил плачущим голосом Султан и бил себя рукой в грудь. — Когда у меня украли деньги, это все время вертелся около... Я его подозреваю!

Парнишка, белый как полотно, весь дрожал.

— Господи боже, спаси меня от клеветы, господи боже, в какую беду попал... — бормотал он.

— Сколько у тебя денег было? — спросил у Султана подоспевший полицейский-казах.

— Восемь рублей и четыре таньги без одного мири. В кошельке из тика в цветную полоску. Там было еще мое серебряное кольцо с надписью «О,Али». Я бедный сапожник... Приехал купить тощенького барашка, чтоб откормить его к осени!

Тут взгляд Султана, бродивший по толпе, наткнулся на нас с Аманом:

— Вот эти ребята тоже очевидцы!

Аман, стоявший рядом, от неожиданности даже подавился слюной. Он тихонько ойкнул, попятился и исчез за спинами. Я не мог сдвинуться с места.

— А у тебя сколько было денег? — спросил полицейский паренька.

— У меня... тоже кошелек в цветную полоску... А денег... денег восемь рублей и две таньги без одного мири. Я тоже барана приехал покупать, ей-богу!

— Тут не нужны никакие свидетели, — сказал полицейский-узбек. — А ну, пошли оба к аксакалу, там разберемся. Та-алпа! Ра-азойдись!

Они ушли, но я, конечно, за ними не последовал. Я кинулся искать Амана, который исчез, от испуга забыв и про барана, и про меня, и про все на свете. Нашел я его только к вечеру, браня на все корки его трусость. Он еще не пришел в себя от страха.

— Чем кончилось? — спросил он у меня.

— Чем кончилось? Хорошо, что ты удрал, оказалось, ты сообщник карманника, полицейские тебя ищут.

— Нет, правда? Что ж нам теперь делать?

— Что делать, что делать! — передразнил я его. — Ты бы лучше думал, что делать, когда ни с того ни с сего удирать кинулся. Из-за тебя дыня и арбуз так и остались у сборщика!

Аман слегка успокоился.

— А где мы ночевать будем? — спросил он.

Мы побывали в нескольких чайханах. Все было занято торговцами, барышниками, коробейниками, даже присесть негде.

— Куда ж мы пойдем? — снова спросил Аман.

— Не бойся, что-нибудь придумаем... Постою, кажется... кажется, придумал. В прошлом году мой дядя тоже был здесь в базарный день, так он рассказывал, что они не устроились на ночлег в чайхане и нашли какую-то старушку... казашку, что ли... с таким еще смешным именем... А, вспомнил: Яхшикыз!¹ Это где-то недалеко от базара. Она живет в юрте и торгует бузой. Пошли, поищем?

Аман, у которого глаза все еще бегали, как у лисы, гонимой собакой, молча последовал за мной.

НОЧНАЯ КОМПАНИЯ

Юрту старушки Яхшикыз мы нашли без труда. Она стояла неподалеку, на левом берегу Загарыка. Вокруг юрты чисто подметено, рядом — обширная глиняная супа, застланная грязноватым ковриком. Возле самой юрты вделан в низкий очаг котел без крышки. Тут же стоит большая деревянная маслобойка, а поодаль, на двух рогатинах, воткнутых в землю, натянута веревка, и на ней в кружочках из прутьев висят три или четыре глиняные чашки, наверное, с молоком и сливками, да еще две тыквянки, должно быть, с простоквашей. Тут же прыгает, резвится теленок; старая цестрая дворняжка привязана к полузасохшей иве — она встретила нас равнодушным лаем, похожим на перханье. На лай вышла из юрты сама старушка Яхшикыз. Ей лет шестьдесят, поверх нечесаных седоватых волос накинут небольшой цветной платок, закрывающий лоб; старым шерстяным платком она подпоясана, на концах кос висят украшения — пять-шесть серебряных рублей и полтинников.

— Здравствуйте, бабушка!

¹ Я х ш и к ы з — значит «хорошая девушка».

Прежде чем ответить на приветствие, она буркнула собаке что-то нечленораздельное, вроде заклинания: «Штц абдрасгур». Собака замолчала. Старуха показала на супу.

— Пожалуйте, молодые люди, садитесь.

Я подмигнул, и Аман протянул старухе наш узелок.

— Гостинцы с базара,— сказал я.

— Не надо, зачем беспокоиться,— сказала она, но узелок взяла и унесла в юрту. Немного погодя она вышла: — Ну, молодые люди, будете пить бузу или мясо приготовить?

— Бабушка, пить не будем, и мясо готовить не надо, лучше поджарьте нам яичницу. У вас можно переночевать?

— У бога просторно, и на небе и на земле,— сказала старуха.— Лето. Где хотите, там и спите. Дадите одну таньгу за двоих.

— Ох, бабушка,— сказал я,— у нас всего-то на двоих полтаньги!

— Хитрые дети у сартов!.. Ну, ладно, переночуйте. Сегодня базарный день, гости придут, байские сыновья, веселье будет на славу...

Она развела огонь под котлом. Мы с Аманом сидели, советуясь, куда держать путь дальше. Скоро старуха принесла нам яичницу на глиняном блюде и две тонкие лепешки из пресного теста, испеченные в котле. Мы принялись за еду. Яичница показалась нам вкусной, и Аман только начал вылизывать блюдо кусочком лепешки, когда к юрте, оглашая окрестность громовым смехом и криками, подошли пять человек. Впереди шагал долговязый парень, неся на левом плече полтуши барана, а в правой руке узел — видно, с лепешками, луком, морковью. За ним следовал другой, похожий на воспитанника медресе, с козлиной бородкой, в грязной чалме. Он ступал осторожно, с почтительно-вежливым выражением па тощем лице. На нем было два легких халата — один снизу, подпоясанный платком, другой надетый поверх. А следом... Следом шел сам Султан-карманник! Штанины подвернуты, поясной платок скручен, как аркан, ворот тикового халата распахнут, край грязной тюбетейки вывернут... а на лице такое наглое, победное выражение, что от него тут же начинает свербеть в животе. Увидев его, я сразу же позабыл про остальных двух; кажется, они были похожи на Султана. Только у одного — это я потом разглядел — бельмо на гла-

зу, а у второго — правое плечо выше левого, так что левая рука кажется длинней...

Когда Аман рассмотрел, кто к нам пожаловал, у него, видно, кусок застрял в горле. Он взглянул на меня вытаращенными глазами, и я сделал знак, что надо освободить супу. Мы отошли к самому берегу Загарыка, под иву, где была привязана дворняжка, но дряхлая собачонка не обращала на окружающий мир никакого внимания.

— Здравствуй, мать! — громко сказал Султан-карманник. — На эту ночь мы твои гости! Слыхала?

Тут он огляделся и сразу заметил нас:

— А-а, жулики! И вы здесь? Вы что тут делаете? А ну-ка, идите сюда!

Нам ничего не оставалось, кроме как вернуться на супу, где уже расселся Султан со своими приятелями. Старуха принесла лепешки, завернутые в грязную скатерть, следом вынесла большую деревянную чашку и спросила Султана:

— Бузу из риса будете пить или из проса?

— Давай ту, что получше!

Старуха ушла в юрту.

— Что это вы делали на скотном базаре? — спросил нас Султан.

Аман смотрел в землю, а я сказал:

— Просто так, Султан-ака... прогуливались.

— Вон как! Самое место для прогулок. — Он прищурился: — А то, может, взять вас к себе в ученики, а? Вы, пожалуй, сойдете! Правда, вот этот, — он показал подбородком на Амана, — вот этот сгодится только, чтоб залезать в дома через крышу. Слишком неуклюж для карманника!

Он засмеялся. Я поспешил воспользоваться этим, чтоб сменить тему:

— Султан-ака, а чем кончился скандал?

— Хо-хо, ты и не знаешь? Веселая история была, а? — Он посмотрел на приятелей, они закивали. — Нынче утром сидим мы в чайхане, я и похвалился, что сумею взять деньги, будучи невиноватым, ну, значит, взять их с согласия хозяина, понял, малыш? Они со мной поспорили — кто проиграет, поит всю компанию бузой. Ну вот, я и пошел на скотный базар. Вижу, идет этот растяпа. Я у него стащил кошелек, сосчитал деньги, добавил от себя две таньги да еще вложил свое серебряное кольцо и сунул ему кошелек обратно в карман. А потом и разыграл ту штуку, которую ты видел! Привели нас к аксакалу, пересчитали деньги,

вышло, конечно, по-моему, ну, мне и отдали кошелек, только взяли полторы таньги магарыча! Ловко, а?

— Ловко...— еле выдавил я из себя.— А что тот... растяпа?

— Ха-ха, посадили его, что ж еще! Ну, не бойся, он недолго сидел, я над ним сжалился, дал полицейскому рубль — взятку и освободил этого дурачка,— сказал, что у меня нет к нему претензий. Ты бы видел, как он обрадовался! Ха-ха-ха... обнимал меня... целовал... хе-хе...

Вся компания захохотала.

— Вы поступили прямо как джигит,— сказал я.

— Еще бы! — Султан глянул на меня краем глаза и усмехнулся.

Старуха уже поставила варить мясо. Голубоватый дымок из очага поднимался в воздух, расстилаясь над нами, как невесомое одеяло. Солнце закатилось, на западе доглевали последние облака, рядом негромко шумела речка. Как было бы хорошо, если б не эта компания! Они, правда, занялись уже собой, позабыв про нас. Султан полулежал на боку, опершись на локоть, долговязый стоял у супы, а похожий на муллу сидел, опустившись на колени, сложив руки на груди, и с видом крайней учтивости слушал, как Султан беседует с долговязым. Двое остальных сидели друг против друга, поджав под себя ноги, и забавлялись, подкидывая спичечную коробку.

Тут старуха принесла и поставила два тыквенных сосуда с бузой и несколько раскрашенных кленовых чашек. Бузу вообще-то пьют подогретой, но та, что принесла старуха, целый день, видно, простояла на солнце, так что подогреть ее было ни к чему. Кроме того, в разливе бузы есть свои правила: разливая, ее непременно процеживают. Долговязый тут же развязал свой поясной платок, встряхнул его, туго натянул на чашку и стал наливать. Потом он попробовал процеженное питье на вкус и протянул чашу Султану.

— Наливай всем,— сказал Султан.

Долговязый налил вторую и третью чаши остальным парням и вопросительно взглянул на Султана.

— Ребят пока оставь, дай домле!

Домла стал деликатно отказываться, отгораживаясь ладонью:

— Что вы, что вы, пейте сами, мы не пьем. Слово аллаха гласит...

— А ну, оставь в покое слова аллаха,— с угрозой в го-

досе сказал Султан. — С каких это пор ты стал непьющим, а? Раньше, небось, напивался допьяна тем, что у нас в чашках оставалось!

— Нет, шем, но... то есть, то есть... мы зарок дали.

— Заро-ок? А чего стоит твой зарок? Вспомни, кто ты есть! Не вмешайся я прошлой осенью на хлебном базаре у Салара, толпа тебя так бы и прикончила! Нет, подумай, кто ты есть? И в наводчики-то не годишься! Не зря говорят — вор состарится, суфием станет, развратница постареет — начнет злых духов заклинать. Ишь ты, зарок он дал! Может, ты теперь из-за этого ишаном заделался и разъезжаешь в поисках мюридов? А ну, выпей!

Домла взял чашку заметно дрожавшей рукой.

— Согреешь горло — споешь нам альёр. Ну, давай, наследник пророка!

Домла зажмурился и медленно выпедил бузу.

Нас к выпивке особенно не принуждали.

Тыквенные сосуды с бузой подавались один за другим. Подала старуха и шурпу, еще недоваренную. Пьянка разгоралась, домла давно уже размотал свою чалму и подпоясался ею. Он не только не отказывался больше от бузы, но и сам напрашивался на выпивку, пьяным голосом распевая по требованию остальной компании какие-то нелепые песни:

Конь мой скакал у подножья горы,
долго скакал, пока околел.
Много видал храбрецов до поры —
скачи, мой скакун, я пою альёр!
Продал за деньги родимую мать,
где б иначе деньги взять, например?
Зайца без задних пустил скакать.
Скачи, мой скакун, я пою альёр!

Девушки в платьях ждут гостей.
А в платьях тесемок нет, например...
Пара голубок у них без костей...
Эй, альерей, я пою альёр,
скачи, мой скакун, я пою альёр!

Компания между тем пьянела все больше, все говорили одновременно, не слушая других. Я тихонько приподнялся, слез с супы и поманил Амава. Этого никто и не заметил. Мы выпросили у старушки Яхшикыз небольшой палас и подушку и устроились за юртой на ночлег. Но заснуть мы не могли еще долго, хотя устали донельзя. Шум пьянки на супе все разрастался, пришла еще какая-то компания и присоединилась к прежней. Они то принимались

петь хором, то перекрикивали друг друга и смеялись так, что это напоминало давешний скотный базар. Потом, как и днем на базаре, начался скандал. Кого-то били, кто-то зывал о помощи, молился, плакал:

— Клянусь богом, это все, что есть, пусть великий имам меня накажет, если у меня есть еще деньги!

— Поищи-ка в поясе штанов, подлюга!

Грабили домлу. Мы лежали за юртой, дрожа от страха, а привыкшая ко всему старуха, как ни в чем не бывало, ходила среди гостей, убирала посуду, подавала бузу.

Не знаю, когда мы заснули, казалось, этой ночи не будет конца. Проснулся я от толчка в бок. Было еще темно, но край неба уже серел. Надо мной стоял домла. На голове у него снова была чалма, наспех намотанная и еще более грязная, чем вчера, на щеке разлился мощный сияк, один глаз багрово заплыл.

— Вставай-ка, сынок, вставай,— бормотал он,— надо нам бежать, пока они все спят... Видишь, как меня отделали, да и обобрали дочиста, даже на насвай не оставили, как бы и вас такая беда не постигла. Вставай, сынок, скорее...— Он поморщился.— Ох, и трещит голова — как спелый арбуз...

Я разбудил Амана, мы вскочили, ополоснули лица в Загарыке, утерлись полами халатов.

— Куда же вы хотите идти, таксыр? — спросил я домлу шепотом.

— Э, велика обитель всевышнего, мест на земле много, куда ни повернешься — везде кыбла, в любую сторону помолиться можно... Пожалуй... пожалуй, побежим наверх, к холму Кингирак-тепа.

Мы уже пошли прочь от юрты, когда перед нами выросла старушка Яхшикыз.

— А ну, молодцы, куда удираете! Отдавайте-ка деньги! Аман вытащил таньгу:

— Вот, матушка, полтаньги за ночлег, остальное за лепешки и масло для яичницы... Верно?

Она посмотрела на домлу.

— Верно, верно...— сказала она.— Будете здесь — заходите. Счастливого пути!

И мы побежали.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ДОМЛА И ПОКОЙНИК

Мы шли, должно быть, уже часа три, когда добрались до Тепа-Гузара. Было позднее утро. Старик бакалейщик как раз открывал свою лавочку, и мы сделали у него покупки на дорогу: фунт соли, два фунта сушеного урюка, шесть лепешек из кукурузной муки, нитки, иголку да еще две перезрелые дыни. Все это обошлось нам в семь пакиров. Четыре заплатили мы,



остальное — домла. Покосившись на нас, он распорол кромку своего халата и достал деньги: кое-что, значит, у него все же оставалось.

Мы отправились дальше и скоро оказались в зеленой долине. Справа от дороги, у подножия холма, тек прозрачный ручеек. Мы расположились под старым тополем у самой воды, достали кукурузную лепешку, разрезали дыню и стали завтракать. Домла ел дыню и время от времени взглядывал на нас с Аманом.

— Смотрите вы на мой недостойный вид, дети мои, — сказал он наконец, — и знать не знаете, какого человека послала вам судьба. — Он вздохнул и покачал головой. — Ведь не знаете, а?

Аман промолчал, так как рот у него был набит дыней, а я неопределенно хмыкнул, что можно было понять примерно так: знать, дескать, не знаем, но кое-что чувствуем.

— Нет, не знаете,— сказал домла и снова вздохнул, на этот раз печальнее прежнего. Потом он, как бы нехотя, проглотил еще кусок дыни с лепешкой и продолжал: — А ведь я происхожу из старинного и знаменитого рода... Да, да, из самой священной Бухары!.. Правда, мои предки переселились в Ташкент, и весь Ташкент считал себя тогда счастливым! Да, дети мои, деды наши и прадеды были великими ишанами! Что там деды... Мой покойный отец был таким великим человеком, что стоило ему сказать «куф» — и речка начинала течь назад, а если он говорил «суф» — слепой прозревал! Да... Мало было таких, что в него не верили. Несчастливая моя судьба, и зачем он умер так рано?

Тут он снова тяжело вздохнул, потер краем поясного платка угол глаза и с прежним безразличным видом проглотил еще один довольно большой кусок дыни.

— А по материнской линии? Разве по материнской линии мы не были близки к богу? Да моя мать и сейчас славится своей религиозностью! Чего только она не умеет! Девушек привораживать, гадать — и с бубном, и с новой глиняной посудой, которую ставят в тандыр! Нет на свете таких могучих заклинаний, которых бы она не знала! — Тут он проникновенно посмотрел на нас с Аманом.— Дети мои, пусть это послужит вам уроком: я не хотел смолоду учиться у старших, слишком поздно спохватился, и вот к чему это привело! Какие-то негодяи смеют бить меня, потомка великих ишанов!

Он снова полез платком в угол глаза и некоторое время ковырялся там, как бы пытаясь остановить поток слез. Это ему здорово удалось, потому что ни одна слезинка так и не показалась на поверхности. Довольный результатом, он снова посмотрел на нас и сказал торжественно:

— Злая судьба навлекла на меня тяжкие испытания, но теперь я встал на истинный путь, и аллах возвратил мне мудрость моих предков. Я лечу людей заклинаниями и молитвами, а также молитвенной бумагой. Вы знаете, что это такое?

Я-то знал, но Аман почтительно признался, что не знает: слова домлы явно произвели на него впечатление.

— Я пишу молитву на клочке бумаги, а потом ее растирают в воде или чае и дают проглотить больному... Ну вот, кроме того, я знаю немало приворотных и отворотных средств. Поистине, аллах не оставляет своей милостью потомка великих ишанов!

— Вы, верно, учились в медресе, домла? — спросил я.

— Зачем медресе сыну ишанов? Я учился дома. Разве в медресе учат писать амулеты с заклинаниями? А я могу писать не только молитвы, но и великие имена! Вы еще увидите: жители многих кишлаков — мои мюриды. Одни называют меня «ишан-пачча», другие — «коры-ака», третьи — «мулла-ака»... Да, вы ведь еще не знаете, как меня зовут... — Он вобрал воздух, слегка выпучил глаза и выпалил единым духом: — Мулламухаммад Шариф бинни Мулламухаммад Латиф ибни Гавсил агзам!

Он перевел дух с явным удовлетворением, и я увидел, что Аман глядит на него во все глаза, разинув рот. По правде говоря, имя домлы и меня не оставило безучастным, я еще ни разу не слышал такого длинного, но никак не мог забыть вчерашних сцен на супе. Уж слишком подлизывался он к Султану-карманнику.

— Ну вот, — продолжал домла, — теперь вы видите, что сам аллах поставил меня на вашем пути. Если вы будете действовать со мной сообща и называть меня на людях «хазрат», а я вас — своими учениками, то к осени у нас одно станет десятью, наживем добра и за пазуху и в голенища, всего будет вдоволь, ешь — не хочу, да еще и в город вернемся с почестями. Ну что, идет?.. Тогда помните: пока никого нет, можете звать меня «мулла-ака» или «Шарифджан-ака», как хотите. Но при народе — только «хазрат»! Что раздобудем — поделим на четыре части: две мне, по одной вам. А кто отступит от своих обещаний, пусть никогда не сможет повернуться в сторону кыблы! Аминь!

Мы поклялись, повернувшись лицом к кыбле. Потом домла сказал, что пора молиться. Мы стояли на коленях, раскачиваясь, как вдруг увидели столб пыли на дороге. Он приближался, и наконец из него вынырнул силуэт всадника. Мы уже издали увидели, что всадник одет, как дехканин. Полы его халата развевались на ветру, тюрбетейка съехала на затылок. Лошадь была вся в мыле. Всадник еле-еле остановил ее, подскакав к нам.

— Салам алейкум, мулла-ака, куда путь держите?

Мы вежливо ответили на его приветствие, не слишком распространяясь насчет цели своих странствий. Его, впрочем, интересовало совсем другое.

— А не найдется среди вас, — сказал он, — верующий, который знает предписания шариата и умеет совершить омовение покойника?

Домла посмотрел на нас, мы отвесили ему поклон. Потому он важно откашлялся и произнес торжественным тоном:

— Найдется. Чем можем служить? Мы сами — из Ташкента, из рода пшанов, мы — всезнающий мулла, получили образование в медресе. Сейчас каникулы, и мы ходим по кишлакам, подышать свежим воздухом. А это — два наших ученика...

Всадник так и заерзал в седле от радости и еле дождался, пока домла кончит свою торжественную речь. Ей-богу, он так обрадовался, как будто нашел потайной лаз в стене райского сада.

— Вай-буй, таксыры, вай-буй! Сам бог вас послал! Идите скорее!.. — Он стал поворачивать коня и только тут объяснил, в чем дело: — Недалеко отсюда — наше кочевье, мы ведь скотоводы, таксыр, пастухи. Ну вот, один из наших парней приболел и помер, а совершить омовение да заупокойную молитву над ним прочесть — некому. Мы уж и не знали, что делать... Вай-буй, таксыр, сам бог вас послал... Ну, пошли!

Аман собрал дастархан, всадник слез с коня и усадил в седло домлу. Мы трое пошли пешком. Путь оказался долгим, раза два мы отдыхали. Когда дорога поднялась на холм, мы, наконец, увидели вдалеке кочевье: глинобитную курганчу и несколько юрт около нее.

— Вот оно, кочевье наше! — сказал проводник. — Видите юрты? Скоро доберемся!

Добрались мы к полудню. Это маленькое кочевое племя вообще-то жило далеко отсюда, в глубине степи, там и сейчас находились их семьи и скот. Один из пастухов заболел, а когда стал совсем плох, человек двадцать молодых парней и несколько стариков понесли его сюда — в степи не было никого, кто мог бы совершить над ним обряды. По дороге он умер.

Когда мы подъехали, все поднялись с шумом и приветствовали нас, прижав руки к груди в знак почтения. Домла спросил важно: «Где покойник?» Покойник находился в курганче. Курганча внутри напоминала скотный двор какого-нибудь бая. Крепкие, с редкими отверстиями стены, двустворчатые ворота. Посреди двора чернел небольшой хауз, питаемый, видно, подземными водами; берега его заросли лишайником, да и вода кое-где зацвела. Хауз окружало несколько молодых тополей. Они выросли от пней —

старые тополя давно свалились. Древняя была курганча и жутковатая, в самый раз для мертвеца.

Как вы можете догадаться, ни я, ни Аман покойника ни разу в жизни не обмывали. Я, хоть и не был трусом, мертвецов очень боялся, даже на дохлую кошку старался не смотреть, даром что ребята у нас в махалле таскали их за хвост сколько хочешь. Но домла смело пошел вперед с таким видом, как будто с рождения ничем, кроме омовения трупов, не занимался. На каждом шагу он что-то шептал, то и дело проводил руками по лицу, как бы повторяя короткую молитву, поворачивался в разные стороны, произнося свой «куф-суф». Я-то шел следом за ним и слышал, что вместо заклинаний он бормочет самые обыкновенные слова: «Ох, и жарко... пашлычку бы сейчас, дети мои, и плова... куф-суф! Ой, аллах, пошли денег побольше... куф-суф!» Но издали выглядело это так, словно он в самом деле одним взмахом руки способен справиться с сотней джиннов.

Потом домла подозвал Амана и велел ему попросить материю для савана. Аман попросил принести аршинов шесть буза. Домла снова подозвал Амана, и тот с его слов объявил собравшимся, чтобы все вышли из курганчи, не подходили к ней и, не дай бог, не подглядывали, пока не кончится омовение. Хазрат, мол, сказал, что если кто станет подглядывать, на него ляжет страшный грех и впоследствии он может сам остаться без погребения. Бывает, случаются и другие большие несчастья.

Все вышли, толкаясь. Мы заперли ворота, подтащили валяющуюся во дворе большую каменную глыбу и подперли ненадежные доски. Домла посмотрел на нас, мы на него.

— Что теперь будем делать? — спросил домла. — Приходилось вам обмывать покойника?

— Нет! — сказали мы разом.

— Вот дела! И мне не приходилось. Но я уже договорился с ними за десять целковых! Не совершим омовения — пропали деньги... — Он помолчал секунду и добавил на всякий случай: — Пять рублей возьму я, а вы — по два с полтиной.

— Ладно, — сказал я. — Только омовение будете совершать сами.

Домла покачал головой и боязливо пошел в каморку, где лежал труп. Мы нерешительно двинулись за ним. Покойник лежал навзничь, лицо и живот закрыты старым халатом, ноги обнажены. Домла шагнул вперед — и тут

же подался назад так, что мы с Аманом на него наткнулись. Он едва не выругался, но прикусил язык. Я заметил это, и мне стало еще страшнее: мне подумалось, что в каморке стоит невидимый дух покойника и следит за нами. Сердце у меня в груди стучало часто и громко, как колотушка ночного сторожа.

Аман на цыпочках прошел вперед и заслонил собою труп, но вдруг попятился, издал короткий крик, тотчас оборвавшийся, как будто его схватили за горло, и повалился на пол. Домла отпрянул и прижался у входа, а я в страхе, не в силах двинуться с места, посмотрел на покойника — и заорал не своим голосом. Покойник — ожил! Да, да, ноги его были неподвижны, но он пытался поднять голову, шевеля халатом, покрывавшим лицо! Вот чего испугался Аман — он, видно, потерял сознание от страха...

У меня чуть сердце не разорвалось... Я повернулся, чтобы бежать, но споткнулся о руку Амана, растянувшегося на полу крошечной каморки, и полетел кубарем. Падая, я задел домлу, а так как и он едва держался на ногах, то свалился тоже. Мы барахтались, пытаюсь встать, наконец я кое-как поднялся, протиснулся мимо него в дверь и выскочил во двор. Домла выполз следом на четвереньках. Я обернулся на каморку, ужас охватил меня, и я заорал хриплым отчаянным голосом:

— Люди-и! Эй, люди-и-и!

Услышав мой крик, родичи покойного стали в панике ломиться в ворота, но те, подпертые тяжелой глыбой, не поддавались, а я от страха не соображал, что нужно подойти и отвалить глыбу. Да у меня, наверное, и сил бы не хватило. Домла же подполз к хаузу и без конца совершал омовение вонючей водой. Он был бел, как снег, шептал какие-то молитвы и дул на себя что есть мочи.

Несколько человек перелезли, наконец, через забор курганчи и открыли другим ворота. Едва переводя дух, я рассказал им о случившемся. У них от испуга глаза на лоб полезли. Но они куда больше болели душой за покойника, чем мы, а потому, преодолевая страх, направились к каморке. Я едва заставил себя пойти следом. И вот, когда мы столпились было у входа, навстречу нам кинулось что-то, волоча за собой халат. Все вскрикнули — это был дикий степной кот! Он забрался в каморку и пристроился у головы трупа, а когда мы, войдя, испугали его, попробовал выбраться из-под халата — тут-то нам и показалось, что голова поднимается...

Кот в мгновение ока взлетел на стену и исчез, зацепившийся халат повис на стене, а родичи бедного мертвеца посмотрели друг на друга, на нас — и громко расхохотались. Если судить по домле, вид у нас и впрямь был такой, что, несмотря на траур, удержаться от смеха было трудно. Оглядываясь на нас и все еще посмеиваясь, они снова вышли, а мы с домлой опять заперли ворота и привалили глыбу. Надо было посмотреть, что с Аманом. Он еще не пришел в себя, мы вытащили его из каморки, посадили у хауза и стали брызгать водой в лицо. Тут он очнулся. Домла дул на него, приговаривая: «Вот сейчас... сейчас как рукой снимет... погоди-ка... сейчас». У Амана был такой вид, словно он сам воскрес из мертвых: на иссиня-бледном лице ворочались с бессмысленным выражением глаза, а руки повисли, как сломанные ветки.

— Вставай, вставай! — сказал я. — Очнись! Что ты сидишь, как обмаравшийся младенец? Это же был просто кот! Покойник лежит себе там, мертвый, как бревно!

Аман обрел наконец дар речи.

— Нет, с меня хватит, устраивайтесь сами, — сказал он слабым голосом. Я посмотрел на домлу.

— По шариату требуется совершать омовение втроем, — сказал я. — Ты что, не знаешь?

Кое-как мы его уговорили и помогли встать. Потом, подталкивая один другого, подошли снова к двери каморки и стали по очереди заглядывать внутрь. Наконец я посмотрел на домлу и Амана и сказал:

— Давайте-ка приступим к делу. Надо начинать, а то как бы люди не заждались и не полезли сюда сами... — И так как оба они молчали, я добавил: — Главным гассалом будет хазрат. Мы вдвоем станем лить воду. Если хазрат хорошенько потрет да помоеет тело, это зачтется ему на Страшном суде, а нам и денег не надо, хватит куска материи, которую раздают на похоронах. Так, что ли?

Аман кивнул головой в знак согласия, но домла воспротивился.

— Э, нет, — сказал он, — молодым труд, старикам почет. Это вы будете мыть тело, а я полью воду. Да еще и помолюсь за вас.

— Помолиться мы и сами можем, — сказал я. — А свою молитву вы для себя сберегите. Лучше соглашайтесь, соглашайтесь добром, а то ведь я позову родичей покойника да кое-что им расскажу...

— Точно, — сказал Аман.

Домла посмотрел на нас с бессильной злобой.

— Вот как вы заговорили? Разве сообщники так поступают?.. Ну, ладно, идемте, я беру труп за ноги, вы за голову.

— Ну, нет, таксыр, это мы возьмем за ноги, а вы за голову!

Спорили мы, конечно, шепотом, чтобы нас не услышали снаружи. Если за воротами нас кто и подслушивал, ему, верно, показалось, что мы страстно заклинаем злых духов. Но никто не подслушивал: люди были заняты плетением носилок для покойника.

Мы препирались бы еще долго, если б Аман вдруг не сказал:

— Стойте! Я кое-что придумал. Хорошо бы пайти веревку сажени в две.

— Зачем тебе веревка?

— Говорю же, я кое-что придумал!.. Давай ищи.

Мы обшарили сарай, и в одном из них нашлась веревка почти в три сажени длиной, привязанная к старой кормушке. Мы отвязали ее и пошли к каморке снова. Домла расхаживал около, потирая руки и что-то бормоча. Аман, как видно, был в таком восторге от собственной выдумки, что даже осмелел. Уверенно войдя в каморку, он подозвал домлу и попросил приподнять ноги трупа. Домла поупрямился немного, потом повернулся к покойнику спиной, передернулся весь и взял его ступни, скривив такую рожу, будто проглотил десяток навозных жуков. Аман быстро подsunул веревку, сделал петлю и затянул ее выше щиколоток мертвеца. По команде Амана мы втроем взялись за другой конец веревки и поволокли мертвеца к хаузу.

— Здорово придумал? — сказал Аман у хауза. — Теперь мы его спустим в воду головой вниз, сполоснем раза три, и все! Будет чистый!

— Даст бог! — сказал домла. — И в самом деле будет чистый!

Взявшись за веревку, мы без лишних слов спустили покойника в воду и стали полоскать его, волоча из одного конца хауза в другой. Мы так увлеклись этим занятием, что совершили процедуру не три раза, а раз десять, не меньше. Наконец, мы остановились, в полной уверенности, что любой бывалый гассал не выполнил бы свою задачу лучше. Надо было вытащить мертвеца обратно, и мы начали потихоньку подтягивать веревку, но неожиданно для нас она натянулась — мертвец больше не двигался, слов-

но вдруг прирос ко дну. Мы переглянулись, и Аман снова побледнел. Домла продолжал дергать веревку, приговаривая: «Помоги, господи, помоги, господи...» Я машинально посмотрел на ворота.

— Может, позвать на помощь? — сказал я и сообразил, какую спорил глупость.

— Ты что, не в себе, дурак? — сказал Аман. — Тебе такую помощь окажут! Ту силу, что собирался потратить на крик, приложи лучше к веревке!

Мы снова стали тянуть, опершись ногами о пень тополя, но тут постучали в ворота. Домла бросил веревку.

— Подождите немного! — крикнул он. — Мы еще и до пояса не обмыли! Сами позовем!

Он снова взялся за веревку, мы потянули, но веревка, тронутая молью и подгнившая, с треском оборвалась, и мы, все трое, грохнулись оземь. Между тем мешкать было нельзя, время клонилось к вечеру.

— Таксыр, — сказал я, — раздевайтесь-ка, придется лезть в хауз! Не получать же вам пятерочку даром?

Домла весь позеленел.

— Ах ты, щенок! — сказал он. — Чтоб тебя так же обмывали, да поскорей! И не подумаю раздеваться. Что скажешь, а?

— Скажу, только не вам — пойду к воротам и...

Не дослушав, домла выругался и стал раздеваться. Расхрабренный Аман тоже полез за ним в воду, и они вдвоем стали шарить на дне. Наконец ноги мертвеца показались над водой — голова его застряла в развилке корня тополя. Аман привязал конец нашей веревки к обрывку, оставшемуся на ноге покойника, они с домлой вылезли, и мы принялись тащить снова. Наконец, мы почувствовали, что мертвец подается. Раздался хруст, еще какой-то странный жуткий звук, и покойник выскочил на поверхность. Мы опять повалились на землю, а когда вскочили и глянули, то увидели, что бедный мертвец плавает... без головы!

Мы так и присели от ужаса. Что теперь делать? И тут домла неожиданно проявил настоящий героизм. Он снова полез в хауз, стал шарить руками в воде, среди корней, — и, весь сморщившись, вытащил оторванную голову. Мы с Аманом отвернулись, нас чуть не стошнило, но домла полез в наши пожитки, достал купленные у бакалейщика нитки и иглу, велел нам бытащить тело из хауза — и стал пришивать мертвецу голову!

Он оказался настоящим мастером своего дела: скрутив пилки вшестеро, он шил так быстро и так ловко заделывал шов, что спустя некоторое время голова уже сидела на месте... как пришитая. Теперь я готов был простить ему все. Он приказал нам разложить буз и тут же сметал саван. Тело покойника было прикрыто, но кусок материи оказался мал, ноги остались обнаженными, и на них явственно виднелись ссадины от нашей веревки. Тогда мы быстренько освободили свой дорожный мешок, высыпав его содержимое в поясные платки, мешок надели на ноги покойнику и пришили к савану.

Аман натянул рубаху и штаны, домла тоже оделся, скрутил заново чалму, поправил халат и встал возле покойника, словно на пятничный намаз. Потом он кивнул мне, и я отодвинул глыбу. Родичи бедного мученика уже приготовились к оплакиванию. За воротами стояли только что сплетенные из прутьев и закрепленные на длинных брусьях носилки. Брусья походили на оглобли арбы, в них были впряжены две лошади.

Участники похорон хлынули во двор, окружили покойника и принялись оплакивать беднягу по всем правилам, с приличествующими случаю подвываниями. Некоторые горестно поглаживали саван, а кто-то провел рукой там, где была голова — и вдруг удивленно вскрикнул. Покойник лежал навзничь, но где полагалось быть лицу, оказался затылок!

Я так и замер на месте: домла второпях пришел оторванную голову задом наперед!

Вся орава родичей тотчас перестала выть и столпилась около домлы, подтолкнув к нему и нас.

— Эй, почему у него лицо перевернуто? — спросил кто-то из них.

Домла стоял бледный, но сохранил невозмутимость.

— Такова воля аллаха, — сказал он и с видом печальной покорности судьбе развел руками. — Видно, при жизни числилось за ним немало грехов, вот аллах и перевернул ему голову!

Как ни дрожал я от страха, но все же оценил самообладание домлы и восхитился его находчивостью. Я даже решил было, что беду пронесло, потому что на многих лицах возмущение сменилось растерянностью. Не тут-то было! Эти почерневшие от солнца скотоводы оказались не такими уж легковверными простачками...

— А ну-ка, распорем саван! — крикнул один из них, и вся толпа качнулась обратно к покойнику, не забыв придержать домлу за рукава халата.

Едва распоролл буз, шов на шее, конечно, сразу обнаружился. И тут они завопили все разом с такой силой, что, казалось, стены старой курганчи тут же повалятся. Вся толпа кинулась к домле, нас с Аманом они на мгновение выпустили из виду, мы, забыв со страху все на свете, скользнули у них меж рук и ног и, как лягушки из тины, выпрыгнули прочь со двора. Несколько человек погналось за нами. Но эти пастухи большую часть своей жизни провели в седле и ловкостью в беге не отличались. Тут им было далеко до нас, а скоро стало и впрямь далеко. Но они могли вспомнить о лошадях, тогда бы нам не поздоровилось. В таких случаях лучше всего бежать врассыпную — эту мудрость махаллинских мальчишек я давно усвоил. «Беги налево!» — крикнул я Аману, а сам побежал направо. Преследователи замешкались и стали отставать. Я на бегу подумал о домле — что там с ним стало? Останется жив — найдется, нет — упокой, аллах, его душу...

ПРИКЛЮЧЕНИЯ БЕГЛЕЦА

Куда побежал Аман, я понятия не имел, я же помчался к видневшимся вдали камышовым зарослям. Чутье меня не подвело, в заросли уходила узкая тропинка. Она привела меня к дренажной канаве. Я прыгнул в канаву, отполз в сторону и затаился. До меня донесся тяжелый топот и полузадохшиеся от бега голоса преследователей. Они пробежали немного в камышах, но решили, видно, что занятие это бесполезное, и повернули обратно...

Топот и голоса стихли вдали, а я из осторожности еще некоторое время лежал неподвижно. Начинало между тем темнеть, и провести ночь в незнакомом месте, где бог знает на кого можно наткнуться, мне вовсе не улыбалось. Я выбрался на тропинку. Она крутилась в камышах, в одном месте под ногой у меня хлюпнуло, и я испугался, что попаду еще, чего доброго, в болото. Но на тропе снова стало сухо, я ощутил, что она едва заметно пошла вверх — и тут камыши неожиданно кончились.

Невдалеке росло несколько деревьев. Я пошел к ним и очутился на дороге. Что это была за дорога, куда она

вела, я, конечно, не знал, только твердо помнил, что мы здесь не проходили. Осмотревшись, я встал спиной к камышам — и пошел в ту сторону, куда оказался лицом. Первое время мне то и дело чудился конский топот, я боязливо оглядывался, но потом решил, что дорога эта вовсе не проходит мимо кочевья. Эта мысль меня успокоила. Я шагал, шагал в темноте, пыль тихонько вздыхала у меня под ногами да звезды светили наверху. Я думал о том, куда мог побежать Аман, не поймали ли его пастухи; судьбу домлы мне страшно было и вообразить.

Не знаю уж, сколько я прошагал, когда впереди показались огоньки. Поначалу я было принял их за звезды где-то над самым горизонтом, но вскоре понял, что ошибка: дорога привела к селению.

Пройдя немного по улице, я увидел освещенный дом, из него доносилось ровное гудение голосов. Это была мечеть, там совершали последнюю вечернюю молитву. Я поспешил туда, тихонько вошел и тоже стал на колени позади молящихся, но тут намаз как раз кончился. Все стали выходить, я остался, прислонясь к стене. Имам и суфи подозрительно оглядели меня (потом я узнал, что в этой мечети украли накануне кошму и молитвенные коврики), и суфи спросил:

— Что, сынок, так долго засиделся? Намаз кончился.

— Атаджан, — сказал я жалобно, — я приезжий, сбился немного с пути, если разрешите, я бы остался в мечети до утра...

Вмешался имам:

— Откуда же ты, сынок?

— Таксыр, я ташкентский!

— О-о, что ж ты делаешь в этих краях? Как ты здесь очутился?

Я вспомнил слова домлы:

— Я учусь в медресе, таксыр, но сейчас каникулы, вот я и отправился по кишлакам в поисках заработка... — Я вздохнул и подумал про себя: «Не пришлось бы и здесь напиматься в гассалы!»

— А в каком медресе ты учился? Кто твой наставник?

Я понял, что влип. Чего в Ташкенте много — так это медресе, кого там хватает, так это мударрисов, но я-то не знал ни одного, а выдумывать было поздно.

— Господин, в том самом большом медресе, которое... А домла наш тот самый... тот самый знаменитый домла...

Имам засмеялся.

— Ну, ну, ученик медресе, я вижу, где ты обучался. Не в медресе, а в школе вражья. Ладно, пойдешь со мной. А как твой желудок? Не плачет?

Я смущенно опустил глаза на молитвенный коврик.

— Понятно... Ну что ж, пошли. Окажи нам небольшую услугу — заработаешь на пропитание.

Я пошел за имамом, гадая, что за услуга от меня потребуется. Впрочем, я больше думал о том, даст ли он мне сперва поесть. Имам вынес два початка кукурузы, испеченных в золе, и немного супа. Я с жадностью ими занялся, а он ушел в ичкари. Немного погодя он вышел. В руках у него был топор, огромный нож и крученая веревка. Увидев это, я прямо задрожал и приготовился бежать, как олень при виде собак.

Имам усмехнулся.

— Ты чего, парень? Не бойся, не зарежу! У меня, видишь ли, бычок объелся и захворал — боюсь, вот-вот сдохнет. Возьми-ка все это с собой, устройся на дворе возле хлева, — вот тебе курпача! — положи топор, нож и веревку под голову и будь начеку. Если услышишь хрип быка, всадишь ему нож в горло и позовешь меня. Понял? Только смотри не проспи, а то он сдохнет поганым по твоей вине!

— Господин! — сказал я. — А чайку не будет?

— Осьмушка чаю стоит пятак, зачем тебе чай, если в арыке полно воды? А коли к арыку идти лень, вон стоит кувшин для умывания, можешь оттуда напиться...

Я не обиделся — очень уж я был рад, что поручение оказалось не слишком трудным. Имам снова ушел в ичкари, а я растянулся на курпаче и стал смотреть в небо. Набегал ветерок, деревья, стоявшие у дома и вдоль дувала, покачивались и шуршали, в хлеву посапывали, изредка ворочаясь, животные. А я уставился на три крупные звезды прямо над собою и боялся отвести взгляд в сторону: мне казалось, я увижу, как подкрадывается ко мне безголовая тень или, еще хуже, смотрит откуда-нибудь из ближних ветвей черная оторванная голова... Была, должно быть, полночь, и лучшего времени, чтоб отомстить за себя, давешний покойник выбрать не мог. Я лежал, весь сжавшись, стараясь занимать как можно меньше места. Но покойник за этот день намучился не меньше меня и, видно, здорово устал. По крайней мере, ко мне он так и не явился. Я заметил, что задремал, только проснувшись от какого-то резкого звука. Приближался рассвет. В хлеву что-то грохнулось оземь и захрипело.

«Вот тебе и на, видно, прозевал я все на свете!» — подумал я и, таща из-под себя запутавшуюся веревку, выругался по адресу быка:

— Чтоб ты сдох!

Но уже на бегу я подумал, что напрасно я так выругался. В темноте хлева барахталась на земле какая-то скотина. Значит, еще жив, подумал я с радостью и, словно бывалый мясник (мы с мальчишками не раз бегали на бойню), протянул левую руку туда, где, по моим расчетам, должны были оказаться рога, а правой замахнулся ножом. Бояться было нечего, ведь бык уже и сам подышал. Свободной рукой я промахнулся и уперся животному в лоб, зато нож с маху попал ему прямо в горло. Кровь так и брызнула струей и облила меня с ног до головы. Бедная скотина в последний раз запыхтела, как труба большой бани, потом захрипела, дернулась — и все смолкло.

Имам велел позвать его, когда быку приспичит, но я отлично справился и сам. До утра оставалось еще время, я решил, что имаму и мне стоит выспаться. Тяжелая забота с меня свалилась, я лег и тут же заснул глубоким, сладким, безмятежным сном. Увы, каково было мое пробуждение!..

Я проснулся от страшного пинка в бок. В испуге, еще не успев сообразить, где я и что со мной, я открыл глаза. Надо мной стоял имам в мешковато висевшей рубахе, и с огромными кусками сухой глины в каждой руке. Лицо у него было перекошено, глаза готовы выскочить из орбит. Не успел я подняться, как он со страшной силой обрушил на мою голову кусок глины. Мне стало ужас как больно и обидно.

— Что вы делаете, таксыр? — закричал я, и слезы полились у меня из глаз. — За что избиваете бедного сироту! За добрую услугу, что ли? Ой, мамочки, вай-вай-вай!..

— Ах ты, проклятый! — завопил имам и обрушил на меня второй ком глины, норовя угодить по голове, но я уже был настороже, и удар пришелся ниже спины. — Ах ты, проклятый! — вопил он, брызжа слюной ярости и давясь собственными словами. — Чтобы ты сдох с твоей доброй услугой! У-у, негодяй, отцу бы твоему такую услугу! Шайтаново отродье, лучше бы ты сам зарезался! Ведь ты моего ишака зарезал!! Ишака! Ишака! Ишака! — И с каждым словом «ишака» он наносил мне такой удар, что я

только взывал от боли, как карнай на свадьбе.— Откуда тебя принесло на мою голову? — Этот роковой вопрос сопровождался новым ударом.— Я же купил этого ишака в священной Бухаре! А-а-а! — Это воспоминание стоило мне еще одного жестокого подзатыльника.— За три золоты-их! — И за эту цену я тоже сполна расплатился.— Ах, какой это был иша-ак, какой иша-ак, ай-йй-йй! — И в знак своего траура он продолжал меня колотить что было силы. А сил у него хватало!..

Нетрудно было понять, что произошло: в темноте я принял катавшего по земле ишака за хворого быка — и перерезал ему горло. А бык тем временем подох своей смертью. Я стал в ужасе озираться, словно мышь, свалившаяся в узкогорлый кувшин с гладкими стенками.

Побоям не предвиделось конца, надо было спасаться бегством. Тут я заметил лестницу, приставленную к крыше хлева. На краю крыши было опрокинуто для сушки седло с подхвостником, принадлежавшее покойному ишаку. Я вынырнул из-под рук имама, кинулся к лестнице и полез по ней на четвереньках, как собака, взбирающаяся по ступеням. Он бросился вслед за мной, но я успел уже влезть на крышу. Я хотел было оттолкнуть ногой лестницу, но тут меня одолело чувство мести, я решил хоть разок вернуть своему мучителю побой. Рывком подняв седло, я швырнул его вниз, целясь в имама. Но и седло, верно, не могло мне простить смерти своего хозяина, ишака. Оно только и дожидалось этого удобного случая. На лету оно заценило меня подхвостником за шею и увлекло за собой вниз. Особого вреда падение мне не причинило — ведь я упал на седло; к тому же я был так избит, что живого места на мне и без того уже не оставалось. Я даже испугаться не успел, как очутился на земле, снова в руках имама.

Если он был в состоянии рассвирепеть еще больше, то, можете мне поверить, он этой возможности не упустил. Схватив веревку, которую дал мне почью стреножить быка, он сложил ее в восемь раз и принялся хлестать меня по чем попало. Наконец и он, видно, выдохся и остановился, отдуваясь.

Я решил не дожидаться приглашения, вскочил и снова кинулся к лестнице. Кое-как вскарабкавшись на крышу, я пустился бежать — на мое счастье, большинство окрестных крыш примыкало друг к другу. Оглянувшись, я увидел, что имам тоже залез наверх и гонится за мной.

Я припустил что было мочи. Дорогу мне преграждали иной раз узкие проулки, но я перелетал через них, как преследуемая курица, и бежал дальше. Имам отставал от меня всего на несколько крыш. К счастью, на бегу у него стали сползать слабо подвязанные штаны, это его стреножило. Когда я снова оглянулся, он бежал уже, как перекормленный гусь, и, наконец, остановился. Но до спасения мне было еще далеко, потому что многие жители поселка, привлеченные шумом нашей скачки, тоже влезли на крыши и появлялись то там, то тут. Вид у меня был достаточно подозрительный: не забудьте, что я весь был забрызган кровью зарезанного ишпака, побой и падение мне тоже красоты не добавили, пыль, грязь, кровоподтеки, одежда, висевшая клочьями... Я стал оглядываться во все стороны, выбирая безопасное направление, сделал еще шаг и... провалился куда-то вниз!

Придя в себя, я сообразил, что это был дымоход над тандыром в чьей-то кухне. Дымоход поднимался вертикально вверх, я угодил прямехонько в него и упал в тандыр, где и застрял, свернувшись в клубок, с прижатыми к груди ногами — внутренность у тандыра круглая, как шар. Между тем люди, увидев, что я бесследно исчез у них на глазах, совсем ошалели. Они окончательно убедились, что им являлась нечпстая сила. Не знаю уж, за кого они меня сочли — за ожившего ли мертвеца, за блаженного Ису или за одного из воинов Абдурахмана-пари, приехавшего на побывку с горы Каф,— но только мне было слышно, как они запричитали: «Ох, спаси господи!», «Господи, пронеси!» — и стали спрыгивать с крыш.

Я попробовал освободиться из своего неожиданного заключения — не тут-то было. Левая рука у меня намертво прижата к боку, только правой я кое-как шевелил, да толку от этого было мало, даже когда я после долгих усилий и вовсе освободил правую руку. Распрямиться хоть чуточку я не мог — для этого надо было сначала напроць убраться голову, а она, как я предчувствовал, могла еще мне пригодиться. Не распрямившись, нечего было надеяться вытащить из-под туловища хоть одну ногу и попытаться вылезти. На постороннюю помощь тоже нельзя было рассчитывать, напротив, счастье, что кухня оказалась пустой! Оставалось дожидаться темноты, когда во-круг наверняка никого не будет, и попробовать выломать край тандыра: единственная надежда выбраться.

В кухне уже стемнело (на улице, верно, только еще

смеркалось), когда я — вконец измученный и потеряв терпение, страдая вдобавок от голода и жажды — решил приняться за стенку тандыра. Но тут как раз дверь кухни, в первый раз за день, отворилась, и вошла какая-то женщина. Она развела огонь рядом со мной, в маленьком очаге. Пока она возилась, я достал правой рукой крышку для тандыра, стоявшую около (я заметил ее еще раньше), и закрыл отверстие моей тюрьмы. Женщина ничего не заметила, но я сидел, весь дрожа, задерживая дыхание, с отчаянно бьющимся сердцем. Ей-богу, оно стучало громче, чем стенные часы в доме мануфактурщика Каримакоры из нашей махалли; удивляюсь, как женщина его не услышала. Впрочем, она была занята своим делом, да еще тихонько напевала про себя.

По запахам и звукам я догадался, что она готовит машкичри или что-нибудь в этом роде. Сперва меня пронзил, как стрела, запах жареного лука. Потом в котле зашипело, жарясь, мясо с приправами, и мой волчий аппетит, свернувшийся, как бутон, теперь распустился, словно пышная роза. Однако мне самому эта роза предназначала одни шипы. Потом я услышал, как женщина засыпала в котел маш... Ах, этот проклятый маш, где он только рос, на каких камнях, что столько варился! Черт бы его побрал, он никак не лопался, а женщина, не жалея, подбрасывала и подбрасывала дрова, и жар смежного очага понемногу разогревал мой тандыр. Скоро правый бок у меня начал гореть огнем, и я понял наконец, что чувствует шашлык, когда его жарят! Я так отлежал себе все места, что собственные мои ноги казались мне шашлычными палочками, на которые меня надели. Пожалуй, шашлыкку бывает даже легче, потому что когда у него поджарится один бок, его поворачивают на другой, а уж чего-чего, но повернуться я никак не мог. Жар пронзил меня до самой печенки, я готов был завопить, когда женщина, причмокивая, попробовала варево и сказала сама себе: «Готово».

Я возблагодарил аллаха со слезами на глазах. Женщина выгребла угольки из очага, выложила еду на два больших блюда, потом одно поставила обратно в котел, накрыла и ушла со вторым.

Стенка тандыра стала остывать, огонь в очаге погас, зато в моем желудке он разгорался, как степной костер. Когда женщина ушла, я открыл крышку и вздохнул вольготнее. Потом попробовал дотянуться до котла. Это мне

не удалось. В тревоге и мучениях я стал ждать дальнейших событий.

Наконец дверь кухни снова скрипнула, вошел кто-то и на дыпочках направился к тандыру. Я замер. Однако вошедший (это был мужчина) мирно уселся на тандыр и стал насвистывать какую-то мелодию.

Музыка — вещь хорошая, не спорю. Я сам люблю музыку, особенно после сытной еды. Иной раз и самому спеть хочется — когда едешь по махалле верхом на чужой спине. И посвистеть иногда полезно, — например, если надо вызвать товарища, которого мать загнала домой нянчить младших ребятшек. Но сами посудите, каково слушать чей-то нахальный свист, когда кишки твои и без того играют от пустоты, как целый оркестр на военном параде, да еще вдобавок этот самый проклятый свистун сидит у тебя, можно сказать, на голове и болтает ногами перед твоим носом!..

Немного погодя вошла женщина, — я узнал ее по шагам. Она тоже направилась к тандыру, и на расстоянии аршина над моей головой я услышал чмоканье. Надо думать, они поцеловались.

— Не заждались? — спросила женщина таким сладким голосом, что если положить его в нипалду, сахару бы уже не понадобилось. — А муж мой, — продолжала она, и голос у нее сразу изменился, точно в шербет долили супу, — муж мой, будь он неладен, расселся с долговыми книгами, будто другого времени ему нет! Сел со счетами и давай пересчитывать, я уж думала, конца этому не будет! Еле его усыпила, да и...

— Ну ничего, душенька, — прервал ее парень. — Ты только смотри, не подозревает он нас с тобой, а? Может, ты проговоришься? Сегодня я приходил к нему в лавку, купить насвая на три копейки — так что ты думаешь: как глянет на меня волком, а насвая насыпал так мало, что табакерка и до середины не наполнилась! А всюду мне на три копейки доверху ее насыпают.

— Нет, это он вообще жадный, как цепной пес, такой скряга, вы и не поверите! Ему бы только деньги да деньги, — сказала женщина. — На меня внимания не обращает, есть у него жена или нет, ему все равно...

— Ну, ладно, черт с ним. Поесть у тебя чего-нибудь найдется?

Стоящий парень, подумал я с острой завистью, знает, что для мужчины главное. Женщина засуетилась, открыла

котел и, словно рыбу на беленьком блюде, вытащила маши-кичири.

Парень так и накинулся на еду. При этом он слез с тандыра и встал на колени перед очагом. Блюдо оказалось прямо передо мной. Парень знай себе наворачивал да наворачивал, а женщина только клевала понемногу, как курица, подвигая парню куски мяса и говоря ему разные ласковые слова. Парень отвечал односложно, рот у него был занят.

Я почувствовал, что больше не могу этого вынести — высунул руку из тандыра и запустил ее в блюдо. Парень в этот момент смотрел на женщину, она на него — и давно. Я беззвучно, давясь от жадности, проглотил свою добычу и протянул руку снова. Этого опять никто не заметил, но блюдо начало пустеть. Парень, хоть и без того занимался двумя делами сразу, краем глаза, должно быть, что-то уловил и тревожно сказал женщине:

— Эй, послушай, где твоя рука?

— Вот! — сказала женщина с готовностью.

Парень огляделся, но, конечно, в темноте ничего не увидел. Я затаился. Парень продолжал есть еще быстрее. Я понял, что на блюде вот-вот ничего не останется, и, уловив секунду, когда они занялись разговором, полез в блюдо снова. Но парень был начеку. Он схватил мою руку и зашипел:

— Эй, погоди! Чья это рука? А ну! Это моя, эта твоя, а это чья?

Женщина тихонько взвизгнула, хотя испугалась, видно, здорово. Не будь у них своих делишек, мне стоило бы уже прочесть над собой заупокойную молитву. Но сейчас я даже почти не испугался. Парень дернул мою руку и стал тащить меня из тандыра. Было больно, но я молчал, наступало, наконец, желанное избавление. Позвоночник мой пару раз громко хрустнул, отвалился кусок стенки тандыра, и я оказался на воле, едва держась на одеревеневших ногах. Если бы этот парень еще и растер мне ноги!

— Спички есть? — спросил он женщину, не выпуская моей руки.

Она дрожащими руками ощупала свою безрукавку, нашла спички, чиркнула — и тут же с криком уронила огонь. Я думаю, если бы они встретили меня днем, и то было бы чего испугаться. А тут в темноте их должен был охватить настоящий ужас. Лохмотья мои в засохшей крови и грязи, весь я к тому же еще в саже, черный, как

негр, — если злые духи выглядят иначе, тогда уж и не знаю, как их себе вообразить. У женщины зубы так и стучали от страха, но парень оказался храброго десятка. Он взял у женщины спички и зажег.

— Ты кто такой? — спросил он.

Я решил, что терять мне нечего.

— А ты кто такой? — спросил я в ответ.

— Я тебя спрашиваю!

— А я тебя спрашиваю!

— Слушай, парень, у тебя надежда на жизнь еще есть?

— А у тебя — есть надежда на жизнь?

— О, господи!

— О, господи!

В разговор вмешалась женщина.

— Послушай, голубчик, — сказала она дрожащим голосом, — кто же ты, в конце концов, такой и что ты делал в тандыре? Может, ты... злой дух? Или... сумасшедший? Ты не сердись, но зачем ты в темную ночь залез в чужой очаг?

— А он зачем залез ночью в чужой очаг? А?

Тут я увидел, что парень бросил спички и засучивает рукава так решительно, как это делает мясник, когда ему подводят скотину, предназначенную на убой. Тогда я пустил в ход свой старый прием:

— Ка-ра-у...

Но женщина сразу зажала мне рукой рот:

— Эй, что ты хочешь делать?

— Что мне делать, кричу «караул».

Тогда парень решил заключить перемирие:

— Ну ладно, уходи по-хорошему. Ступай отсюда!

— Куда мне идти? Я есть хочу.

— Вот навязался, — сказал парень, а женщина, не говоря ни слова, на цыпочках вышла из кухни, почти тут же вернулась и принесла мне две тощенькие лепешки со шкварками. Я сунул лепешки под мышку. — Ну, теперь убирайся, — сказал парень.

— Э, нет, гони-ка сперва немного денег!

Он так запыхтел в темноте, что я думал, он тут же лопнет от злости. Потом он негромко, но длинно выругался — видно было, что он вложил в это ругательство всю душу. Наконец, он полез в карман и выгреб то, что там было. Ну, я не стал пересчитывать — взял и спрятал деньги. Только после этого я, наконец, смиловился.

Женщина выпроводила меня со двора, сперва трижды взяв клятву, что все останется шито-крыто. Я это ей искренне обещал. За воротами, отойдя немного, я первым делом съел лепешки со шкварками. Потом пошел по темной улице. Я ведь знать не знал, где нахожусь. Улица вывела меня на другую, та — на широкую площадь.

Площадь, судя по всему, служила базаром, но сейчас она была пуста, как степь. Я пристроился в каком-то углу, положил под голову два кирпича и тотчас уснул, словно провалился в яму...

Ох, в этом проклятом городке мне суждены были одни несчастья! Сейчас даже не верится, сколько бед там на меня свалилось за каких-нибудь два дня! Словом, я опять проснулся от пинка...

Было утро, меня окружали какие-то люди с палками в руках.

— Это он! — крикнул один.

— Точно, он!

Чей-то голос вставил с сомнением:

— Уж больно мал!

— Да ты на него посмотри! Он и есть!

Я спросил, чуть не плача:

— Кто — он?

Меня снова пнули ногой и велели вставать. Я еле поднялся, все тело у меня ныло и, казалось, вот-вот развалится на кусочки. Мне связали руки за спиной и повели по базару, размахивая над моей головой палками и кнутовищами. Кто-то сзади приказал мне:

— Кричи: «Позор мне, я убил человека»!

Я заплакал в голос:

— Никого я не убивал!

Между тем народ сбегался, а двое мальчишек, собирая толпу, выбивали дробь на такой маленькой штуке, вроде барабана. Я чувствовал, что сейчас потеряю сознание. Вдруг из толпы вышел какой-то человек в пестром халате, в чустской тюбетейке на бритой голове.

— Мусульмане! — сказал он. — Неужели вы думаете, что такой маленький мальчик мог убить такого огромного мужчину, как тот приезжий бай? Да еще где — в чайхане! Мал он еще! А если б он был соучастником, его бы не оставили здесь в таком виде...

Толпа одобрительно заворчала. Те, кто держал меня, хранили молчание.

— А что у него такой вид, — продолжал человек в пест-

ром халате,— так сразу ясно: мальчишка больной, припадочный. Видно, в припадке он так и разбился... Какой же вор возьмет такого в помощники? И у вора есть свои тайны! Кому охота доверять их полоумному мальчишке! Верно я говорю, мусульмане?

— Верно! Верно! — закричали в толпе. — Отпустить мальчишку!

Тут в круг выбрался еще кто-то, лица его я не разобрал: глаза мои застлало слезами, бежавшими сами по себе. Я и не плакал по-настоящему.

— Да я знаю, кто этот мальчишка! — кричал новый оратор. — Это сын Ашура-мясника! В прошлый базарный день Ашур говорил, что его сын убежал из дому!

— Правильно! И я слышал, — на базаре глашатай объявлял, что пропал мальчик четырнадцати лет!

— Отпустить его!

Я почувствовал, что державшие меня за плечи руки разжались, и мешком свалился на землю...



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

СЕМЬДЕСЯТ ОДИН РАЙ

Сам я — в полном здравии. Руки — в полном моем распоряжении. Ноги меня слушаются. Глаза повинуются моей воле: не хочу — и не смотрю на всякие уродства. Челюсти мои и зубы — как соломорезка: перемалывают любую еду. Но один непослушный орган все-таки есть в моем теле, и над ним я никак не могу взять верх. Власть моя на него



не распространяется — подчас он бесчинствует внутри моих владений, точно целая шайка бандитов. Я усмиряю его, как могу, посылаю полчища благоразумных мыслей, но они разбегаются, еще не добравшись до места назначения. А этот проклятый бунтовщик нагло требует дани: можешь не можешь, есть у тебя или нет — накорми его!

Ибо это — желудок.

Вы не знали? Тогда запомните и держитесь начеку. С желудком шутки плохи. Если он разойдется и не получит того, что требует, он и вовсе свергнет вашу верховную власть. Тут уж он овладеет всем царством. И — пищи пропало все: порядок, спокойствие, правила приличий. Ибо командуете уже не вы, а он. Все слушает уже не ваших — его приказаний. Глаза начинают смотреть на не дозволенные шариятом вещи, руки алчно тянутся к нечестно добытым кускам, ноги ведут в самые неожиданные места, голова склоняется перед подлыми людьми...

И я, заливаясь слезами, как весенняя туча, пою какую-то песню, какую-то бестолковую газель, которую бог знает кто придумал, бог знает кто спел в первый раз, может, и я сам, знать того не знаю, ведать не ведаю...

Увы, из этих черных глаз всегда печаль струится, ненастным видят мир они сквозь слезы на ресницах. Весь век скитаюсь и томлюсь в надежде на отраду, мне до утра земля — постель, подушка — черепица. О сердце, полно тосковать, и твой рассвет пастанет, не вечно будет скрыт рубин в земле, немой темнице. Ну, а покуда падо мной крутится тяжкий жернов — и ради хлеба должен я, как жернов тот, крутиться...

«Ладно, — говорю я себе, — оставь-ка ты эти печальные раздумья, иди лучше к речке, помойся, приведи себя немного в порядок». И я выполняю этот дружеский совет: иду к реке, нахожу укромное местечко, раздеваюсь. Надо почистить щавелем штаны, рубашку, поясной платок, выстирать их как следует — одного раза мало! — и развесить для сушки на ветках тала. А потом и самому спуститься в воду, поплескаться, смыть с себя всю грязь, а с нею — и все дурные воспоминания, все беды, какие выпали на мою долю за последние дни. А бед было куда больше, чем дней, больше, чем пролитых слез, разве что по одной на каждую слезу.

На все это уходит времени не меньше, чем на приготовление плова, а ведь аппетит тем временем разгорается. Тут пора надеть выстиранную одежду, разгладить ее на себе руками, принять опрятный вид и вспомнить, что из всех несчастий вынес ты и чуточку пользы: ту кучку мелочи, которую с такой охотой пожертвовал тебе на бедность влюбленный парень в чужой кухне. Нет, она не пропала, слава богу — немножко серебра, немножко меди, без малого две таньги. Что ж, это неплохой капитал для начала, многие начинали и с меньшим, правда, они с тем и остались, ну да бог с ними. Можно идти на базар и там наесться вволю, что купить, что выклянчить, что выторговать. Не сплутуешь — не поешь.

А на базарной площади, хоть день и не базарный, всю идет купля-продажа. Блеют бараны, ржут лошади, ревут верблюды, торговцы бранятся, да мелькают руки маклеров, твердящих свое обычное: «Ну, по рукам!» И среди этого гама и толкотни я брожу в растерянности, как муравей, застигнутый ливнем, то и дело ожидая, по недав-

ней привычке, пинка откуда-нибудь — справа, слева или сзади.

Вдруг на базаре начинается странная суета, движение, которое кругами устремляется в одну сторону: из города к базару идет процессия. Семь каландаров движутся один за другим, одетые в рубища «мухаммадий», которые сшиты из нескольких кусков материи разного цвета. На головах у них — дервишеские шапки «ахмадий», из-под которых спускаются до пояса черные и седые пряди взлохмаченных волос; на плечах — мантии «мустафа». Они идут под горячим солнцем и поют, исступленно поют, а на губах у них выступает пена, словно у опьяневших верблюдов:

О-о!
День базарный, шумит народ,
сквозь гомон слышен плач сирот,
ё аллах дуст, ё аллах,
хак дуст, ё аллах.
Спроси о судьбах детей беды —
нету отца у сироты,
ё аллах дуст, ё аллах,
хак дуст, ё аллах.
О-о-о!..

Впереди идет благообразный каландар с широкой бородой, похожей на лезвие кетменя. Это — главный каландар; на плече у него — медный сосуд, издали напоминающий огромного черного с отливом жука, в руке трость из крепкоствольного кустарника, увешанная разноцветными лоскутками. Нам еще предстоит познакомиться с нею поближе, и мы узнаем поразительную вещь: трость эта приходится двоюродной сестрой посоху пророка Мухаммеда! Но верующим вокруг, как видно, давно уже известна эта новость, и они целуют трость со слезами на глазах, когда удается к ней пробиться, и с надеждой привязывают к ней новый цветной лоскуток.

Главному каландару, несущему трость, вручаются при этом подаяния: черный медный жук на плече для них и предназначен. Туда складывают деньги. Остальное, например, лепешки, принимают каландары, идущие сзади. О, подаяние — это тонкая вещь, тут опасно попасть впросак! Ведь когда главный каландар представляет святого Бахауддина, ему причитается семь лепешек, а когда он выступает как уполномоченный святого Гавсулагзама — лепешек требуется уже одиннадцать. Не приведи господи принять Гавсулагзама за Бахауддина — святой обидится, и

тогда все затраты к черту. На небе за ценой следят строже, чем на базаре.

Кто особо нуждается в помощи или прощении святых, тот и раскошеляется соответственно: преподносит курицу, козу, барана или даже верблюда. На этот случай позади каландаров шествуют слуги, ялавкаши: они собирают подаяния, складывают их в арбу с плетеным кузовом или привязывают сзади; иногда позади собирается целое стадо, разнокалиберное, как передвижной зверинец...

Нет, подарком нынче на базаре такой переполох — каландары прибыли из обители самого святого ишана, не употребляющего мяса. А ведь, говорят, обитель эту по почам посещает Джабраил и приносит распоряжения непосредственно от аллаха, так что работает ишан с господом в паре, и все, что подносится ему, попадает наполовину и ко всевышнему! Как же тут не воспользоваться такой удобной оказией и не переслать аллаху свой маленький подарок, за который есть надежда получить потом вдесятеро, если не больше? Сделка первый сорт, и все торопятся не упустить случая, пробиваются что есть сил, кидаются прямо под лошадь городского, который едет впереди каландаров и расчищает им дорогу, размахивая плеткой, — тучный, толще собственной лошади, с торчащими усами, похожими на веревку в зубах у собаки, с огромной саблей на боку. Сабля свисает почти до земли, болтается, и сразу даже не поймешь, к чьему боку она приторочена — лошади или городского.

Представьте теперь, как обидно глядеть на все это, на такую блестящую возможность, и не иметь даже самого маленького капитала, чтобы вступить в сделку, даже какой-нибудь чепухи для подарка, лоскутка приличного, чтобы повесить на священную трость!.. Слезы досады выступили на моих глазах, но тут словно свет пролился в мою душу, и по всему телу, размякшему, как нагретый воск, пробежала трепетная волна. Я кинулся в толпу, отчаянно пробиваясь к главному каландару, пролез-таки, проскользнул между взрослыми и оказался вдруг около самой трости, схватил державшую ее руку и заплакал, упав на колени. Главный каландар остановился, поднял меня, погладил по голове и спросил ласково:

— Чего ты хочешь, дитя мое? Скажи, и я попрошу аллаха!

И тогда я заплетающимся языком изложил свою нижайшую просьбу, чтобы и меня сделали звеном этой бо-

жественной цепи — зачислили в ученики к святым дервишам! О, какой поднялся шум, вой, плач в окружавшей толпе, которая услышала мои слова! Ведь когда главный каландар остановился, вокруг воцарилось благоговейное молчание. Как запричитали дехкане и женщины, когда глава священной процессии, подняв обе руки, благословил меня! Трудно и передать!

А я-то! С этой минуты я уже не простой смертный, не обычный земной страдалец — я назначен на один из постов в самом судилище аллаха! Мне еще не пришлось потрудиться на этом ответственном посту, но я уже заранее чувствую, что служба мне по душе, потому что, видится мне, еды и питья будет вдоволь, а все обязанности сводятся, похоже, лишь к тому, чтобы выучить хорошенько «Ё аллах дуст, ё аллах», да и распевать с пеной на устах. Ах, недаром говорят: песня кормит. И я чувствую, что прямо-таки теряю рассудок от счастья. Я иду шагах в десяти впереди каландаров с непокрытой головой и пою, гпусая, сколько хватает моих слабых сил:

О-о-о!..
Копытом тоная, конь идет,
ё аллах дуст, ё аллах.
Эй, выходи и смотри, народ,
ё аллах дуст, ё аллах.
Если спросишь, в кого влюблен,
ё аллах дуст, ё аллах,
скажу: в красавицу Зебихон,
ё аллах дуст, ё аллах,
как дуст, ё аллах.
О-о-о!..

И, видя меня, юродивого мальчугана, на глазах у всех отрекшегося от земной жизни — грустной и веселой жизни, полной всяческих проделок и несчастных бедствий, — у базарного люда прокатывается по сердцам новая волна преклонения перед силой аллаха и его слуг, и приношения сыплются градом...

Вечером мы усаживаемся по двое на верблюдов — погонщики привозили на базар солому для продажи и теперь возвращаются обратно — и отправляемся в Ишан-базар, обиталище почтеннейшего ишана. Уже по мере приближения к нему возрастает атмосфера святости, точно воздух наполняется неслышным пением ангелов. И недаром: обитель считается чуть ли не Каабой для Ташкентской, Чимкентской и Сайрамской областей, и если все эти

города освещаются лучами, идущими с неба, то Ишанбазар сам освещает небо своим сиянием.

Доехав, мы слезли с верблюдов, сгрузили вещи, а главный каландар вместо платы за проезд прочел короткую молитву, благословляя погонщиков. Говорят, в иных местах за каждое такое благословение отдают целого верблюда, так что выгоды, выпавшие на долю погонщиков, трудно было и подсчитать.

Дом ишана примыкал к молельне, где он вместе с суффи занимался радением. Тут же находилась и обитель каландаров. Сначала мы вошли в молельню, и главный каландар пропел у входа короткую молитву, чтобы почтеннейший узнал о нашем приходе. Потом каландары уселись на айване в круг, я же, их покорный ученик, остался в прихожей, где обычно снимают обувь, и стоял, смиренно сложив руки на груди, в полупоклоне, готовый к услугам.

Пение между тем продолжалось, а суффи размещали привезенные нами подаяния и провизию в маленькой комнате, которая имела две двери: одну в молельню, другую — в гарем ишана.

Наконец пение оборвалось, и из глубины молельни, кокетливо ступая по земле и поглядывая на нее с таким видом, словно говорил: «Ступить-то я, так и быть, ступлю, но ты должна быть мне вечно благодарна», — вышел почтеннейший ишан. По его собственному заверению, — а кому же знать, как не ему? — это был правнук Айши-Нубаро, девятой жены пророка Мухаммеда. Он одет в длинный светло-желтый халат, на голове белоснежная чалма, на ногах — изящные кавуши из сагры, в руках — четки, не меньше чем в тысячу костяшек. Глаза подведены сурьмой, длинная борода с проседью расчесана и уложена так, что каждый волосок можно положить в отдельный чехольчик, а от красивых усов цвета нечищенного серебра и от красных щек струится поистине лучезарный свет.

Не знаю, как кто, — видели это другие неискупенные люди или нет, — но я узрел собственными глазами полторы тысячи ангелов, что сопровождали его с обеих сторон. Все мы встали и отвесили ему земные поклоны. Почтеннейший, напомнив о повелении аллаха творить добрые дела, спросил о приходе Мункара и Накира (это ангелы, подвергающие покойника в могиле предварительному допросу), и глава каландаров в ответ высыпал в подол ишану все деньги из своего медного жука. Там были и медя-

ки, и серебро, и бумажные деньги. Почтеннейший легким движением отправил в рукав халата бумажки и целковые и сказал:

— О-о, пусть руки мои не коснутся грязи богатства, деньги, дети мои, это нечистоты, охотятся за ними только собаки! — И он отодвинул мелкое серебро и медяки каландарам. Тут взор его остановился на мне, и он произнес очень ласково: — Кто это дитя?

Главный каландар так хорошо рассказывал обо мне, что, находясь мы сейчас у райских врат, меня тут же впустили бы. Этот мальчик, говорил он, пока допивал первый чайник зеленого чая, настоящий каландар Машраб, отрешившись от земной жизни ради вечной и одержимый высшим экстазом. Особенно он распространялся насчет моего экстаза, сказав, что тот превыше всяких похвал и не каждый бывалый каландар может впасть в нечто подобное. Тогда почтеннейший ишан указательным пальцем поманил меня к себе, сделав тем самым величайшее снисхождение. Я снова низко поклонился и подошел, и он своей благословенной рукой погладил меня по голове.

— Ну и ну! — сказал он. — Вот ты какой счастливец, оказывается! Удостоен внимания самого аллаха! Посмотри же на небо, сын мой!..

И тогда сквозь его пальцы я увидел семьдесят один рай...

Церемония кончилась поздно, и, лежа в одиночестве в углу молельни, среди груды лохмотьев, я долго не мог уснуть. Не могу сказать, чтобы мой желудок удостоился такой же благодати, как я сам, но, в общем, обошлись с ним сносно. Во всяком случае, он помалкивал, и в голове у меня вертелись мысли обо всяких вещах, близких к райскому блаженству. Например, о том, нет ли в худжре для подаяний третьей двери; и о том, что ел сегодня ишан на обед — манты или плов; и у которой из жен он сегодня находится; и стоит ли у его изголовья чайник с холодным зеленым чаем, который так полезен, когда ночью захочется пить.

Уснув, я увидел себя не в раю, не в аду, а все в той же молельне. Там было холодно и стояла полная тишина. Я лежал и ежился от забегавшего ветерка, как вдруг в молельню вошла дрожащая от холода собака и стала жалобно скулить. Мне очень хотелось ее утешить, но я никак не мог встать на ноги и подойти к ней, потому что я сам и был этой скулящей собакой. Так я долго мучился от

жалости к самому себе и впрямь тихонько скулил во сне, пока утром меня не разбудили суфи.

В молельне готовилось радение, собирались люди и становились в большой круг. Я кое-как совершил омовение и тоже к ним присоединился. У кого были четки, тот лихорадочно перебирал костяшки, остальные озирались, мелко дрожая от волнения, или стояли, тупо уставившись в одну точку. Тут были женщины, дети, старики, понурые мужчины — подслеповатые и полупарализованные, бездетные или безденежные, должники или отпущенные на поруки подсудимые. И все они, едва появился ишан, начали вопить громким нестройным хором, прося помощи или избавления от беды. Ишан, приговаривая что-то, стал дуть в их кувшины для омовения, в чайники и прочую посуду с водой.

После совершения намаза я позавтракал вместе с каландарами. Ишан приказал им отправляться на базар в Назарбек, и я приготовился было их сопровождать, но почтеннейший сказал:

— Ты останься, сынок. Ты, видно, проворный мальчик, найдется тебе здесь работа и в ичкари, и в ташкари...

Конечно, я не посмел возразить, но очень расстроился. Упустить такое прекрасное, прибыльное путешествие! Сколько можно добра перехватить на базаре, находясь в процессии каландаров! И уж во всяком случае, это куда приятней, чем снова везд-вперед между внутренней и наружной половинами дома, как челнок под руками у ткача. Устанешь до упаду, да еще будешь помирать со скуки, вместо того чтобы добывать деньги песнями!..

После ухода каландаров ишан милостиво пригласил меня в свою худжру.

— Что прикажете, о мудрейший мой наставник? — спросил я, войдя, тонким голоском и с видом величайшей готовности к услугам. Он взял меня за руку и велел сесть на белую циновку. Я опустил на колени. Ишан достал из ниши Коран в толстом кожаном переплете и дал мне. Я трижды поцеловал переплет и приложил книгу ко лбу. Ишан прикрыл глаза и, прошептав молитву, приказал повторять за ним: «Я, сын такого-то, преданный мюрид почтеннейшего ишана, все поручения моего духовного наставника буду выполнять беспрекословно. Не отступлю от его приказаний, даже если над моей головой занесут меч. Ничем не буду злоупотреблять. Как родную мать, стану уважать каждую из четырех жен моего духовного настав-

ника. Не буду на них заглядываться. Не разглашу никому ни единой тайны, услышанной мной в этом доме. И пусть я ослепну, пусть разобьет меня паралич, пусть я покроюсь пузырями и умру на месте, если решу эту тайну нарушить! Амины!»

Договорив это вместе с ишаном до конца, я сообразил, что принес только что страшную клятву. Я испугался, но делать было нечего: слов обратно не вернешь! И с того самого момента я начал — час за часом, день за днем — бегать между ичкари и ташкари, точно иглолка от стежка к стежку, не смея и передохнуть толком. Ох, и до чего же обманчивы человеческие надежды!

Так ношусь я, выполняя любые поручения, всякую работу, но в одном сбивает меня с пути праведного проклятый шайтан. Младшая жена почтеннейшего, молоденькая, лет семнадцати, до того красива — как расписная деревянная ложка, ей-богу! Меня так и тянет посмотреть на нее, так и тянет, и я нет-нет да и взгляну краешком глаза, но тут же вспоминаю белую циновку и как я Коран целовал, и мне сразу становится не по себе, точно враг человеческий уже подцепил меня на крючок, как жадную рыбку. И снова я бегаю взад-вперед и напеваю потихоньку:

Стройна красавица Зebихон,
ё аллах дуст, ё аллах...

Дни идут за днями, и однажды ишан снова зовет меня в худжру.

— Сын мой,— говорит он мне ласково,— много труда положил ты на нас! Ты теперь знаешь все дела нашего дома... И сам видишь, сколько человек я должен содержать: жены, дети, суфи, слуги, батраки! Их кормить надо, одевать... Если рассчитывать только на подавания, мы все с голоду помрем, верно? Ты парень проворный, ловкий. Я тебя испытал. В наши тайны ты посвящен. Не зевай, сынок, пора тебе тоже добывать деньги... Каким-нибудь другим путем... Кроме сбора подаваний...

Ну и задал он мне загадку! Что означает этот «другой путь»? Я подумал-подумал, и на лице у меня, видно, отразилось все мое недоумение, потому что ишан стал объяснять мне — обиняком, намеками,— пока наконец я не уразумел смысл его слов. «Вот оно что»,— подумал я и сказал вслух:

— Ладно, господин! Повинуюсь. Я готов жертвовать собой ради своего наставника...

Ишан довольно ухмыльнулся, похлопал меня по плечу и благословил. Глаза у него при этом сделались хитрые-прехитрые... А я почувствовал в себе должную храбрость.

Тут ишан быстро встал с места, сказал мне: «Подожди немножко!» — и ушел в ичкари, откуда скоро вернулся с узелком, связанным из платка. В узелке были старые штаны, рубашка, тубетейка и поясной платок из набивного ситца.

— Вот, дитя мое, на, одень эти вещи. Это одежда моего покойного сына Миянкудрата, что утонул прошлым летом в хаузе. Прочти ему зауспокойную молитву...

— Аминь, царствие ему небесное...

— Дай боже...

Я стал думать, как выполнить новое поручение ишана, но на ловца, видно, и зверь бежит. Когда на другой день вечером я возвращался в обитель из ближнего селения, куда меня зачем-то послали, то увидел в поле непривязанную двухгодовалую телку. Отстала ли она от стада, заблудилась ли — я ее спрашивать не стал, а попросту снял свой поясной платок, накинул ей на рога и тихо-мирно повел ее в обитель. Ишан обрадовался.

— Да ты и впрямь молодец! — сказал он мне. — Из тебя толк будет... Сам аллах послал тебе эту добрую тварь! А скажи-ка, никто тебя по дороге не видел? Нет? Никто? Слава аллаху... Молодец, сын мой, молодец, будешь внимать тому, чему тебя учат, никогда не пропадешь, и на этом и на том свете...

Вечером телку зарезали, мясо и сало уложили в хум, а шкуру ишан велел выдубить: пригодится ему на ичкиги, сказал он.

На другой день меня опять послали в соседний кишлак, и тут я узнал, кто был хозяином бедной телки. Им оказался коробейник, житель кишлака — он уже поднял шум на всю округу, разыскивая свое достояние. Наконец, он наткнулся на следы телки и пошел по ним, проклиная на все поле и телку, и того, кто воспользовался ее слабостью. Он сулил ему все хворобы, какие есть на земле, и все удовольствия, припасенные в преисподней. Я следил за ним из кустов. Он разорялся изо всех сил, особенно, когда след терялся. Вдруг он поднял голову, огляделся — и, видно, понял, куда ведет след. Он еще немножко пошел по нему, но тон его высказываний значительно изменился. Весь свой гнев он перенес исключительно на телку. Когда же он оказался перед обителью,

то вовсе замолчал, уставился на ворота, поклонился, хотя его никто, кроме меня, не видел (а меня-то уж он никак не брал в расчет), провел руками по лицу, словно молясь,— и повернул назад. Пройдя несколько шагов, он припустил что было мочи.

Ишана сильно вдохновила моя первая удача. Скоро он опять зазвал меня в свою худжру и произнес новую речь.

— Сынок,— говорил он,— пора братья за другие дела: отправляйся-ка на базары... Есть ведь на свете такие прекрасные вещи, как карманы и кошельки! Что лучше наличных денег? И нести не тяжело, и прятать удобно. Наличные, сынок, наличные!

Боюсь, что я и в самом деле занялся бы этим ремеслом, которым не соблазнил меня даже Султан-карманник, по один случай этому помешал. На следующий день после этого разговора ишан остановил меня во дворе и сказал:

— Сынок, достань ишака, только быстро. Достань где хочешь!

Я с удивлением посмотрел на него. Он рассердился.

— Ну, чего ты глаза вытаращил, говорю, приведи ишака и привяжи к тутовнику во дворе!

Зачем ему понадобился ишак? Не заболела ли крапивной лихорадкой какая из жен? Размышляя об этом, я отправился в кишлак и за две мускатные тыквы нанял на час ишака у того же бедняги-коробейника. На этом самом ишаке он разъезжал по селениям, крича: «Кому усьму, кому шнур для штанов!»

Когда я привязал ишака к тутовнику, третья, беременная жена ишана очень обрадовалась. Она велела полить и подмести во дворе, а в тени под деревом расстелить палас. Пока я всем этим занимался, меня немало поразили знаки почтения и даже нежности, которые выказывала этому ишаку жена ишана. А ведь ее называли внучкой Фатимы, близкой родственницы пророка! Едва я расстелил палас, она велела мне выйти и заперла ворота изнутри. Тут уж мое любопытство и вовсе разгорелось. Я вошел в молельню, прикрыл дверь и тотчас вытащил узорный колышек из стены мечети, выходящей во двор. Через отверстие все было отлично видно. Жена ишана ножницами надрезала ишаку кончики ушей, из них начала сочиться кровь. Сама же она, положив на палас шелковую курпачу и подушки, прилегла и стала любоваться ишаком. На кровоточащие уши сели мухи, бедное животное заматало головой, отгоняя назойливых насекомых. При этом ишак хлопал

ушами, тряс ими что есть мочи, шлепал друг о друга, а жена ишана смотрела и просто таяла от восторга.

— Ах ты, голубчик мой! — говорила она и, казалось, готова была кинуться ему на шею. — Ах ты, мой красавчик! Да паду я за тебя жертвой, как же мило шевелятся твои ушки! Нет, Анмчахон, — говорила она, обращаясь к другой жене, потому что все остальные тоже вышли во двор и ехидно посмеивались, наблюдая это зрелище, — смотрите, как замечательно у него уши шевелятся! Ах ты, мой голубчик, прелесть моя, ишачок!

Стоя за стеной у отверстия, я тоже беззвучно давился от смеха. Я вдруг представил себе на месте ишака нашего ишана, и как беременная жена расточает ему свои ласковые словечки, и уздечка на нем бренчит, а большие белые уши надрезаны ножницами и колыхнутся во все стороны, а мухи над ними так и вьются...

Ну, когда я себе все это как следует представил и сообразил, что «ишан» и «ишак» не только звучит похоже, а они еще и впрямь похожи друг на друга своими томными глазами и кокетливой походкой, — тут меня так разобрало, что я не выдержал и фыркнул. Видно, это меня и погубило, а может, аллах просто спохватился, да и прочел мои мысли и рассудил, что нельзя позволять даже и в помыслах так насмеяться над его верными слугами. А уж вернее, чем наш ишан, и быть не могло! Так или иначе, но пока я старался потише хохотать и корчился около отверстия в стене, я прозевал подстерегавшую меня опасность. Я почувствовал ее только, когда меня изо всех сил треснули кулаком по спине.

— Ах ты, проклятое отродье, ты что тут делаешь?

Это был сам почтеннейший ишан. Должно быть, он услышал подозрительное фырканье, пошел посмотреть, в чем дело, и застал меня ни больше ни меньше, как за разглядыванием его возлюбленных жен, тех самых, которых я должен был почитать, как родных матерей! Это был тяжкий грех, и прощению он никак не поддавался. На этот раз я не отделался несколькими пинками: ишан проклял меня и выгнал вон из обители...

Я очутился за воротами, на дороге, где недавно стоял бедный коробейник, лишившийся своей телки (а теперь, кажется, еще и ишака), а я со смехом подглядывал за ним из кустов. И я подумал, как переменчива судьба, ведь еще несколько минут назад я был довольно важной птицей в этом курятнике, а теперь уж и носа сунуть туда не могу!

Мало того, я лишился рая! А он был уже у меня в руках. Правда, моя нынешняя жизнь в обители мало напоминает райскую, зато в будущем райское блаженство было мне наверняка обеспечено! И что теперь? Снова скитаться по дорогам? Небо — высоко, земля — тверда, куда идти — неизвестно. Я стал каяться, называть себя бестолковым дурнем, бесприютным бродягой, что катится по свету без цели, как шарик ртути на покато́м полу. Был бы я чуть поумнее да посдержанней, не озорничал бы зря — и жил бы себе, горя не зная. А теперь? Впрочем, что толку каяться, прошлого не вернешь...

КАК Я РАЗОРИЛ БАЯ

Кишлак я постарался обойти стороной, чтобы, не дай бог, не встретиться с коробейником, и снова, как в прошлые дни, побрел по дороге. На закате я вышел к большой реке. Она стремительно неслась, грохоча на камнях, и вся белела от пены. Что это за река, я не знал, где безопасная переправа — тем более. Я прошел было немного вверх по берегу, потом вниз. В грохоте воды мне чудились человеческие голоса, конское ржание. Но кругом было пусто. В шуме бурной реки можно услышать все, чего ждешь или боишься...

Перебраться я сам не мог, возвращаться тоже было некуда. Я стал ждать, пока кто-нибудь появится на дороге, и тут вспомнилась мне песня, которую я слышал у нас в махалле. Очень уж она была кстати, эта песня бедных странников, и я спел ее проносившимся белым волнам да гладким камням, торчавшим из пены:

Бурная речка, бушует поток,
как перебраться, не знаю, ёр-ёр,
Кляча как моци,— а путь мой далек!
Мне не добраться, я знаю, ёр-ёр.
Щебень извел мою клячу вконец,
сам наглотался я пыли, ёр-ёр.
Стал я желтее, чем тот огурец,
что и сорвать позабыли, ёр-ёр.
Эй, тонкобровая, выгни дугу,
душу до дна осуши мне, ёр-ёр.
Дом твой белее на том берегу...
Кинусь,— не жалко души мне, ёр-ёр.
Что привело меня к вашим местам?
Сам я не знаю и плачу, ёр-ёр...
Белым мелькает твой тоненький стан —

шелк или ситец на платье, ёр-ёр?
Нету для речки ни почи, ни дня,
пенной поток захлебнулся, ёр-ёр.
Ах, неужели он лучше меня —
тот, что тебе приглянулся, ёр-ёр?
Вижу кувшин я на том берегу,
вижу кувшин золотой я, ёр-ёр.
Только руки протянуть не могу —
взять и наполнить водою, ёр-ёр!
Трудно кипящий поток переплыть.
Легче — дорожкой гладкой, ёр-ёр!
Смелость нужна тут, не жалкая прыть,
смелость нужна без оглядки, ёр-ёр.
Странпику, милый, отвага нужна.
Хочется выпить? Так пейте до дна!

Кончив петь, я в самом деле почувствовал жажду, встал на колени и выпил несколько пригоршней сладкой речной воды, такой холодной, что зубы заломило. Поднимаясь, я увидел старого дехканина на тощей лошади, подъезжавшего к реке. Я побежал ему навстречу, схватил за полу халата и стал умолять, чтоб он и меня переpravил.

— Ну да,— сказал старик ворчливо, показывая на свою кобылку,— видишь, какая она худая, только ожеребилась! Да и груз тяжелый, стыдно двоим мужчинам садиться на такую лошадку...

Но я так жалобно упрашивал, что он, по-прежнему ворча, согласился.

Пока он (уже на другом берегу) поправлял притороченный груз, я узнал, как называется река и что сам он — виноградарь из ближайшего кишлака на этой стороне. Он тоже получил от меня все необходимые сведения. Услышав, что я бездомный заблудившийся сирота без роду и племени, что мне негде приклонить голову и получить кусочек сухой лепешки, старик дал мне несколько советов. В кишлаке, сказал он, есть волостной управитель — важный бай по имени Сарыбай-булыс. В его огромном, в тысячу танапов, яблоневом саду всегда требуются рабочие руки, особенно сейчас, когда яблоки поспевают. Бай, конечно, не откажет мне в работе — ведь я наймусь за дешевую плату! А переночевать, продолжал старик, можно уже сегодня вместе с батраками, он сам укажет мне дорогу...

В бараке, куда старый виноградарь меня привел, оказалось человек двадцать батраков — все старики или очень пожилые люди. Я обратился к ним с приветствием, как

положено, и они радушно меня приняли. Когда я сказал, что хотел бы наняться на работу к Сарыбаю, один из них сказал:

— Э, сынок, что тебе здесь делать? Ты еще молод, а жизнь — дорогая штука, пропадет она у тебя тут зря. Пойди учи ремеслу подоходней, пока есть время... — И так как на лице у меня, видно, отразилось уныние, он добавил добродушно: — Ну ничего, дней десять — двенадцать поработаешь, поправишь свои дела, а там видно будет...

Он налил мне в глиняную чашку половник похлебки и сунул два куса лепешки. Я съел все это с великим аппетитом.

Потом мне показали место для ночлега, и я соорудил кровать из двух ящиков для яблок, да еще подушку — из кучи стружек. Ложе оказалось превосходным, а сон — прямо царским. Во всяком случае, тут было гораздо теплее, чем в молельне у ишана, да и суфи не будили меня чуть свет своими молитвами.

Утром я пошел к баю. Он поломался немного для виду, сказал, что яблоки — это не кирпичи, надо уметь с ними обращаться, потом изрядно поторговался и, наконец, согласился нанять меня за два пуда и семь фунтов яблок в месяц. Но яблоки, добавил он, будут всякие, и спелые и неспелые! Тут и слепой бы увидел, что он собирает меня обжулить, как котенка, и я разозлился, хотя виду не подал. Терять мне нечего, поставлю-ка и я ему одно условие, подумал я, и сказал:

— Бай-бува, мы с вами уже сторговались, но совесть не позволяет мне умолчать об одном своем недостатке. Ведь если я промолчу, сделка по шарияту не состоится... Правда, у меня только один изъян, но...

— Ну, ладно, ладно, выкладывай, какой у тебя там изъян? Что, мочишься ночью? Или припадочный?

— Нет, бай-бува, не это... Но у меня, знаете, такая болезнь с детства, что я нет-нет, а время от времени должен соврать, хоть и помимо воли. Лишь бы вы меня потом не ругали, бай-бува. А плата будет, как вы говорите!

— Ох и нечистое отродье! Хитер ты, парень, — ну ладно, ступай работай, только ври не слишком часто!..

Вот я и в батраках у бая. Работа у меня не слишком трудная: ставлю подпорки к яблоням, собираю и сушу падалицу, а иногда, когда срочно требуются хозяину деньги, грузу недозрелые яблоки на арбу — и везут их на продажу в Дарбазу или Сарыагач. Стерегу сад...

Все это бы ничего, если бы не окаянный характер самого хозяина. Такого злобного зануду я не встречал ни до, ни после! Прав был старый батрак, не советовавший мне сюда наниматься. Если вы подойдете к Сарыбаю по какому-нибудь делу, будьте заранее уверены, что легко не отделаетесь. У него есть дьявольская привычка после каждого пустяка задавать один и тот же вопрос: «А что дальше?» Скажем, вы приходите к нему и говорите: «Кандиль поспел». Кажется, ясно? Но он спрашивает: «А что дальше?» Вы, конечно, говорите: «Надо его собирать». Тут он снова выкладывает свой проклятый богом вопросик: «А что дальше?» Ну, вы говорите: «Продать надо». Все, точка? Так нет же, он не может остановиться. «А что дальше?» — говорит он. И если вы, не приведи господи, не найдете, что ответить, вас ждет самая настоящая взбучка, да еще иной раз кнутом по спине.

И ведь что удивительно: везет таким людям на редкость! Я думаю, плохо ведутся у аллаха долговые книги, отсюда и вся путаница на земле, удачи и несчастья достаются вовсе не тем, кому причитаются. Мало ли было Сарыбаю всех его богатств при такой-то душонке, так ведь еще ему привалило: выиграл недавно в какой-то азартной игре у Юсуфа-контора из Чувалачи его фруктовый сад, и дом с женской и мужской половинами, и все добро, что в доме... И так приглянулся Сарыбаю этот сад, особенно беседка в том саду, продуваемая ветерком, что он, не долго думая, женился там еще раз на молоденькой киргизке, а теперь то и дело уезжает дней на десять — пятнадцать...

Вот и нынче Сарыбай отправился к своей киргизке, а тут яблоки стали поспевать, опадают, но без хозяйского приказа никто не осмеливается начать сбор. Кончился к тому же корм для лошадей, батраки сидят второй день полуголодные, а ехать к хозяину никому неохота — до того осточертело всем его «а что дальше?». Деваться, однако, некуда, и вечером в бараке мы бросаем жребий, кому ехать к баю. И надо же, жребий выпадает мне!

Если я вам скажу, что это меня обрадовало, то возьму на душу тяжкий грех, а их и так у меня хватает. Меня даже в пот бросило, когда я представил себе свой разговор с Сарыбаем. Но делать было нечего: утром мне дали коня, и я отправился в Чувалачи. По дороге я и так и сяк примерялся к будущему разговору, все прикидывал, как я стану отвечать на его бесконечные «а что даль-

ше?», пока не вспомнил вдруг о своем мнимом изъяне, про который наплел баю. Вспомнив, я так обрадовался, что даже ладони у меня зачесались.

Когда я приехал, бай сидел в своей любимой беседке и завтракал вареной бараньей головой. Меня к нему провели, и я тихонько сел у двери.

— Ну?! — спросил он. — Чего приехал?

— Просто так, бай-ата, мы все соскучились по вас, послали меня вас навестить...

— Хорошо, хорошо, молодцы, но не зря ж тебя, наверно, послали, а по делу, говори, что там дальше?

Я понурил голову и сказал, опустив глаза:

— Это самое... Ваш нож с ручкой из слоновой кости сломался, вот я и приехал об этом сказать...

— Ну, а что дальше, как это он сломался? Что вы им, проклятые, резали, другие ножи, что ли, в хозяйстве перевелись?

— Да мы с вашей борзой шкуру снимали, нож напоролся на кость, вот и сломался.

— Что?! — сказал бай. — Как это сдирали шкуру с борзой? Ножом со слоновой... Тьфу! Почему шкуру сдирали?

— Ну, мы спешили, бай-ата, спешили содрать шкуру, как только борзая сдохла, а то шкура пропадет, вот и некогда было другой нож искать!

— Чтоб вам всем пропасть, да отчего она сдохла?

— Мяса дохлой лошади объелась.

— А кто ей дал мясо дохлой лошади, откуда еще дохлая лошадь взялась?

— Никто не давал, бай-ата, она сама накинута. Лошадь-то была не чужая какая-нибудь, ваша лошадь, гнедая с белой отметиной на лбу...

Бай совсем опешил.

— Эй, эй, парень, ты сначала подумай, потом говори... Как ты сказал, околела гнедая с белой отметиной? Спаси аллах, отчего же это она околеть могла?

— Оттого, что негодной оказалась.

— Как это негодной оказалась? К чему негодной? Что ты мелешь?

— Ничего я не мелю, оказалась она негодной воду возить. Ее, оказывается, никогда не запрягали, а тут запрягли, она повозила воду, надорвалась, да и околела.

— Ах ты, подлец, что ты чепуху порешь? — закричал бай, вскакивая с места. Лицо у него все налилось

кровью, губы дрожали.— Там столько ломовых лошадей, кто это додумался возить воду на единственной лошади, которую я откармливал для улака?! Говори, проклятый!

— Да ведь когда пожар начинается, бай-ата, кто же думает, для чего лошадь предназначена, для улака или еще для чего? Запрягли первую попавшуюся, хоть ведро воды привезти!

Пока я это говорил, бай машинально откусил кусок бараньего языка, который держал в руке, но когда мои слова про пожар дошли до его сознания, он судорожно глотнул и, видно, кусок пошел ему не в то горло. Он сидел, уставясь на меня по-бычьему вытаращенными глазами и не произнося ни слова. Я даже испугался, что вместе с бараньим языком он проглотил свой собственный. Но он просто ненадолго потерял дар речи. Наконец, его снова прорвало:

— Ты... ты что, с ума спятил? Что значит — вспыхнул пожар? Где пожар? Отчего вспыхнул?

— Да я-то в своем уме, хозяин. Пожар сначала в конюшне вспыхнул. Бедные лошади, все сгорели.

— О...от...откуда пожар в конюшне?

— Не знаю... По-моему — остальные тоже так думают,— пожар в конюшню со склада перекинулся.

— О, аллах, что за напасть на меня!! Ведь на складе ничего не было такого, чтобы огонь загорелся! Ну, была пшеница, был рис, сало было, материя, они же сами не могли загореться!

— Да вы погодите, хозяин, дайте до конца договорить. На склад огонь с усадьбы перекинулся. А уже в конюшню — со склада. Так и пошло от одного к другому...

— Значит, и усадьба сгорела?!

— Сгорела усадьба, и склад сгорел, и конюшня, и лошади погибли, и гнедая пала, и борзая сдохла, и нож сломался...

— О-о-о, горе мне, а я-то сижу и ничего не зна-аю! О-о-о... Ну, а отчего в усадьбе загорелось? А?

— От свечи, хозяин, загорелось, от свечи...

— От какой свечи, совсем ты рехнулся, что ли? Разве в моем доме зажигают свечи?! А куда девалось столько ламп, которые я привез из Ташкента, а? Куда они девались? Я же керосин бочками покупал, на целый год запасся! Чего ж вы зажигали свечи?!

— Смотрю я, хозяин, совсем вы человеку слова не

даете сказать! Где же это видно, чтобы над покойником зажигали керосиновую лампу?

Тут он так и присел. Видно, он совсем ошалел от моей брехни и не мог толком понять, на каком он свете. А я тем временем продолжал ему объяснять, как маленькому:

— Разве вы не знаете, хозяин, над покойником огонек должен гореть, чтобы ночная бабочка прилетела — в кого же иначе дух покойника войдет? Вот и наливают воду в чашку, ставят веточку яблони, бабочка как прилетит — сядет сперва на веточку, отдохнет и начинает кружить...

Бай, видно, не в силах был слова произнести. Он махнул рукой, чтоб я замолчал, и еле выговорил:

— Кто... кто умер?

Тут я закрыл лицо руками, заплакал в голос и проговорил вперемежку с плачем:

— Ваш младшенький... вай-буй!.. Бурибайвачча... О-о-ой... залез на тополь... вай-вай... хотел птенчика достать... а-а-а... у... упал с дерева и-и-и... умер, только крикнул один раз «папа»!

Я не знаю, дослушал ли меня бай до конца — но он ударил себя по голове пиалой, пиала разбилась, из ссадины на виске потекла кровь с чайниками, а он рвал свою бороду и громко плакал. Я рыдал вместе с ним. Наконец мы оба затихли, бай сидел и горестно раскачивался.

Я решил, что немножко переборщил, и надо сочинить что-нибудь утешительное.

— Ой, хозяин,— сказал я чуть всхлипывая, но уже с радостным лицом,— пусть аллах одарит вас с избытком, даже если сын ваш умер, и дом сгорел, и лошади пали, и борзая... — Бай посмотрел на меня с несправедливостью, и я, прервав себя, поторопился перейти к утешительной части.— Бай-ата, я принес вам и одну приятную весть, которая утешит вас во всех горестях.

Издав глухой ухающий звук, он спросил:

— Ну, пропади она пропадом, твоя приятная весть, что ты там еще принес, проклятый, говори?

— Ваша средняя дочь Адаль-апа родила такого сына, что он стоит дороже любого богатства!

— Что-о? — сказал бай. Глаза у него полезли из орбит.— Какая Адаль-опа? — Он на секунду замолк, потом заревел, как бык: — Моя дочь еще не замужем!

Я пожал плечами.

— Мы все тоже очень удивились. Но аллах, если захочет, может одарить и незамужнюю. А мальчик-то, бай-

ата, какой мальчик этот ваш внук! — Я выдержал мгновенную паузу и добавил скромно: — Знаете Бадала, вашего арбакеша? Вылитый он...

Этого бай не вынес: он без сознания повалился на курпачу. Я не стал терять времени и тут же уехал. Такие хорошие вести стоят не одного удара плетью, но я, по своей скромности, решил обойтись без этой честно заслуженной награды.

Спустя час после моего возвращения в усадьбу прибыл на буланом скакуне и Сарыбай. Он ехал с опущенными лапами, глядя одним глазом в небо, другим в землю. «Как бы не стряслось какой беды», — подумал я и спрятался. Домашние бая, услышав его плач и причитания, решили, что случилось какое-то несчастье. Они, тоже плача, вышли ему навстречу, Сарыбай слез с коня, начались вопли и горестные объятия. Но тут из ворот, присоединяясь к общему горю, выскочил сопливый Бурибай, младший байский сынок. С вошем «папа» он побежал к отцу, а Сарыбай так и присел, не зная, мерещится это ему или он увидел привидение. Тут все и разъяснилось — оказалось, что и лошади целы, борзая жива, и усадьба не сгорела, и даже нож с ручкой из слоновой кости лежит на месте целехонек.

Можете мне поверить, в тот день я сделал все возможное, чтобы меня не нашли — хотя искали меня усердно. Но на следующее утро я попался. Меня связали и принесли к баю, и первым делом я получил свои двадцать ударов плетью, без которых собирался уже обойтись. Потом бай спросил, задыхаясь и кривя рот:

— Ты, собачье отродье, это что за проделки?

На этот раз я всхлипывал уже непритворно, мне было больно.

— Мы с вами с самого начала договорились, бай-ата (всхлип), что я иногда (всхлип) неправду говорю! Это у меня (всхлип) с детства, я же вас предупреждал, дорогой хозяин (всхлип)...

— Ну и что, кончилось на этом твое вранье?

— Ой, нет, бай-ата, не кончилось...

— Ну, если не кончилось, то когда ты выложишь все, я совсем лишусь семьи и крова! Вон отсюда! Чтоб ты сдох! Чтоб тебе век не наедаться! Гоните этого лгуна!

Меня развязали и погнали было со двора, но я громко завопил и потребовал расчета. Я проработал у бая месяц и девять дней! Бай махнул рукой и велел со мной расчи-

таться. Он вычел двадцать две копейки, выданные на мелкие расходы, и мне насыпали в старую рогожу пуда два червивых яблок... Ну, я и этим был доволен. Кое-как взвалив на плечи мешок, я снова отправился в путь...

МЫ ПЕРЕГОНЯЕМ БАРАНОВ

Снова в путь!..

Опять скитания, опять бродяжничество!.. Я — словно птенец кукушки, выпавший из чужого гнезда. Куда теперь приведет меня судьба? Где доведется остановиться?

Я брел, сгибаясь под тяжестью заработанных яблок, не меньше тысячи раз послав проклятия баю, да и самому себе за то, что согласился на такую оплату. Прав был почтеннейший ишан, когда говорил мне: «Наличными, сынок, наличными! И носить легко, и прятать удобно...» Я бы с удовольствием спрятал куда-нибудь эту чертову рогожу, чтобы век ее не видеть, да ведь жалко так, ни за что, бросить свой месячный заработок!

Дорога между тем выбралась в холмистую местность, пахучие степные травы покрывали все кругом, багровый закат растекался по горизонту, а с востока шла темнота, и ближние склоны холмов казались черными. Вдалеке, в стороне от дороги, я увидел юрту и заторопился к ней. Около юрты было пусто, холодный очаг чернел пустым котлом. Ни собаки, ни скотины. Я постучался в дверь. «Кто там?» — глухо спросили изнутри. «Божий гость!» — сказал я. Хозяева выглянули и подозрительно оглядели меня с моей ношей — видно, приняли за вора с добычей, — однако в юрту пустили. А когда я развязал свой мешок и роздал хозяйским ребятишкам по яблоку, настроение у всех и вовсе переменилось. Никакой вор не станет переть на собственном горбу мешок с червивыми яблоками! Перед мной положили половину лепешки. Я пожевал ее — мне что-то и есть не хотелось от усталости — и заснул, положив яблоки под голову вместо подушки.

Утром я снова потащил свой мешок, разузнав у хозяев юрты ближайшую дорогу на Сарыагач. Добрался я туда в полдень, чуть не падая от усталости. Как назло это был базарный день, с округи навезли всякой всячины, и мои яблоки, как я ни старался, особым спросом не пользовались.

— Подходите, не пожалеете! — орал я, довольный,

врочем, уже тем, что яблоки лежат на земле, а не на моей шее.— Продам и уйду! Подходите! Кто съест это яблоко, тому не нужна лепешка! Продаю только тем, кто разбирается в дарах сада! Подходите, не пожалеете!

Еле-еле я их распродал, а когда подсчитал деньги — оказалось шесть таньга и мири! Я и не рассчитывал на такую сумму!

Хорошо бродить богачом по базару. Совсем по-другому прицениваешься, когда знаешь, что в самом крайнем случае можешь купить все, что попало тебе на глаза или на язык. Минут десять я торговал у какого-то парня железную ванну, но давал ему очень мало и наслушался крепкой брани. Потом я долго приценивался к пальто с бобриковым воротником, даже примерил его под конец, но оказалось, что в нем мог бы поместиться не только я сам, а и все мои будущие дети, сколько бы их ни появилось на свет. Хозяин пальто опять же на меня здорово разозлился, хотя он с самого начала прекрасно видел, какого я роста и толщины, а уж размеры пальто были ему и до того известны.

Потом я пошел на скотный базар — что-то меня туда потянуло — и начал прицениваться к большому круглолобому барану с рогами, закрученными, как чалма у воспитанника медресе. И вдруг мелькнула передо мной какая-то вроде знакомая физиономия. Я огляделся. Около стада баранов, связанных одной веревкой, стоял парнишка в казахском чекмене и вывернутой наизнанку меховой шапке. В руках он держал дубинку с утолщением на конце. Ей-же-ей, никто из моих друзей такой одежды не носил, и все же очень знакомо мне это лицо, от пыли и солнца ставшее похожим на кошму, и эти карие глаза под пыльными ресницами, которые и сами-то вдобавок всматриваются в меня с надеждой...

— Аман!! — завопил я и кинулся к нему. Он заорал еще громче моего и побежал навстречу. Мы обнялись, похлопали друг друга по плечам, — потом уселись рядом и стали друг друга наперебой расспрашивать — ведь мы расстались, удирая тогда от пастухов, да так и не знали, удалось ли другому избежать их мести.

Аман, оказалось, еле спасся, совсем было его нагнали, но тут один из пастухов поскользнулся на куске свежего лошадиного помета, да и упал, второй на него палетел, вот Аман и выиграл расстояние. Потом он бродил по кишлакам, все боясь наткнуться на этих пастухов, а про домлу, как и я, он больше ничего не слышал, да, по правде ска-

зять, и не старался. Хотел было отправиться домой, да побоялся прийти с пустыми руками, решил сперва к двоюродному дяде в Чимкент навеститься. Но, на беду, дядя за месяц до того умер, и Аман волей-неволей нанялся к богатому баю-скотоводу, отару которого встретил в дороге. А теперь уж так он рад, так рад — и одет он, и сыт, а пастухи работают у бая за двух овец и одного козла в год, так что, если овцы принесут двойни, Аман, глядишь, и сам заделается хозяином большой отары. А сейчас они как раз гонят отару в Ташкент, на базар, там он и дома побывает, отцу расскажет, а сегодня они по дороге остановились в Сарыагаче, благо базарный день, авось дадут подходящую цену, не надо будет и в Ташкент гнать...

Я позавидовал Аману — надо же, как ему повезло, не то что мне с моими червивыми яблоками! Я ему, конечно, про яблоки рассказывать ничего не стал, показал только свои деньги да еще прибавил, что главный капитал уже прокутил, а то мог бы и я баранов занять. Словом, я не дал ему повода передо мной загордиться, а потом сказал, что его работа мне тоже по душе, да и в Ташкент пора, хорошо бы он замолвил словечко своему хозяину, чтобы и меня с ними взяли, а уж я послужу честно и бескорыстно. Я видел, что Аману моя просьба понравилась. Во-первых, он и вправду обрадовался встрече и вдвоем было бы веселее, а во-вторых, ему приятно было выступить в роли важного ходатая.

— Хорошо! — сказал он, сдвинув брови. — Вот доберемся до Кок-Терака, я хозяина попрошу.

Но вышло все еще лучше, ему даже и просить не пришлось. До вечера я помогал ему присматривать за отарой. В эту пятницу в Сарыагаче был большой спрос на коз, хозяин Амана всех своих коз продал, но бараны остались — семьдесят три штуки. К вечеру бай, садясь на своего скакуна, сказал Аману:

— Твой друг, видно, хороший парень, и скота осталось не так уж много. Перегоните-ка баранов к утру на кок-теракский базар, вдвоем вы запросто управитесь. А я вперед поеду.

Мы радостно согласились, поклонились баю, прижав руки к груди. Он хлестнул коня и ускакал, а мы загнали баранов в сарай, закусили и легли отдохнуть до вечера. Когда взошла луна, мы отправились в Кок-Терак.

Мы передвигались, посвистывая и окликаая баранов, то и дело обегая отару и следя, чтобы она не разбрелась.

Не прошли мы и версты, как я понял, что нам предстоит не легкая почная прогулка, а тернистый путь, полный мучений. Сколько раз я говорил «глуп, как баран», но только теперь увидел, что все, кого я так ругал, и вполовину не были так глупы, как эти крутолобые тупицы. Если что может сравниться с бараньей глупостью, так только баранье упрямство. Первому барану на земле надо было здорово изловчиться, чтобы при таком уме заполучить еще и такой норовистый характер. По-моему, чего-нибудь одного было бы уже вполне достаточно. Впрочем, пока баран был один — а сначала он наверняка был один, — это жуткое сочетание было еще не очень заметно. Так оно осталось и до сих пор: пока вы с бараном наедине, вы еще можете кое-как с ним поладить. Но когда баранов становится много, а вы по-прежнему один, они превращаются в настоящих чертей. Теперь, кстати, я понимаю, почему у шайтана на голове бараньи рожки. В преисподней, надо полагать, так и поступают: оставляют грешника наедине с целым стадом баранов.

Единственный, кто по-настоящему может с ними управляться, — это, как известно, вовсе не человек, а козел. Наверное, потому, что своим упрямством он и их в состоянии перешибить: пока они говорят ему одно слово, он им — десять. Козла они слушаются, как родного отца, хотя, кстати сказать, родного отца они вовсе не слушаются, даже если и знают его в лицо. Без козла они прутся, куда в голову взбредет, — пастуху приходится садиться на ишака, ехать впереди стада и блеять по-козлиному. Но у нас не было ни козла, ни ишака. К тому же я, при моей малой опытности, блеял так, что не мог бы обмануть даже самого глупого барана.

Кое-как, с божьей помощью, мы все же передвигались, а ночь вокруг стояла просто замечательная. Кругом расстилалась холмистая степь, склоны холмов серебрились под луной, а черные тени казались бархатными. Сама луна плыла в небе, золотая и крутолобая, и упрямо пробивалась сквозь облака, теснимые ветром. Ветер пробегал по земле, шурша травами и неся ароматную прохладу. Словом, такая была ночь, что даже на баранов она подействовала. Они шли спокойно по дороге, только изредка негромко блеяли, и то не из протеста, а скорее в знак согласия. Вскоре дорога вывела нас к железнодорожному полотну и пошла рядом с ним, сопровождаемая негромким пением

телеграфных проводов. Мне тоже захотелось петь, и я затянул, взяв сразу высокую ноту.

— Хорошо поешь,— сказал Аман мечтательно,— давно я не слышал знакомого пенья...

Подхлестнутый похвалой, я забирался все выше и выше, на тонкие ноты, словно в самое поднебесье, чтобы и там меня услышали и небо потряслось до краев. О чем я пел, толком не помню, но, наверное, о ночи, о луне, о дальней дороге, о рельсах, уходивших вдаль, как две серебряные нитки, и где-то далеко впереди сливавшихся в одну, как сливаются в одну все земные дороги...

А бараны между тем то и дело забирались на насыпь, и козла нам по-прежнему здорово не хватало. Впереди показался небольшой кишлак, словно прилепившийся к железной дороге, проселок пошел по кишлачной улице, меж низких дувалов, и мы погнали баранов вперед, а улица снова вышла к железнодорожному полотну. Аман кивнул на рельсы:

— Вот благодать, кто поездом едет,— сказал он и добавил мечтательно: — Эх, сесть бы в поезд и отправиться далеко-далеко...

— Да, здорово бы,— сказал я.— Иметь бы денег без счета и разъезжать себе! В Каунчи поехал, в Туркестан, в Чиназ, а то хоть бы и в Москоп, и никто тебе ни словечка не скажет, будто так и надо. А ты едешь себе и едешь...

И тут, словно в сказке какой, действительно послышался шум поезда! По рельсам неслись два огненных глаза, стремительно приближаясь, и мы с Аманом, все еще во власти мечтаний, так и усталились на них, забыв обо всем. Нам вдруг показалось, что наши мечты вот-вот сбудутся и, уж во всяком случае, можно будет наглядеться вдоволь на поезд, который мчится прямо перед твоим носом, а это не каждый день выпадает мальчишкам вроде нас. Поезд оказался, правда, вовсе не пассажирский, а товарный, зато паровоз у него был не один, а целых два, а уж вагонов к ним было прицеплено — больших красных вагонов — столько, что и конца не видать.

Паровозы пронеслись мимо, и вдруг оба разом оглушительно загудели! Чего это им вздумалось, я до сих пор не понял, только загудели они так, как будто миллион быков среди ночи решил переменить хозяина и заявил об этом во всеуслышание. Округа затряслась от рева, и, по правде сказать, мы с Аманом тоже. Уж больно неожиданно пришла этим паровозам блажь в голову.

А что до наших баранов, так они и вовсе сочли, что настал конец света и надо срочно искать дорогу в другое место. Некоторые, прижатые к дувалу, со страху полезли вверх, как кошки, но до кошек по этой части им было далеко, и они посыпались обратно, устроив такую свалку, какой в здешних местах наверняка еще не видывали. Другие помчались назад по темной улице. Третьи, совсем перестав соображать, сунулись было на насыпь, откуда как раз им и следовало бежать, но, к счастью, вовремя скатились назад. Словом, они устроили такую игру в прятки, что, когда поезд наконец прогрохотал мимо и промчался, тяжело стуча, последний вагон с прикрепленным сзади красным сигнальным огнем, похожим на раскаленный от злости глаз шайтана, — мы нашего стада уже не увидели.

Пыль валила столбом, словно дым из печи для обжига кирпича, да слышалось поблизости жалкое перханье слабых овечьих глоток. Это были несколько охромевших и сунгных овец, которые прижались к дувалу — все, что осталось от нашей отары.

Мы в отчаянии побежали в разные стороны, окликая разбежавшихся баранов. В темноте я наткнулся на одного и поволок его назад. Из пыли вынырнул силуэт Амана.

— Где же вы, чтобы вы сдохли! — кричал Аман плачущим голосом — и тут наткнулся на меня. Оба, разом, мы хрипло спросили друг друга:

— Где бараны?

Аман зло взглянул на меня, отвязал от пояса веревку и связал вместе остатки отары. Потом мы снова побежали по кишпачной улице. Дувалы кое-где пообвалились, бараны, видно, перепрыгивали их тут, как горные козлы. Мы стали лазить по дворам, рискуя нарваться на собак. Это было все равно что искать муравья на черном паласе, но мы лазили около трех часов и нашли пять баранов в одном дворе, трех — в другом, еще несколько — в развалинах какого-то заброшенного дома, больше десятка — в посевах... Мы совсем выбились из сил, а передохнув немного, стали пересчитывать отару. Не хватало семи баранов. Я посмотрел на Амана, он — на меня. Глаза его сквозь слой пыли блестели в темноте, как бусинки, вмазанные в глинобитную стенку.

— Что же теперь делать? — сказал он.

Я чуть не плакал:

— Не рассчитаться нам за семь баранов, даже если два года вдвоем работать!..

— Пошли, поищем еще.

Начинало светать. Мы перебрались через насыпь, увидели там и сям катышки овечьего помета, пошли по ним, как по следам, и у маленькой речки неподалеку обнаружили еще двух беглецов. Остальных не было, а искать — времени уже не оставалось: до Кок-Терака немалый путь, и хозяин ждал нас на базаре.

В дороге одна овца начала отставать от стада, бляла, коротко кашляла и посверкивала глазами. Как мы ни старались подогнать ее к остальным, она не поддавалась, то и дело расставляя ноги, точно собираясь присесть.

— Эй, парни! — крикнул ехавший нам навстречу казах на бурой лошади. — Не подгоняйте свою овцу, она у вас, видно, скоро околится!

Мы сперва не поверили, но у овцы, перепуганной поездом, действительно начались преждевременные роды! Только этого нам неоставало... Будь он неладен, этот ублюдок, поторопившийся на свет раньше времени! Однако у бедняги овцы прямо глаза лезли на лоб, она стонала и корчилась, и у нас пропала вся злость. Отогнав баранов, мы стали, как могли, принимать роды. Когда у овцы начались потуги, мы стопали и тужились вместе с ней, крихтя так громко, словно это нам предстояло произвести на свет ягненка. Наконец, мы разродились. Овца облизала ягненка с ног до головы, и мы, может, сделали бы то же самое, но любвеобильная мамаша явно нас ревновала, да и времени на семейные нежности не оставалось: мы и так рисковали попасть на базар к закрытию.

Хотя овца нас и задержала и вдобавок мы должны были теперь вместо нее пести ягненка, завязав его в поясной платок, управляться со стадом стало куда легче. Только что разродившаяся овца бежала без устали вслед за тем из нас, кто нес ягненка, не отставая ни на шаг, а за ней кучей следовало остальное стадо. Так что теперь можно было не сетовать на отсутствие вожака, и мы поняли, чем берет козел — уверенностью в себе. Бараны всегда пойдут за тем, кто шествует с достаточно уверенным видом, куда бы он ни шел, хоть в пропасть.

Если овца вдруг теряла своего новорожденного из виду, мы бляли вместо него. Может, это у нас и не так уж здорово получалось, но ведь ягненок только что родился, и у него тоже был не бог весть какой опыт. Так мы добрались до реки.

Мы заранее знали, что предстоит переправляться че-

рез реку — то есть Аман знал и сказал мне, — но у нас столько было хлопот ночью, что мы забыли об этом и теперь прямо растерялись. Попробуй заставить всю эту подлую ораву лезть в воду по доброй воле! И на руках их всех не перетащить — речка была хоть и не очень широкая и бурная, но все-таки ничего себе, шутить с собой она бы не позволила. Мы посоветовались и решили снова подзаработать на материнской любви. Аман разделся, взял на руки ягненка, показал его овце и, громко блея, стал переходить реку вброд. Речной шум ему помогал, но он и сам блеял неплохо, будь я бараном, я бы поверил. Овца-мать задержалась на берегу, озираясь в панпке, но материнское чувство одержало верх: она бросилась в воду и поплыла вслед за Аманом. За ней бросились остальные. Я подталкивал самых трусливых, спихивая их в воду, и скоро вся отара была в реке. Бараны плыли, задрав головы, как мышь, попавшая в молоко. Иногда течение их сносило, мы их вылавливали. В конце концов счастье нам улыбнулось: переправа закончилась без новых потерь.

Мы отправились дальше. Взошло солнце. Впереди показались знакомые нам контуры Кок-Терака.

Бараны устали, бока у них запали от голода. Мы тоже совсем изнемогли и проголодались как волки, но в первую очередь надо было позаботиться о баранах — продать-то предстояло их, а не нас. Надо было их хоть немного пасти, чтобы на базар они пришли с надувшимся брюхом, иначе покупатели к ним и не подойдут. Мы как раз шли мимо поля, поросшего травой. Посоветовавшись, мы остановили баранов и пустили их на траву, а сами прикорнули неподалеку. Расстелив халаты, мы молча лежали, присматривая за пасущейся отарой, и раздумывали, как будем отвечать за пропавших баранов. Чтобы легче было думать, мы прикрыли глаза... и проснулись от громкой ругани!

Над нами стояла огромная буланая лошадь, а на ней, размахивая плетью и понося нас на чем свет стоит, выштался толстый мужчина. Аман вскочил, и на спину его обрушилось несколько ударов. Я опомнился позже, но учел его промах и, увернувшись, избежал его печальной участи.

Человек продолжал отчаянно ругаться. Его длинная с проседью борода гневно развевалась, провалившийся нос был похож на тесно пришитую к ватному халату пуговицу. Потом мы узнали, что это был знаменитый бай по имени Азиз-курносый, хозяин окрестных земель. Впрочем, о

последнем мы сразу догадались, оглядевшись: наши бараны разбрелись по хлопковому полю и за милую душу поедали хлопковые кустики.

Подгоняемые руганью, отчаянием и мрачными предчувствиями насчет того, чем грозит нам новая беда, мы кинулись собирать баранов. Они успели уже как следует распорядиться частью будущего урожая. Когда мы вывели с поля своих бедолаг, бай кликнул издольщиков, работавших неподалеку, и приказал гнать баранов в свою усадьбу!

Мы стали молить его, цепляясь за стремя:

— Бай-ата, мы бедные сироты, пощадите нас, дайте заработать свой кусок хлеба, век будем за вас молиться...

Но бай, продолжая самозабвенно ругаться, огрел каждого из нас плетью и поехал за отарой. Мы потащились вслед, Аман нес ягненка. Подъезжая к усадьбе, бай замешкался, мы его догнали и стали молить снова:

— Бай-ата, смилуйтесь, ведь сегодня базарный день, нас на базаре ждет хозяин, вы его, наверно, знаете, если мы не приведем баранов, он нас убьет до смерти!..

Бай покосился на нас:

— Кто ваш хозяин?

— Караходжабай, да будет над вами милость аллаха...

Бай как будто немного смягчился и снова глянул на нас краем глаза.

— Ладно, я поговорю с вашим хозяином... — он сплюнул, — скажу ему... — он снова сплюнул, — ...чтобы вас, негодяев, как следует проучил! Нарочно сегодня на базар съезжу! Я ему скажу, как вы, подлецы, разбазариваете богатство правоверного мусульманина, нажитое с таким трудом! Наверное, и с самими баранами Караходжи вы так же обошлись! — Мы даже задрожали от испуга, так ловко он попал в точку. — А ну! — рявкнул он что было силы. — Забирайте своих баранов и гоните на базар!!! Уже полдень, а вы, собачье отродье, дрыхнете на холодке! А-а! — И он снова замахнулся плеткой, но мы не стали дожидаться, пока плетка опустится на нас.

Вознося аллаху благодарность и моля его о новых милостях, мы погнали баранов на базар.

Хозяин ждал нас, весь кипя от ярости. Едва мы подошли, он на нас накиннулся и стал ругать последними словами, но мы сносили все это терпеливо, вернее, мы просто оцепенели, представляя себе, что будет, когда Караходжабай обнаружит недостачу. Он велел связывать баранов по десять. Мы принялись за это, а сердца у нас дрожали мел-

кой дрожью, как листья тополя. Мы уже связали три десятка и кончали четвертый, когда Аман вдруг подтолкнул мне одиннадцатого барана и подмигнул. Я понял: ему что-то пришло в голову. Когда я потащил новую связку пленников к остальным, Аман вдруг заорал на меня:

— Ах ты, дурак припадочный, и считать-то не умеешь! Смотрите, бай-ата, он, оказывается, связывал по одиннадцать баранов вместо десяти! Ах ты, идиот, из-за тебя бай-ата мог убыток понести, дубина ты чертова, недоносок проклятый!

Бай сразу клюнул на это, мигом пересчитал баранов в той связке, что я вел, выругался и повернулся, чтобы пересчитать первые связки. Тогда Аман изо всех сил дернул меня за рукав, мы отскочили в сторону — и мгновение спустя нырнули в базарную толпу!

МЫ ССОРИМСЯ

Когда удираешь, нет ничего лучше, чем нырнуть в густую толпу. Ни в каком лесу, ни в каком запутанном лабиринте, ни в какой темной пещере нельзя спрятаться так, как на ровном открытом месте, посреди базарной площади, в людской толчее. Я думаю, это не оттого, что люди так уж похожи друг на друга, и, уж во всяком случае, не потому, что они прямо-таки жаждут помочь вам спрятаться. Наоборот, этого иногда легче добиться от дерева или камня, а толпа-то как раз готова наброситься на любого беглеца и устроить ему веселые похороны раньше, чем разберется, почему он бежит и кого надо по-настоящему ловить — беглеца или погоню. Нет, секрет скорее в том, что в толпе человек дуреет — от шума, тесноты, обилия ему подобных — и обвести его тут вокруг пальца проще, чем приманить котенка клубком. Иначе зачем бы на базаре собиралось столько мошенников?

Когда вы от кого-нибудь бежите, вам в толпе и прятаться не надо, стоит только внушить ближайшим соседям, что беглец находится в другой стороне. И если вы держитесь достаточно уверенно, они скорее сочтут этим самым беглецом свою родную бабушку, чем вас.

По правде говоря, человек в толпе немножко похож на барана в стаде: если аллахом отпущена ему некая толпка глупости, тут он выжимает из своего запаса удесяттеренную порцию.

Вернее сказать, попав в толпу, человек как бы лишается собственного зрения — ведь за чужими спинами мало что видно — и подхватывает любые крохи чужой осведомленности, какие ему перепадают, да и своими делится охотно. А так как в толпе все видят одинаково — одинаково мало, — то к домыслам одного присоединяются домыслы всех прочих, и в результате каждый становится обладателем такой чепухи в голове, какой в одиночку он бы ни за что не приобрел.

Итак, мы нырнули в толпу и стали пробираться в ней с самым независимым видом. Аман тем временем снял с себя меховую шапку, чекмень и сунул их под мышку. Выбравшись из толчеи на другом конце базара, мы очутились на большой дороге, идущей через весь город, но, поскольку это было для нас небезопасно, свернули в узкую улочку и тупичками, задами каких-то дворов, перелезая через дувалы, добрались до заброшенного садика и прилегли отдохнуть.

Едва отдышавшись, мы почувствовали голод. Не мудрено, мы не ели со вчерашнего дня. Однако сходить куда-нибудь хоть за лепешкой боялись, да так и пролежали час или больше, пока желудки наши окончательного не взбунтовались.

Мы кое-как выбрались из города и пошли наугад, полем, надеясь встретить каких-нибудь добрых людей. Хоть мы и потеряли пять баранов и сбежали от хозяина без гроша, хоть и намучились за ночь и устали, один аллах знает как, я был в бодром настроении и чувствовал себя свободным от всяких оков.

Но Аман был мрачнее тучи. Он не разговаривал, а на мои вопросы отвечал насупившись, не глядя, и веки его нависали, как крыша над покосившимся айваном. Мне надоел его хмурый вид, и я попробовал его развеселить, но он и вовсе разозлился.

— Молчал бы уж! — сказал он. — Тебе что, а я из-за тебя двух баранов и козла лишился! Пока тебя не принесло, все дела шли лучше не надо. За тобой беда по пятам ходит. Мало мне было того покойника, так нет, еще раз с тобой связался! У-у, неудачник чертов!

Я тоже вышел из себя.

— А ты кто? Ишь, счастливчик конопатый выискался! Думаешь, я мечтал с твоими баранами породниться? Да если б не я, ты бы не пять, а двадцать пять баранов потерял! Кто за ними по всем дворам лазил? Кто у овцы

ягненка принимал? Может, все ты? Да пока бы ты до своего козла дослужился, у тебя бы еще целая отара сбежала! Понял?

— Я-то понял, а ты сейчас тоже поймешь...

— Что это я пойму?

— Поймешь, как носом арык роют!

— Ты, что ли, мне покажешь?

— Я покажу!

— Ну давай, покажи!

— И покажу!

— Давай, давай, твой нос только на то и годится!

Дело у нас, пожалуй, дошло бы и до драки, не будь мы такими усталыми, голодными и не припекай солнце так сильно. Давно перевалило за полдень, а мы по-прежнему шли пустым полем, вдоль межи. Наконец, мы увидели нескольких человек, копавших морковь. Подойдя, мы поприветствовали их и спросили, как выйти на дорогу. Один из них, старик с добрым морщинистым лицом, оглядел нас внимательно и спросил:

— Это на какую же вам дорогу, дети мои, не на базар ли?

— Нет, ата,— с готовностью сказал Аман,— мы с базара!

— А-а, понятно,— сказал старик и утвердительно покачал головой, словно соглашаясь с собственными мыслями.— Но уж если вам не повезло с базарными делами, дети мои, куда вам сейчас торопиться? Или вас где-нибудь ждут? Оставайтесь-ка лучше, да и помогите нам копать морковь. Поработаете день-другой, мешок моркови заработаете — пригодится на мелкие расходы...

Лучшего мы бы и сами не придумали! У нас слюнки потекли при виде моркови, крупной, ядреной и такой, наверное, сладкой и хрустящей. А этот старик — прямо ясновидец! Как он узнал, что нам на базаре не повезло?

— Спасибо, ата,— сказал я.— Нам и правда торопиться некуда. Идем работу искать...

— Э, дети мои, работу не ищут, она сама лезет из-под ног. Подними палку да переложил на другое место — вот уже и работа. Ну, давайте, принимайтесь копать, бог даст, будет и вам и нам.

Мы бросили халаты на грядку и принялись за дело. Морковь, черт ее побери, уродилась на редкость, самая маленькая — с точильный брусочек. Выкопав немного, мы с великим наслаждением сгрызли несколько штук, они и

впрямь были сладкие как мед. Так и пошло: несколько взмахов кетменем, несколько морковок в мешок дехканина, и одна — в нашу пользу. Наши пустовавшие «мешки» тоже быстро наполнялись, особенно Аман старался.

К вечеру приехал хозяин поля. Увидев его издали, восседающего на лошади, мы принялись копать с удвоенным усердием. Подъехав, он с любопытством поглядел на нас и расспросил старика. Старик (он был тут за старшего) стал нас нахвалять:

— Сам бог послал нам этих ребят, хозяин, да будет им счастье в жизни. Шли они мимо, но уважили мою просьбу и с полудня вдвоем целую гору моркови накопили! Бай, слушая, одобрительно кивал головой.

— Ну, если так, — сказал он, — приведите их в усадьбу, пусть поужинают. — Он повернул коня и добавил, обернувшись: — Таким честным парням любой даст кусок хлеба!

После его отъезда мы проработали недолго — стемнело. Морковь погрузили на арбы. По дороге в усадьбу Аман то и дело поглаживал живот, и лицо у него стало бледное, насколько можно было разглядеть в темноте.

У хозяина на ужин была машхурда. Он расщедрился и вынес похлебку в огромной миске, полной до краев. Деревянные ложки, которые достались нам с Аманом, были вдвое больше обыкновенных, почти как половники, а такой вкусноты нам давно есть не приходилось. Мы так налегли на машхурду, что другим просто ходу не давали: проглатывали целый хауз, пока остальные доносили до рта маленькую лужицу. Громадная миска опустела так быстро, что никто и опомниться не успел.

Люди, копавшие вместе с нами морковь, оказались соседями бая — участниками хашара. После ужина, прочитав короткую молитву, они разошлись по домам, а мы остались ночевать у хозяина. Он указал на место в проходе к хлеву: там стояла старая кровать с веревочной сеткой. Аман давно мечтал поспать на кровати. Он был старше меня, и я уступил ему это роскошное ложе — без особого, впрочем, сожаления. Он постелил на сетку овчину и лег, укрывшись чекменем. Я расположился на земле.

Мне казалось, я мгновенно усну — не тут-то было. Аман так скрипел кроватью, что, едва задремав, я сразу открывал глаза. Пометавшись, как рыба, в своей сетке, он вставал и со стоном бежал куда-то во двор. Потом возвращался и опять долго скрипел, пристраивая живот. Но че-

рез две-три минуты вся музыка начиналась сначала. Морковь была сорта «мушак» — самого сладкого и коварного сорта. Возможно, она не поладила с машхурдой, и теперь они дрались в кишках у Амана, как бешеные кошки, только клочья летели. Не знаю, кто из них был ближе к победе, но Аману явно доставалась вся горечь поражения. А я — то ли не проявил такой жадности, то ли просто желудок у меня уже ко всему привык за время бродяжничества, — я не чувствовал никаких неприятностей. Морковь и машхурда улеглись во мне так мирно, словно их одна мать родила.

Утром мы встали чуть свет, умылись в арыке и стали дожидаться хозяина. Аман был бледен, то и дело морщился: он бегал взад-вперед до самого рассвета.

Вскоре хозяин вынес в кумгаше чай, заваренный кожицей джиды, и две лепешки.

— Ну, что дальше будете делать? — спросил он. — У меня в усадьбе есть еще несколько работников, они вчера в степь за соломой уехали. Может, вы останетесь? Уже осень на носу, а там, глядишь, зима, зимой и работы почти нет. Будете присматривать за скотом, вот здесь костер разводить да отлеживаться в свое удовольствие. Еды хватит, одену я вас, как франтов, на мелкие расходы дам... Ну, а другие деньги — уж извините: сами понимаете...

Я покосился на Амана и сказал:

— Спасибо, хозяин, мы подумаем...

Когда он ушел в ичкарн, мы посоветовались. Может, и вправду согласиться? Лучшего места, пожалуй, не найдешь, а с теми деньгами, что у нас есть, до Ташкента не добраться. Пока останемся, решили мы, а там поглядим.

— Если так, — сказал хозяин, когда мы сообщили о своем согласии, — за чаем особенно не расслаивайтесь. Один из вас останется в усадьбе, другой пойдет корову пасти на поле, где урожай собрали. Корова у меня наследственная, от отца покойного досталась, да продлит аллах ее дни. Хорошая корова, за ней как следует присмотреть надо. Ну, а тот, что останется, будет подавать чай, если гости придут...

Аману ужас как захотелось остаться в усадьбе. Он очень любит слушать под шум самовара, о чем говорят гости, сказал он. Можно услышать столько полезного, сколько за год в медресе не узнаешь. Зная, как он бегал всю ночь, я сообразил, что если морковь с машхурдой еще не

помирились, пасти корову ему и впрямь будет неважно. Я сжался над ним и сказал, что пойду с коровой.

Хозяин привел меня в хлев, показал небольшую рябую корову и велел ее вывести. Она вышла с таким покорным видом, что мне ее даже жалко стало. Бедная скотинка, подумал я, она так и на бойню полетится. Я вел ее за поводок, она следовала за мной, как послушная девочка. Мы отошли от усадьбы на порядочное расстояние и приблизились к зарослям камыша. Тут она немного замедлила шаг. Я обернулся. Она попятилась назад. Видно, устала, бедняжка, подумал я, и тихонько хлестнул ее прутиком. Тогда она грохнулась на землю, глаза у ней полезли на лоб, изо рта пошла густая пена, и вся она затряслась и задрогала ногами, как припадочная! Я сильно испугался — может, я попал прутиком по какому-нибудь больному месту, или ее вообще от рождения не били, или она сама собой подыхает? Только что я буду делать, если она сейчас отдаст концы? Я растерянно бегал вокруг злосчастной скотины. Позвать на помощь? Так ведь никого поблизости...

Корова продолжала биться, и я решил уже бежать за хозяином в усадьбу, когда она вдруг вскочила и помчалась, задрав хвост. Я на секунду остановился с разинутым ртом, потом кинулся вслед, но где мне было ее поймать! Недаром у нее было на две ноги больше, чем у меня. Она неслась, как два паровоза сразу. Чтоб не потерять ее хотя бы из виду, я бежал, не обращая внимания на впивающиеся в ноги колючки.

«Наследственная корова, от покойного отца досталась», чтоб тебя серые вороны растерзали! Неожиданно она остановилась на почтительном от меня расстоянии и принялась как ни в чем не бывало щипать травку. Я выругался и стал медленно к ней подходить. Когда я оказался шагах в пяти, она опять взбрыкнула, как будто овод впился ей в самое сердце, и помчалась дальше. Отбежав, она с прежним невинным видом продолжила свой завтрак. Проклятая тварь просто меня дразнила! Я лег на траву, задрав ноги кверху, словно окружающее больше не имело ко мне ни малейшего отношения. И что вы думаете? Дьявольская скотина неслышно подобралась и боднула мою задранную ногу! Ну, это уж чересчур! Я вскочил и помчался за ней, как ветер, ухватив ком земли. Злость прибавила мне скорости, я догнал мучительницу и метнул свой снаряд, целясь ей в тощий зад. Попал я как нельзя более метко. Она

прямо-таки зарычала, повернулась ко мне мордой и пошла в атаку, выставив рога...

Так мы гонялись друг за другом до вечера, и я ни разу больше не смог ухватить ее за поводок. По-моему, за этот день я пробежал расстояние большее, чем от того поля до Ташкента. Беги я весь день в одном направлении, я мог бы уже оказаться дома. Я думаю, если эта корова перешла к моему хозяину по наследству, так только потому, что из упрямства решила пережить его покойного отца. А скольких людей она, наверное, уморила за свою жизнь! Страшно себе и представить! Только после захода солнца она слегка присмирела, и я, собрав последние силы, ухватил ее за поводок и потащил к усадьбе. Сколько мне пришлось вытерпеть, пока я привязал ее в хлеву, лучше уж и не рассказывать — вы не поверите.

Когда я пришел, Аман лежал на своей кровати. Вид у него был кислый. На мне тоже, верно, лица не было, но я решил бодриться.

— Ну как дела? — спросил я у Амана.

— Э, не спрашивай, — ответил он. — Объелся!

— Чем это ты объелся?

— О-о, тут такое было! Без тебя пришли гости, а хозяйки, оказывается, такие искусные поварахи — чего они тут ни наготовили: и манты, и тандыр-кебаб, и лагман, и халву... Пересчитать и то терпения не хватает. Ну, я, знаешь, между делом того отколупну, другого попробую, и так все время, чуть не лопнул. А потом гости разошлись, хозяин решил пойти долги получить с нескольких соседей. Дал мне счета под мышку, ну, мы и пошли. Заходим к одному, заходим к другому, все приглашают: «Садитесь, отведайте!» Они меня за байского писаря приняли и давай угощать! Не хотел я, но отказываться неудобно. Там и плов, и шурпа... Тьфу! И вспоминать тошно, не говори со мной о еде!

Пока Аман рассказывал, у меня просто слюни текли. Некоторые из блюд, что он поминал, я и не пробовал-то никогда, только названия слышал. Вот повезло человеку! Ну, ничего, авось и завтра будет день не хуже, надо только спровадить Амана с этой коровой. Пусть она сдохнет, эта припадочная, а я буду себе ходить со счетами под мышкой...

— А твои дела как? — спросил Аман.

— Мои-то?.. Во! Здорово!.. Эта корова, ну, чистая благодать, такая смиренная, такая послушная, отведаешь ее за

поводок, поставишь на меже, она щиплет травку, с места не сойдет, будто привязанная. Не видал еще такой скотины! Когда трава кончится, посмотрит краем глаза: «Можно дальше пойти?» Я ей рукой махну: «Иди, мол!», а сам валяюсь в тенечке. Да что! Самое жаркое время я под талом у арыка проспал, просыпаюсь, а она стоит на том же месте, кругом ни травинки, ждет, пока я глаза открою... Не корова, а одно удовольствие. Хорошо, что я тут не остался, измотаешься небось с этими гостями. Завтра опять пасти пойду.

Аман глядел на меня завистливым взором, издавая короткие восклицания. Изредка он хватался за живот и постанывал. Тут нам вынесли чашку холодной похлебки с простоквашей. Я подвинул чашку к себе, понимая, что Аман после таких редкостных блюд на это и смотреть не станет. Но он заметил небрежно:

— Ты мне оставь немного, мне эта штука будет кстати. Я сегодня такой жирнящей пицци наелся, все тяжелое, может, похlebка разбавит немного густоту в желудке. О-ох, прямо встать не могу! О-ох...

— Оста-авлю,— сказал я и, вспомнив про свое вранье, добавил: — Я и сам не такой уж голодный, проспал целый день.

Утром хозяин опять вынес две лепешки и кумган с чаем из джиды.

— Ну,— сказал он,— кто сегодня чем займется?

— Сейчас решим,— сказал Аман и зашептал мне: — Так и быть, я пойду с коровой, а ты имей совесть, останься вместо меня на угощение, а то у меня на второй день живот лопнет. Понял?

— Понял,— ответил я тоже шепотом, скрывая радость: ведь мне предстоял день, битком набитый едой, а ему — моя корова!

— С коровой я пойду, бай-ата,— сказал Аман и снова зашептал мне: — Ты только не забудь мой совет: когда хозяин перед гостями вынесет тебе пол-лепешки с сюзьмой, смотри не ешь. Это он думает: не накормить его, так он при гостях пожадничает, осрамит меня, что ни говори, голытьба. Ты смотри — поблагодари его, а от лепешки откажись, сыт, мол...

— Спасибо, что сказал, братец,— ответил я и, чтоб не остаться в долгу, тоже хотел дать ему полезные советы насчет коровы — не отпускать поводка или привязать ее к чему-нибудь... Но я испугался, что он заподозрит нелад-

ное и откажется идти в поле, и сказал вместо этого: — Я вчера весь день на голой земле пролежал, теперь поясница болит. Ты бы захватил с собой кровать. Там камыши рядом, поспишь в холодке как следует.

Хозяин тем временем ушел в ичкари. Аман отправился в хлев, отвязал корову, взвалил кровать на спину и ушел.

— Где Аманбай? — спросил появившийся хозяин.

— С коровой ушел, бай-ата.

— Ну и ладно, — сказал хозяин, — молодцы. Кончил чаевничать, пора и за дело...

Он дал мне кетмень, топор, тещу, повел за усадьбу и показал на два пня от старых тополей, срубленных почти вровень с землей.

— А ну, покажи свое усердие — выкопай эти два пня, зимой сами будете у костра греться! Вчера и Аманбай, дай бог ему счастья, поработал как следует — тоже два пня здоровых выкорчевал. Молодцы вы, честные ребята!

И он ушел. Я немного удивился, почему Аман не рассказал мне про пни, но решил, что он просто забыл об этом: остальные впечатления дня были слишком сильны! «Пока придут гости, выкопаю один пень, не убудет меня, — сказал я себе. — А там уж отдохну и отъежусь за милую душу!» Полный энергии, я взялся за дело.

Пень был небольшой и трухлявый. Но когда я его обкопал, то обнаружил несколько мощных корней, уходивших в землю, наверно, на версту. Корни были такие толстые и крепкие, что я возился с каждым, пока у меня не потемнело в глазах, пару раз чуть не отрубил себе ногу, а когда я кончал с одним корнем, рядом, казалось, вырос новый... Так я обливался потом на солнцепеке, конца пню не было видно, гости тоже не появлялись. Когда перевалило за полдень, хозяин вышел с половиной лепешки, намазанной сюзьмой.

— Работаешь? Молодец, молодец, на вот, поешь-ка, полакомься...

При виде лепешки я ощутил просто волчий голод, но вспомнил совет Амана. Действительно, зачем набивать живот всякой чепухой? Тогда для настоящей еды и места не останется.

— Спасибо, бай-ата, — сказал я, — что-то пока не хочется. Сыт, видно.

Хозяин не стал особенно уговаривать.

— Да,— сказал он,— молод еще, сила так и играет, видно, своих соков много!

Он ушел, унося лепешку, а я проглотил слюну и подумал, что эти подлые гости нынче слишком задержались. Может, еще куда-нибудь зашли? Впрочем, никуда они от такого угощения не денутся. Придут еще. На худой конец, и к должникам ведь пойдем или сами в гости отправимся... И я продолжал сражаться с проклятым пнем. Еле я с ним управился. Солнце начало клониться к закату, а гостей не было и в помине, хозяин тоже никуда не надумал отправляться. Я впервые почувал неладное. Неужели Аман наврал мне? Быть не может! Живот у меня подводило, руки едва держали топор, но делать нечего: я принялся за второй пень...

Он оказался податливей, к заходу солнца я его прикончил и даже сам удивился. Едва добрал я до усадьбы и повалился без сил. Через полчаса вернулся Аман: на спине кровать, сам серый, как застиранное полотно, в руках сжимает из последних сил поводок... Он молча протащился мимо меня в хлев, бросив по дороге кровать на землю, и привязал корову.

Хотя Аман первый меня надул (я сперва ведь и не собирался ему врать) и оба мы здорово поплатились, я все же чувствовал себя неловко. К тому же проклятая корова досталась Аману куда дороже, чем мне: ведь по моему совету он взял с собой кровать. Если оставить кровать и смотреть за коровой, кто-нибудь, еще не дай бог, кровать стащит. А если плюнуть на корову и кровать стеречь, корова в такие места заберется, что ее, пожалуй, и не найдешь потом. Поэтому бедный Аман целый день гонялся за коровой с кроватью на спине. Вся кожа на плечах у него была содрана.

Он уселся с таким злым и несчастным видом, что я попробовал было наладить отношения шуткой.

— Что, устал, Аманбай? — спросил я. — Он молчал. — Я тоже,— сказал я. — Твои гости не лучше моей коровы... Только вкусных вещей сегодня что-то было маловато! — Я засмеялся, но Аман на меня и не взглянул. — Ну, чего молчишь? Скажи еще спасибо, что сетка была не железная!

Тут он наконец посмотрел на меня, и глаза его зло сверкнули.

— Заткнись! — сказал он глухо.

Но я не стал обижаться.

— Эй, Аман! — сказал я. — Брось ты! Мы ж с тобой вдвоем, как два глаза, один без другого света не увидит! Помиримся? Мы ж оба виноваты! Слышишь, Аман?

Он вроде смягчился и даже кивнул, но по-прежнему старался на меня не смотреть.

— Уходить отсюда надо, — буркнул он.

— Да у нас же ни денег, ни еды!

— Ну и что... Не умрем с голода по дороге. Здесь тоже не жирно кормят...

— Да, не объешься! — сказал я и снова засмеялся. Аман насупился. — Ну ладно, — сказал я. — Только что ж мы, с пустыми руками так и уйдем?

— А что ты придумаешь? Может, крышу сломаешь и усадьбу ограбишь?

— Ну, ограбить не ограблю, а за работу нам кое-что полагается... Только что бы взять?

Как ни говори, а домла и ишпан кое-чему меня научили. Я смотрел теперь на вещи, как в известной пословице: «все, что без хозяина, принадлежит афанди». Я стал внушать Амону, что, присвоив себе какое-нибудь хозяйское добро, мы только восстановим справедливость: разве он не натравил на нас эту проклятую корову, не предупредив ни словом? Наконец Аман согласился. Оставалось решить, что именно мы возьмем? Хватать любую дрянь тоже не имело смысла. И тут вдруг мне пришла в голову прекрасная мысль. Мы зарежем рябую корову!

Когда я предложил это Амону, у него даже глаза посветлели, так его обрадовала моя идея. По-моему, именно об этом он мечтал весь день, только боялся сам себе признаться.

— Здорово, — сказал он. — Так мы и хозяина накажем, и корове отомстим, и целой горой мяса запасемся! Продадим, и на вырученные деньги домой доберемся...

Аман так повеселел, что, казалось, окончательно простил мне и корову и кровать.

Мы размышляли о мясе. Оно представлялось нашему голодному воображению то вареным, то жареным, то горячим, то холодным... И когда нам вынесли на ужин чашку молочного супа с тыквой, мы почувствовали во рту кислый вкус разочарования. Однако суп мы выхлебали до капельки, тем более что хозяин, заметив, видно, наши разочарованные физиономии, стал выхвалять чудотворные свойства тыквы и кончил утверждением, что кто ест тыкву, никогда не попадет в ад.

После ужина хозяин запер ворота на замок и ушел в дом. Мы улеглись на свои места и, конечно, заснули. Но Амана, видно, снова разбудил его живот, а сам Аман уже разбудил меня. Было, должно быть, около полуночи. Мы встали и на цыпочках пошли к хлеву. Аман боязливо оглядывался, в каждом углу ему чудилась подстерегающая тень. Я чувствовал себя свободнее — как-никак, а на моем счету был уже имамов ишак!

Луна спряталась за тяжелым, толстым, как ватное одеяло, темно-серым облаком, и мы вошли в хлев. Ощупью подобравшись к рябой корове, мы стали шептать ей разные лицемерные любезности, чтоб она не встревожилась и не замычала. Но это вообще была молчаливая корова, хотя и зловредная. Тут Аман передал мне топор, я размахнулся и стукнул ее обухом по черепу! Она так и грохнулась оземь.

Странное дело, она доставила мне столько неприятностей, что я должен был испытать сладкое чувство удовлетворенной мести, когда она грохнулась на землю после моего удара. Но ничего подобного я не ощутил, наоборот, мне стало как-то не по себе, не то чтобы жалко эту сумасшедшую корову, просто нехорошо сделалось, и как раз от мысли, что теперь-то она уж никого не заставит поиться за собой!

Амана, видно, обеспокоил только шум падения, он засуетился в темноте, прислушиваясь. Но все было тихо.

Мы еще постояли, потом я взял у Амана нож — нож у него был что надо, недаром его отец ножи делал, — провел несколько раз по своему бедру... Я и сам теперь не понимаю, как это нам удалось в темноте выпотрошить тушу, снять шкуру. Мы отобрали пуда три лучшего, без костей, мяса, опорожнили мешок со жмыхом, стоявший в хлеве, и уложили мясо в мешок.

Теперь предстояло выбраться из усадьбы. Поскольку ворота на запоре, единственный путь — через крышу хлева, прилегающего к дувалу. Один из нас заберется с помощью другого на крышу, а потом веревкой вытащит мешок с мясом и товарища. Мне было все равно, кто полезет первым, но Аман настойчиво предлагал свои услуги, и что-то в его тоне меня насторожило. Однако я не подал виду.

Луна уже зашла, на дворе было темным-темно. Я встал у стены, Аман влез мне на плечи и, уцепившись, легко оказался на крыше.

— Ну, давай скорей! — сказал он громким шепотом.

Я должен был кинуть ему конец веревки, привязанной к мешку с мясом. Но в голосе его прозвучало столько зло-радного, почти не скрываемого торжества, что я все вдруг понял! Он собирается отомстить не только хозяйню, по и мне: сейчас я подам ему мешок с мясом, он возьмет его — и был таков! Меня он вытащить и не подумает! Я чуть не выругался вслух, так уверовал в его предательство. Ну, погоди же!

— Погоди,— сказал я,— веревка вроде развязалась...

Я быстро развязал мешок и начал лихорадочно выбрасывать из него мясо.

— Ну, чего ты там возишься? — прошипел Аман с крыши.

— Сейчас...— сказал я. Я как раз привязывал веревку к концам мешка. Потом влез в мешок, затянул другой конец веревки, продетый в дырки, наподобие шнура, и крикнул:

— Тяни!

Аман, видно, испытывал такое нетерпение, что не обратил внимания на странный звук моего голоса. Он потащил веревку, мешок дернулся, я повис вниз головой — и пошел вверх, задевая о стенку. Я весил около трех пудов, как и мясо, которое выбросил, так что Аман ничего не заподозрил. Втащив мешок на крышу, он передохнул, потом нагнулся и крикнул как раз около моего уха:

— Ну что, попался теперь? Это тебе и за баранов, и за корову — за все! Попробуй теперь держать ответ перед хозяином, ловкач!

Ах, подлец! Я едва сдержался, чтобы не рвануться из мешка, но сообразил, что это плохо для меня кончится. К тому же, я отомщу ему куда злее... Он торопливо подтащил мешок к краю крыши, спустил меня на веревке за дувал, потом я услышал, как он спрыгнул рядом. Он поднял мешок, еле-еле закинул меня на спину и зашагал...

Я скоро начал задыхаться, меня поддерживало только сознание, что я еду верхом на Амани. А он едва тащился, то и дело останавливаясь и опуская мешок с протяжным «уф-фф». Мне казалось, мы движемся уже целую вечность. Аман, надо полагать, был того же мнения.

Наконец сквозь ткань мешка я различил, что как будто начало светать. Послышались утренние звуки: какая-то птица проснулась и радостно свистнула, зашумел ветерок в траве, заглушая мягкие вздохи пыли под ногами Амана. Потом я услышал голоса приближающегося кишлака. Со-

бака где-то твякнула... ближе... Вот она бежит рядом... я различаю ее прерывистое дыхание. Аман остановился, я понял, что это из-за собаки. Опа, должно быть, находилась в раздумье. Аман сделал шаг — и собака вдруг залилась адским лаем! Ей тотчас ответили другие, собачий хор рос и совершенствовался на ходу. Собаки явно окружали нас со всех сторон. Аман, конечно, здорово перепугался. Но что Аман — представьте мое положение! Ведь и нарочно для человека страшнее казни не придумаешь, чем завязать его в мешок и пауськать собачью свору! Самое ужасное, что собаки куда догадливее Амана и давно знают: в мешке вовсе не говядина. Может, это их так и расстроило?.. Я бы сразу подал голос, но боялся, что Аман от испуга бросит мешок, и тогда я совсем пропал. Аллах, однако, судил иначе: Аман шагнул, собаки кинулись, одна вцепилась в мешок — и в мою ногу! Тут я забыл всякую осторожность и завопил:

— Карау-ул! Подними мешок повыше, дурак!

Аман совершенно ошалел. Я думаю, вы бы тоже ошалели, заговори у вас за плечами три пуда свежей говядины. На мое счастье, он слишком растерялся и не бросил мешок на землю, а действительно подтянул его выше, как я сказал. Услышав мой голос, и собаки опешили — может, им тоже раньше не попадались говорящие мешки? Я крикнул Аману:

— Развяжи мешок, болван!

Он повиновался, опустил мешок на землю, развязал. Когда я вылез, охая, он смотрел на меня, выпучив глаза, и повторял, как слабоумный:

— Это ты?.. А где мясо?

У него был такой смешной вид, что я не выдержал и расхохотался, хотя мне было вовсе не до смеха.

— Где мясо? — сказал я. — Съел! Что, не видишь, как я поправился!

Он все еще не мог прийти в себя, собаки тоже. Такого им и впрямь видеть не приходилось: был один человек, стало два. Они замолчали и стали расходиться.

Я, прихрамывая, пошел по дороге, Аман потащился за мной...



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

У ЗВЕЗД СВОИ ИСТОРИИ

Аман очухался не скоро, но теперь он шел рядом со мной, и я видел, как он прямо на глазах раздувается от злости. Проходя мимо старой вишни, росшей на обочине, он отломил большую ветку, похожую на кнутовище, и стал ее обтачивать с обеих сторон своим распрекрасным ножом. «Как бы эта палка по мне не прогулялась», — подумал я и решил тоже запастись



оружием. Ничего подходящего поблизости не попадалось. Наконец я сломал саженец урюка.

— Эй, друг милый, — сказал я, — одолжи-ка свой нож, палку построгать.

— Опоганишь нож, поганый! — сказал Аман.

— Это я-то поганый? Да я сколько с тобой ходил, ни разу не видел, как ты купался! Ты и воды боишься больше, чем курица! Плеснешь на лицо из арыка, так и то передернешься, как наркомап.

— Молчи лучше!

— Чего это мне молчать? Если я поганый, так ты какой? Я-то недавно в речке выкупался, одежду со щавелем постирал, а ты? Прошлогодную грязь еще с собой таскаешь!

— Я сказал, молчи!

— Он сказал! Хо-хо! Слушайте, мусульмане!

— Сейчас как заеду палкой!.. Ты не поганый, ты хуже: самое что ни есть нечистое отродье! От твоего намаза на небе три раза отплеваются! У-у, нечистый!

— Я нечистый, ладно, а ты всякого нечистого грязней: предатель! Товарища продать хотел!

— Тебя продавать — никто не купит!

— погоди, я еще с тобой не рассчитался!

— Ну-у?.. Чего ж ты ждешь?

— Рассчитаюсь еще, времени хватит.

— Трус!

— А ну, скажи еще раз!

— Еще десять раз скажу: трус! трус! Ну, что ты делаешь?

— Сейчас увидишь, что я сделаю! Гад! Хотел с мясом удрать, а меня на расправу оставить! Еще говорит — я нечистый!

— Конечно!.. Мне... мне пророк во сне велел так поступить, чтобы от твоей беды отвязаться...

— Ну-у? Сам пророк? Во сне? Это он спал или ты спал? Что ж ты его получше не расспросил? Гляди, как оплошал! Думал, мясо тащишь, уже небось подсчитал, за сколько его продать, а глядишь — в мешке-то я! Ха-ха-ха!

— Молчи, говорю!

— Хо-хо-хо! Говядина заговорила... Ха-ха-ха... от испуга аж язык изо рта вывалился...

Аман, весь кипя, замахнулся на меня палкой, я отскочил и продолжал над ним издеваться:

— А ты небось в мечтах уже расторговался и разделся, как байский сын, а? Ну-ка, расскажи, чего ты накупил?

Видно, я попал наконец в самое больное место.

— Ах ты... — сказал он, захлебнувшись яростью, и снова кинулся на меня с палкой, но я опять отскочил. Глаза у него так вылезли из глазниц, что казалось, вот-вот и совсем вывалятся. — Тебе что, оборванец! — закричал он, наконец обретя дар речи. — Ты в чем хочешь домой вернуться! А мне людей стыдно! Что люди скажут — ходил-пл, рабо-отал, только на лохмотья и заработал! У-у, за что меня аллах наказал, что я с тобой встретился! Заработал бы себе честно деньги, купил бы халат, шапку с лисьим мехом... Да если б не ты, я бы уже барана имел, а у кого баран — со временем лошадь будет, у кого лошадь — может верблюда купить...

Он так искренне убивался, что одно удовольствие было смотреть.

— Ах ты, бедненький! — сказал я. — Бедняжка! Ограбили тебя! Разорили! Ну ничего, ты не огорчайся. Поступишь учеником к канатоходцу, он тебе бархатные штаны сошьет. А то к кочегару наймись, у огня ни халата, ни шапки не надо... А что касается барана...

Аман заревел, как бык, и погнался за мной, но я увернулся, остановился поодаль и продолжал:

— Ты послушай, Аманджан: что касается барана, кобылы, верблюда, зачем они тебе? На них корму не напасешься! Да еще сарай им построй. Ты лучше по базарным дням на скотный базар ходи. Во-о! Представь, что это твой хлев, а весь скот твой собственный. А если мало покажется, еще и цирк есть! Знаешь цирк Юпатова? На билет у тебя, конечно, не найдется, но ты в щелку посмотри... Если мало верблюда, считай, что слон тоже твой! Только сторожа берегись, сам знаешь, какая плетка...

Аман так и приплясывал на месте, выбирая момент, как бы на меня броситься поверней. Он был сильнее меня и тяжелей, зато я — легче на ногу. Я-то знал, что ему меня не догнать. Но он вдруг сник, словно из него выпустили воздух, опустил руку с палкой и сказал, сплюнув:

— Лучше иметь вымя дохлой коровы, чем такого товарища. Хоть мыловар бы деньги заплатил... Катись к черту! Лишь бы мне и на том свете твою противную рожу не увидеть... — Он повернулся и пошел назад по дороге.

Хо, куда это он пойдет? Вернется обратно? Его поймут люди бая, у которого мы корову зарезали, сдадут полицейскому, и пройдет у него вся жизнь в Сибири. Нет, побродит, как собака, и опять пойдет той же дорогой... Я крикнул ему вслед:

— Э, мулла Аманбай, не будет ли у вас письмеца вашим дружкам — чабанам или коноводам? Или вы с баями водитесь? Кому привет передать — Арифходже-ишану? Или Махсудхану-думе? Или Гулямхану-кази? Эй, мулла Аманбай!

Но он продолжал идти, ссутулившись, не оборачиваясь, не отвечая ни слова. По правде говоря, моя злость на него уже прошла, мне жалко стало, что он уходит. Опять оставаться одному на дороге! Как теперь идти? И куда?..

Нет, в самом деле, куда? Я издевался над Аманом, но теперь слова его показались мне не лишены смысла:

как же это, правда, после стольких недель отсутствия, вернуться домой в нищенских лохмотьях?

Мать, со своим вдовьим хозяйством, и так намучилась за это время, а тут ей на голову свалится еще один едок без единого мирра в поясном платке! Да и ждут ли меня еще? А с другой стороны, мы ведь с Аманом решили идти в Ташкент. Действительно, здесь нам больше ни заработать, ни прокормиться, слух о наших похождениях, наверно, уже по всей округе прошел! Ни в Ишанбазар, ни в Кок-Терак, ни в другие близкие места мне и показываться нельзя. Только и дорога что в город, в Ташкент.

К тому же одно я знал твердо, да и вам уже говорил: у кого душа с воробья и силенки те же, тому нет ничего лучше, чем затеряться в толпе. А где найдешь настоящую толпу? Не в кишлаке же? Там ты на виду, как муха в похлебке, а в городе человека найти не легче, чем блоху в овчине.

Город...

Я брел по дороге и думал о городе. Кушцы, полицейские, нищие. Видели вы реку после того, как в нее сель сошел? Мутно-желтый поток несется как оголтелый и чего только с собой не тащит! Закрутит меня этот поток, как щепку. Может, и не утону — щепки не тонут, — только уж больно противно плыть в такой мутной воде. Нет, оказывается, вовсе не люблю я город! Весь он такой вонючий, точно котелок наркомана. Опять те же немывые, расплывающиеся от жира физиономии байских сынков, что с аршинами в руках лениво караулят покупателя в своих лавках; те же длинные-предлинные торговые ряды, утопающие в жаре и душной пыли; перекупщики с вороватыми глазами, бегающими, словно у kota, который спер бараний курдюк; нищие, тощие, как тень хромого аиста, — они бредут и в одиночку и гурьбой...

Нет, не люблю я город. Говорят, сын одного казаха, пройдясь с отцом по галантерейному ряду, спросил:

— Ата, а что делают эти люди?

— Э, сынок, в базарный день они обманывают парод, а в будни — друг друга...

Но что делать? Небо далеко, земля тверда, а тут еще и холода на носу, зима подойдет, волоча свой меч. А ведь я не тандыр какой-нибудь на заброшенном дворе, чтобы зевать зимой и летом, рта не закрывая. Это только курице хватает проса да воды в луже. Человеку много чего надо... Я вдруг заметил, что дорога, прежде, в знойные дни, обжи-

гавшая пятки, стала прохладнее, и пыль уплотнилась, не поднимается от каждого шага или дуновения ветерка, и вода в арыках прозрачная, как стекло. Скоро ночи совсем похолодадут, роса превратится по утрам в иней, а края арыков обрастут тонким слоем зимнего «сала».

Я иду и думаю — о себе, о матери, о сестренках. Всем нам плохо живется, а по чьей вине? Да, по чьей? Не по моей ли? Я-то почему стал таким никудышным парнем? Мне бы пойти куда-нибудь в ученики или хоть мальчишкой на побегушках, а я вместо того шляюсь по дорогам без толку. Только ноги мои, две мои босые, почерневшие ноги знай двигаются себе, как падающие бревна на водяной рисорушке: одна — другая, одна — другая... И ничего не меняется, ничего нового вокруг — дорога, безлюдье, тишина...

Э, не колокольчики ли это каравана вдали? Прислушаемся... Так и есть. Поистине, нет на свете лучшей музыки для одинокого путника, чем этот мелодичный перезвон! Сперва дальний, замирающий временами, а потом все ближе, все звонче, но по-прежнему такой нежный, как будто и не верблюды идут, а сами ангелы господни, чтобы показать тебе быструю и легкую дорогу.

Когда подходит караван к порогам дальним Нила, сама заря, сама заря спешит ему навстречу.
И колокольчики звенят так сладко и уныло:
«Гул танг! Гул танг...» — грядущий день свои заводит речи.

А караван — верблюдов пятнадцать — меж тем действительно приближается. Каждые пять связаны одной веревкой, концы веревок держат старик и молодой парень, важно восседающие на ишаках. Верблюды нагружены сеном. Я отошел к обочине, а когда караван оказался совсем близко, вышел навстречу и спросил с поклоном:

— Куда путь держите, ата?

Я не успел услышать ответного приветствия, как на меня с громким лаем бросилась собака. Хорошо, что она была привязана, собак мне на сегодня и без нее хватало.

— Что это ты здесь делаешь, сынок? Да будет к добру встреча с тобой! — произнес старик.

— Ох, ата, хотел в город попасть, да не рассчитал время, вот жду попутчиков, мое счастье, что вас встретил...

— Там, в степи, еще один шагает вроде тебя, сколько же вас всего, ты скажи, сынок, я буду знать: отвязывать собаку или нет...

— Ой, ата, что вы, зачем отвязывать собаку, я собак не переносу, у меня от них волдыри по всему телу идут! А того, кто в степи плетется, я и знать не знаю. Я смиренный раб божий, даже мухи не обидел! Не хотите взять меня в попутчики — что ж делать, я следом пойду, я же только просить вас могу, разве я заставляю?..

— Ого! — сказал старик. — Ты, видно, мастер языком чесать! Но если ты не знаешь того, второго, что в степи идет, чего ж он тебя-то ругал на чем свет стоит?

— Да разве ж я знаю, ата? Ругал, ну и пусть себе ругал, не все ли мне равно, раз я не слышу? Пускай говорит, что ему в голову взбредет, может, у него от ругани кишки наполняются.

Старик засмеялся.

— Значит, ты его так-таки и не знаешь?.. Ну ладно, шагай рядом, что с тобой поделаешь.

Я пошел рядом со стариком. Он изредка поглядывал на меня испытующе, а парень, ехавший сзади, кидал и вовсе подозрительные взгляды. Собака тоже долго не могла успокоиться.

Так мы и двигались довольно долго, в полном молчании. День уже клонился к вечеру, на ясном небе появилась бледная, как облачко, луна, точно бедная родственница раскаленного светила. Она держалась скромно и незаметно, до поры, когда хозяин неба уйдет на покой. А уж тогда она себя покажет, округлится по-хозяйски да и пойдет заглядывать во все уголки вселенной, на все посмотрит, ко всему приценится.

Я смотрел на луну и лихорадочно придумывал, как бы половчей завести разговор. Старик сам не заговаривал, мне было ужас как неловко, да и вообще путешествовать так долго в молчании, когда есть с кем поговорить, — не такое уж сладкое дело.

— Атахон, — сказал я наконец, — а как называется та яркая звезда, что вечером первая на небе появляется?

— Хо-хо, хитрый ты, видать, паренек. Хочешь названия звезд узнать да и волшебником заделаться?

— Что вы, атахон, каким таким волшебником?

— Известно каким: как глянет на звезды, так дождь и пойдет! — И старик добродушно рассмеялся. Я осмелел.

— Как же она все-таки называется, ата?

— Это ты про ту, что вон там скоро загорится? Ее зовут Зухра, сынок... Да-а, у звезд, брат, свои истории. Эта звезда была дочерью одного бедняка. Когда родители у нее

умерли, падишах заслал сватов, а она, надо тебе сказать, была красавица из красавиц! Ну, Зухра и говорит: «У меня, говорит, есть возлюбленный, я за него и выйду». Сам понимаешь, падишах разозлился. Велел найти ее возлюбленного и повесить. Конечно, так и сделали. Виселица была высокая-превысокая, длинная-предлинная! Вот ночью девушка пришла к виселице и стала карабкаться вверх. Уж она карабкалась, карабкалась, лезла, лезла, взобралась на самый верх,— а там и до неба рукой подать! Ну, думает, что мне на земле теперь делать? Побуду на небе, пока на земле злых падишахов не станет, а там и спущусь обратно. Вот она все и заглядывает утром и вечером на землю — как, мол, дела там? Не пора ли возвращаться? Нет, видно, не пора... Только с той поры она приносит счастье всем, кто встречает зарю. А кто проспит, тот счастье и прозеваает!

Я слушал старика, разинув рот. Подумать только, сколько интересного на свете, а я и понятия об этом не имею. Если про каждую звезду расскажут, так можно тысячу дней и ночей слушать! Повезло мне! А старик между тем провел в воздухе рукой, словно чертил на небе линию, и сказал:

— А вон там, на севере, звезда взойдет — это, сынок, Полярная звезда. Она ось неба. Кто на нее путь держит, никогда с дороги не собьется! Запомни это.— Он снова провел рукою над собой, словно разделяя небо пополам.— А светлую полосу, что через все небо идет, знаешь? Это, сынок, Млечный Путь! С тех пор, как дороги на земле есть и люди по ним ходят, каждый день они под Млечным Путем странствуют. А вроде как и по нему идут. Да-а...— Он вздохнул.— Я был мальчиком, как ты, и состарился, а он все такой же, словно кто проехал, да и мелкий саман рассыпал... Ну как, все понял, мальчик-волшебник?

Начало смеркаться. Звезды, о которых говорил старик, одна за другой появились на небе. Скоро мы остановились на привал. Старик радушно пригласил меня к ужину, только парень все молчал и косился. Может, он опасался, что ночью я уведу верблюда?.. Я скоро уснул и проснулся на рассвете: старик растолкал меня.

— Вставай, сынок! Пошли. К вечеру надо добраться до Ташкента!

Этот день минул незаметно. Вот что значит интересная беседа! Во всю жизнь не забыть мне того, что слышал я тогда, шагая рядом с этим стариком пыльной дорогой.

Когда к вечеру мы действительно оказались у Чигатай-дарбаза — северных ворот Ташкента, мне сразу стало грустно при мысли, что придется расставаться со стариком. Казалось, я знаю его давно, с незапамятных времен...

Колокольчики на шее переднего верблюда печально перезванивались, и звон раскалывался о глинобитные стены улиц. Когда мы проезжали мимо мечети Тухтаджанбая, раздался протяжный и на редкость гнусавый голос суфи. Суфи стоял, высунувшись до пояса, на башенке мечети.

— Хайна хананхала... хайна хананхала... — звал он, тужась.

Собака старика за свою долгую жизнь не слыхала, видно, такого противного голоса даже в своей собачьей компании. Она испугалась и завyla, присоединившись к голосу суфи. Старик ткнул ее палкой, она замолкла.

— Какой хороший голос, ата, — сказал я, робко усмехнувшись.

Старик покосился на меня.

— Аллах наградил беднягу сразу двумя недугами: и гнусавый он, и суфи, вот он, сынок, и надрывается...

На базаре, около обувного ряда, мы со стариком распрощались. Он со своими верблюдами отправился к караван-сарая, я решил перебиться где-нибудь в торговых рядах. Однако мне не повезло. Еще когда я со стариком шел, я заметил, что собака его боится базара. Она брела, поджав хвост, и все льнула к ишаку, на котором ехал хозяин. Я думал, ее пугают сторожа, которые стояли на каждом шагу, заложив насувай под язык, и, грозно шепелявя, спрашивали: «Кто иде-ет?» Дело было, однако, не в сторожах, а в целых полчищах бродячих псов, которые шлялись по рынку. Я убедился в этом сразу, как свернул в мясные ряды.

Тамошней сворой предводительствовала большая черная дворняжка. Увидев меня, она грозно зарычала, давая понять, что до сих пор здесь прекрасно обходились без меня, а если я в этом не уверен, ее свита представит мне самые убедительные доказательства. Я не стал спорить, вежливо извинился и повернул к мыловаренному ряду. Здесь своя свора, и манера обращаться с посетителями у нее, пожалуй, еще внушительнее. Тут действуют по принципу — «все против одного». Когда я это уловил и проявил некоторую поспешность, давая задний ход, — проще говоря, побежал со всех ног, они помчались за мной всем ско-

пом. Я остановился, — они меня окружили. Так они и вывели меня за пределы мыловаренного ряда, ни на секунду не оставляя в одиночестве. Это было более чем любезно с их стороны, и я вполне оценил их тонкое воспитание.

Быстренько миновав старую женскую баню, я пошел было в гончарный ряд... Слава аллаху, и там свои собаки! Откуда их столько набралось за время моего отсутствия? Может, нынче год собаки, что на них такой урожай? И потом — что за подозрительность? Ну, ладно, в мясном ряду они еще могли меня приревновать, думая, что я собираюсь разделить с ними обрезки или кости. Это еще понять можно. И в мыловаренном ряду они могли опасаться за свои оскребки. Но та свора, из гончарного ряда, ей-то что? Пустой хум, что ли, я съем, или глиняное блюдо без плова, или гончарную трубу, по которой и воду-то еще не пустили?

Оскорбленный до глубины души, я миновал Каппан и вышел к мечети Хасты-Уккоша, туда, где начинается базар Махкама. Я знал все эти места, как свои пять пальцев, но сегодня они показались мне какими-то новыми, чужими — то ли после долгого отсутствия, то ли оттого, что в такой поздний час я здесь не проходил никогда. Я стал вспоминать, что Уккоша — это имя одного человека. Говорят, он был военачальником у арабов, когда они завоевывали наши края, и погиб здесь — стрела его пробил, а стрелу пустил кто-нибудь из наших предков. Потом арабы и построили на его могиле мечеть. И надо же, теперь сюда шлят целые толпы паломников. И камни целуют, и могиле его до земли кланяются, а ведь он убивал наших прапрадедушек, и города разорял, и скот угонял, и вообще плевать хотел на нас, не то что там излечивать или еще что. Недаром говорят: отдай мать тому, кто твоего отца убил. Так оно и получается. Теперь к нему так и прут за излечением, и все ради какого-то паршивого родника, который бьет из-под его могилы. Я этот родник видал — я видел еще уйму родников получше, из них, по крайней мере, вправду вода идет, а не струйка, как из младенца. Так ведь нет, никто к тем родникам не идет за тридевять земель, всем сюда надо, хотя, если разобраться, при такой куче народу каждому и по капле не достанется. А еще говорят, что для исцеления полагается в той родниковой воде искупаться — как же, искупаешься в ней, легче в ложке с головой окунуться. Не поймешь этих взрослых,

вроде все они знают, а иной раз такой чепухой занимают-ся, что мальчика смех разбирает!

Обогнув Хасти-Уккоша, я вышел к пекарне, где пекут лепешки... Ну, это дело другое. Тут и ночью светло, как днем. Из тандыров, точно из разинутых черных пастей каких-то присевших чудовищ, вырываются языки красного пламени. Люди в легких летних халатах из буза, с открытой грудью, с повязками на голове, то и дело чуть не по пояс залезают в пылающую внутренность тандыра и вынимают румяную горячую лепешку. Ах, какая это лепешка! Жизнь отдать не жалко! Луна, а не лепешка! Так и кажется, что не пекарня это, а волшебная кузница, которую солнце построило себе где-то за черными горами, и вот, один за другим, выковывают здесь золотые диски, да и складывают про запас, чтобы было что запустить в небо, когда нынешняя луна сойдет на нет...

Ах, какпе лепешки! Мука высшего сорта, и пухлые их бока так и пышут румянцем, а в середке черные зернышки — точно огромный тюльпан распустился до конца и вот-вот осыплется. Сесть бы здесь, возле журчащего арыка, поставить перед собой целую корзину этих свежеиспеченных красавиц и без всяких церемоний, запросто, ломать и есть, макая в воду, да чтобы их в корзине не убывало, как воды в арыке... А потом, наевшись досыта, встать, потянуться, сказать пекарю «спасибо» вместо платы, да и зашагать дальше своей дорогой.

Но я человек скромный, мне так много не надо, меня насытит и этот чудесный запах печеного. Устроюсь здесь, около пекарни, и буду вдыхать его всю ночь, до самой зарн...

Я наслаждался недолго. Мимо меня прошел в пекарню старик лет шестидесяти, чуть сгорбленный, с перекинутым через плечо платком, в кавушах из сагры, начищенных до блеска нутряным салом. Минут пять спустя он вышел обратно, платок его превратился в целый узел лепешек. Он внимательно посмотрел на меня и спросил:

— Эй, сынок, не сможешь лепешки донести?

— Донесу, ата,— сказал я, взял у него узел и взвалил на спину.

Так мы и двинулись: он впереди, я сзади. В руках у старика был посох, и старик не давал ему скучать: все бумажки и тряпицы, попадавшиеся под ноги, он переворачивал кончиком своей палки, видно, проверяя, не спрятано ли под ними золото или свеженькое послание самого

пророка, а потом поднимал и засовывал в трещины дувалов.

Я вышагивал сзади, с огромным горячим узлом на спине, и думал, достанется ли мне хоть кусочек лепешки, или я так и расстанусь с ними, не познакомившись, как ишак, который перевозит книги? И зачем этому старику столько лепешек? Той у него, что ли? Да нет, для тоя все же маловато, а для семьи много, хотя кто его знает, какая у него семья. И чего он встал так рано, когда еще и куры не сошли с пасеста? Мы шли какими-то улицами, потом свернули к оврагу и пошли вдоль арыка. Старик приветливо заговорил со мной, голос у него был мягкий, приятный:

— Что это ты спозаранок бродишь, сынок? Потерял что-нибудь, а?

— Да нет, ата, я из степи ночью пришел.

— Вот как, из степи! Ну, что ж, так оно и бывает. И воробей, отведавший ташкентского проса, прилетит обратно из самой Маккатуллы. А родители у тебя есть?

Ну чего он ко мне пристал? Чтобы отвязаться, я сказал:

— Нет, ата, умерли.

— Да, вот так оно и бывает. Родители — они не вечны. Ну ничего, говорят, ласковый теленок двух маток сосет. Вот и ты, если будешь проворным, найдешь себе нового отца. А если отец нашелся, мать и сама придет... Самый трудный перекресток ты, сынок, благополучно миновал, дальше оно уже проще! Одно худо — дурных людей много развелось. Ну, не беда, были бы мы сами хороши, верно? Ты, я вижу, босиком ходишь? Не огорчайся, на быстрые ноги кавуши найдутся. Только ноги надо беречь! Так-то вот оно...

Он говорил быстро и все в одном ласковом тоне, точно тихая вода текла. Я шел молча и слушал.

— Да, сынок, — говорил старик, — вот уж больше года, как война пачалась, знаешь небось? С тех пор цены на все поднялись, и на обувь тоже, так-то вот оно, сынок. Цари, видишь ли, спокойно жить не могут, лихорадки на них нет. Хоть бы вот наш белый царь, что ему надо: жил бы себе мирно, управлял страной, ел бы мороженое, вешал бы злодеев на виселице да с женщинами развлекался! Так нет же! Война! А ведь все у него есть, подданные перед ним мягче, чем воск на солнце, да и полицейские наготове, как меч на боку: только скажет «взять» — готово, уже взяли.

А ишаны и улема за него пять раз в день молятся, денег ему аллах мешками посылает. Все богачи ему готовы богатства добавить, вот ведь, сынок, чего еще человеку надо? Так нет — война! Воюет, истребляет парод, города рушит, видно, хочется ему стать шахом на пустыре...

Последние слова старик бормотал нараспев, обращаясь явно уже не ко мне, а так, в пространство. Потом он умолк ненадолго. Конечно, я тоже шел молча. Вдруг старик зашел:

Ах, есть ли кто, чтоб мать не потерял,
кто б не утратил юность и отца,
кто имя мест родных не повторял
в чужом краю, в скитаньях без конца?

Он поперхнулся, и песня оборвалась, но тут же забормотал снова:

— Эх, да паду я жертвой за шейхов! Мой отец покойный два раза совершал хадж, последний раз и меня с собой взял. О-о, испытали мы долю скитальцев на чужбине! Да ведь, не испытав ее, человек не станет мусульманином, так говорили святые угодники... Да, так вот оно и бывает. — Он вдруг оборвал свое бормотание: — Ты сам из какого кишлака?

— Я? Я... из Учкургана.

— Так, значит, не встретился бы я тебе, встретил бы ты свою мать в Учкургане? Ай-яй-яй... Доводилось тебе учиться у какого-нибудь домуллы?

— Доводилось... Только я сбежал на половине «Суфи Аллаяра».

— Да, вот оно как, сбежал, значит, на самом интересном месте, а, сынок?

— Видно, так, ата...

Старик набрал воздуха и снова зашел — «Касыду ада» из «Суфи Аллаяра», я ее сразу узнал:

Мост перекинут через серый ад,
извечный мост по имени Сират.
Острей меча оп, тоньше волоска:
путь в рай тяжёл,
дорога в ад — легка.

Старик снова поперхнулся, как в первый раз, и умолк. Мне вдруг стало тошно, сам не знаю почему. Я решил удрать и сказал:

— Ата, подержите чуточку ваши лепешки, напьюсь из арыка, очень пить хочется...

Старика прямо передернуло.

— Что! — сказал он. — Воды напьешься? Да у тебя что, жир лишний завелся или ты казы поел? Идем, нечистое отродье, сейчас чаю напьешься! Воды захотел! Ах ты, господи, прямо мороз по коже! В месяце саратан ему руки лень лишний раз помыть, а тут осень на дворе, раннее утро, и он натошак ледяной водой соблазнился! Тьфу! Что ты, от гусей родился?

Я удивился — чего это он так накинулся на меня из-за холодной воды? Ничего не поделаешь, пришлось за ним идти: как-то неловко было бросить его лепешки на середине дороги. А он все шел впереди, продолжая на меня ворчать. Наконец мы остановились у двери низенького, полуразвалившегося дома на краю оврага. Я опасливо поглядел на дом. Старик обернулся:

— Ну, что пятишься назад? Так вот оно и бывает... Заходи, сынок, заходи...

Меня охватила беспричинная тревога.

— Ну и ну! — сказал старик. — Что ты вытаращил глаза, как теленок на тигра? Здесь не бойня. Медресе тут, медресе. Так вот оно и бывает. Не доучился ты грамоте — вот здесь и доучись...

МОЕ МЕДРЕСЕ

Пригнувшись — с опаской, хоть и не зная, чего это я опасуюсь, — вошел я в низенькую, почерневшую от дыма дверь. В помещении стоял едкий, режущий глаза запах. В переднем углу возвышался кипящий самовар средних размеров, какой бывает в маленьком хозяйстве, посредине компаты стоял мангал с огнем, а вокруг него — с полдюжины потрескавшихся, с отбитыми носами чайников. Половину комнаты занимали невысокие, пяди две от земли, деревянные нары, на них уселись в круг шесть человек. На улице было уже солнце, а тут мигала еще, словно при последнем издыхании, семиплинейная керосиновая лампа с закопченным допельза стеклом. Не мудрено: сквозь пожелтевшую бумагу, наклеенную на отверстия в стекле, едва пробивался тусклый свет. У лампы расположился средних лет человек, в двойных очках, с густой клокочающей бородой, похожей на заброшенный палисадник. На коленях у него лежит толстая раскрытая книга — он, видно, читал ее вслух. Слушатели застыли в разных позах и

едва подняли головы, когда мы вошли. Только один — пожилой мужчина в феске, с приплюснутым носом — явно обрадовался при виде нас. Он разгребал жар в мангале.

— О,— сказал он,— вот и Хаджи-баба сами пришли. У них и спросим!

Тогда поднял голову и чтец.

— Хаджи-баба,— сказал он важно,— вот тут у нас одно место сомнение вызывает. Когда владетельный государь Або-Муслим и Насрисайяр Беор сошлись в поединке в степях Хорасана, то Насрисайяр ударил почтеннейшего по голове палицей весом в девяносто шесть тысяч батманов. Тогда почтеннейший вошел в землю... по колено — или по пояс? В той книге, что мы в прошлом году читали, было написано — по колено. А в этой написано — по пояс...

— Правильно в той книге, где написано — по колено,— сказал Хаджи-баба таким же важным, не допускающим возражений тоном.— По правилам богатырских схваток предусматривается три удара. При первом уда-аре,— он загнул один палец и заговорил нараспев,— погружаются по колено! При втором уда-аре,— он загнул еще один палец,— погружаются по пояс! При третьем уда-аре...— он загнул третий палец и закончил торжественно:— погружаются по плечи! Сохрани аллах — да если этот собачий сын при первом ударе погрузил почтеннейшего по пояс, так при втором почтеннейший ушел бы в землю по уши. Слыхано ли такое? Будь так, это осталось бы в древних книгах, а где вы это прочтете?

Он остановился и оглядел их всех суровым и праведно-торжественным взором, словно судья, произнесший справедливый смертный приговор. Один из сидевших, смуглый сухощавый человек в синей чалме, утвердительно кивнул головой и сказал что-то на непонятном мне языке.

Я стоял как потерянный. Едкий запах в комнате сначала вызвал у меня тошноту, и глаза заслезились. Потом стало легче, но комната и ее обитатели производили такое жуткое и непонятное впечатление, что мне хотелось закрыть глаза и броситься вон. Что это за люди? Что это за место? Уж конечно, не медресе, каждый дурак с ходу поймет. Какую книгу они читали, я догадался: «Сказание о битвах счастливого Або-Муслима», только это ровно ничего не объясняло. А может... Разгадка вдруг мелькнула у меня в голове. Может, это... курильня?

Хаджи-баба взял у меня узел с лепешками и положил его на сундук. Потом он вытащил восемь штук, разложил

их на подносе, на каждую лепешку насыпал по горсточке джиды и кишмиша. Обойдя всех, словно с угощением, подаваемым на свадьбе, он перед каждым положил по лепешке. Сам он тоже сел в круг. Я все еще стоял у двери, не в силах на что-нибудь решиться.

— Эй,— сказал Хаджи-баба,— что ты там застыл, как лопата у стены, здоровайся с дядями и полезай сюда! Полежай, полежай, сынок, так вот оно и бывает...

— Ассалам алейкум! — сказал я тихим голосом и, стесняясь, боясь к кому-нибудь прикоснуться, полез на нары. Хаджи-баба подвинулся и дал мне место около себя. Против меня лежала одна из лепешек. Хаджи-баба налил мне чаю.

— Разломи лепешку, не стесняйся,— говорил Хаджи-баба,— пей чай да ешь, и не спеша, смотри разжевывай хорошенько. Все это твое, сынок, так-то вот...

Я начал есть, исподтишка, краем глаза, наблюдая за окружающими. Здесь не соблюдалось никаких церемоний, каждый пил чай из своего чайника, каждый ел свою лепешку с кишмишом, никто не угощал друг друга: «Ешьте, пожалуйста...» Сухощавый человек в чалме наклонился к Хаджи-баба и сказал:

— Сахиб, ин бача цист?

Он на меня при этом не смотрел, но, хотя я не понял его вопроса, по слову «бача» («мальчик») догадался, что спрашивает он обо мне. Так оно и было.

— Нашел в пекарне,— ответил Хаджи-баба негромко.— Нет у него ни отца, ни матери, и парнишка, видно, решил, что в нашем городе сирот мало, вот и пришел сюда... Парень вроде бы проворный, ловкий, язык подвешен хорошо, челюсти целы. Будет помогать вам,— добавил он, обращаясь ко всем.

Смуглый в синей чалме удовлетворенно кивнул, остальные тоже.

— Прекрасно, Хаджи-баба, очень хорошо, Хаджи-баба...

Так и есть — это курильня. Сколько я про них слышал, а никогда видеть не приходилось. То-то старика так всего от воды передернуло! Ну, а мне-то что делать? Остаться здесь да прислуживать им? Видно, старик на то и рассчитывает. Тошно... Да ведь ко всему привыкаешь. А местечко здесь тепленькое, что и говорить. Если они и вправду курильщики, так тут можно подзаработать... Ведь говорят, они, когда накурятся, мало что соображают. А уж

если меня возьмут в услужение, чай и лепешки, точно, будут в моих руках. Глядишь, за короткое время можно подкопить пемножко денег, чтобы вернуться к матери не с пустым поясом... Эх, стоило мне подумать о матери да о том, что до дома можно дойти за какой-нибудь час, меня словно волоком отсюда потянуло! Нет, сказал я себе, ты уже царень взрослый, надо и о делах подумать. Пожалуй, стоишь здесь задержаться.

Чаепитие не было еще закончено, когда человек в синей чалме, разговаривавший не по-нашему, стал подниматься.

— Имруз базар, сахиб, дукона барвакт кушодан лозимаст, боман ихозат!¹

— Ладно, ладно, идите. К ужину ведь вернетесь?

— Конечно, — сказал смуглый и стал надевать кавуши.

Я только тут заметил, что между бровями у него красное пятно величиной с бухарскую таньгу. Он вышел. Я спросил у Хаджи-баба тихонько:

— Баба, кто этот человек?

— Во-первых, не просто баба, а Хаджи-баба, плут! А во-вторых, разве ты полицмейстер, чтобы я давал тебе отчет о моих гостях? Кто здесь бывает, да как его зовут, да какая у него профессия, да откуда он родом?.. Много будешь знать, скоро облысеешь, хе-хе. Это, сынок, индеец, мусульманин, вот так-то. Из города Пешавара. Слышал такой? Нет? Ну, вот видишь. Он сам-то меняла, ну и деньги в рост дает. А когда у индийца денег больше ста тысяч, он делает у себя на лбу красную метку, вот здесь! Видел у него такую? Видел? Чтобы такую метку сделать, ко лбу раскаленное золото прикладывают. А у него, сынок, золота на сотни тысяч! И сколько есть в Ташкенте купцов, все его боятся, прямо дрожат перед ним. Все они ему должны, сынок, вот так-то... Ну, ладно, хватит болтать. Вставай. Заправь чилим. Если до вечера поработаешь прилежно, покой мне дашь, я тебе кавуши достану...

Нет, определенно, здесь стоило пожить.

В тот день я не пожалел труда, все делал, что велел старик, даже и сверх того. Хаджи-баба был немного нудноват, особенно когда заводился и начинал длинные речи, вставляя свое «вот так-то» через каждые два слова. Зато был он совсем не злой и, пожалуй, даже щедрый. Может,

¹ Сегодня базарный день, хозяин, надо торопиться в лавку, разрешите уйти.

это оттого, что он оказался туповат в расчетах? Если он хотел по порядку подсчитать шесть штук чего-нибудь, например, лепешек, то после четырех, как правило, сбивался, и ему требовалось немалое усилие, чтоб довести эту сложную операцию до конца и без потерь. Это мне в нем особенно понравилось. А он в меня поверил и сразу подзывал, когда ему пачинали угрожать какие-нибудь солидные числа.

Вечером снова пришел индиец-меняла, я с ним познакомился поближе, а в следующие несколько дней прямо-таки здорово к нему привык, так что когда он уходил, мне словно чего недоставало. Я, похоже, ему тоже понравился. Едва он появлялся, у меня сразу словно становилось по шесть рук и ног! Я торопился его обслужить, а он рассказывал мне необычайные вещи, про чудеса Индии. Говорил-то он по-узбекски не хуже нас с вами. Интересно, правда ли все то, что он мне парассказал? Будто бы в Индии, в городах, все улицы усыпаны жемчугом. А мальчишки стреляют из рогаток сапфирами, ну и жемчужинами, конечно, тоже, ведь за ними стоит только нагнуться. Лепешки поспевают там на деревьях, а усы начинают пробиваться, когда мужчине исполнится пятьсот лет. А главное, все — мужчины и женщины — круглый год ходят голыми, потому что зимы там не бывает. А цены какие! Баранов — тех вообще отдают даром, а слон со слоненком стоит четыре танги! Подумать только, да я бы заработал слона за неделю! Может, без слоненка еще дешевле бы уступили, и где мне возиться с маленьким?..

Мне прямо загорелось побывать в Индии. И мальчишки наши раньше говорили про Индию кое-что интересное, но куда там! Ничего похожего на рассказы менялы. И потом, ведь то говорили мальчишки, а что они говорят, я и сам могу запросто выдумать.

Кроме интересных рассказов, индиец был щедр и на деньги. Он курил не крупный ташкентский нас, а бухарский, толченый. Я бегал ему за насом и каждый раз обязательно доставал, даже если нужно было обегать чуть не полгорода.

— Молодец! — говорил он мне и давал сверх истраченных денег два-три мири, а то и тангу. В базарные дни он приносил целый мешок серебряных и золотых монет, показывал прежде всего чайник крепкого чая, а потом, устроившись на полу, считал деньги. Чаще всего, пересчитав половину, он задремывал, но тут же просыпался, ис-

пуганно вздрогнув, потягивал чилим, пускал клубы дыма — и принимался считать дальше.

Блеск монет притягивал меня, я садился рядом и, когда он засыпал, оберегал его от дурного глаза. Просыпаясь, он говорил со вздохом:

— О, святой аллах!

Индиец очень мне нравился.

Впрочем, и другие постоянные посетители курильни были народ совсем не грубый, наоборот, таких мягких, обходительных людей редко где встретишь. Только когда они, бывало, накурятся и впадут в дремоту, смотреть на них с непривычки жутко: словно мертвецы, вернувшиеся с того света! Но пока не накурятся, они читают вслух какую-нибудь книгу, а чаще всего заводят медленные, важные беседы обо всем в мире, что было, есть и только еще будет.

К тому времени, когда я сюда попал, уже год с лишком шла война. О ней здесь тоже, конечно, говорили:

— Сильная война идет, сильная. Говорят, с одной стороны Николай и француз, а с другой — Герман какой-то! Что это за Герман? Говорят, шестиглазые они и крылатые? Ну и племя! И в старицу такого не видывали. Сколько городов белого царя, говорят, с землей сровнял. А еще говорят, он ползучую пушку придумал, она, вроде, на дракона похожа. Точно, точно, из рода драконов! А еще говорят, что никому не одолеть этого Германа, кроме таких непобедимых богатырей, как Або-Муслим, Кахрамони-катил, Халифан-Руми... Ну и ну! Так, глядишь, и до нас доберется. А еще говорят, среди войска белого царя... — тут все переходят на шепот, — непокорные, говорят, появились... А, слышали? «Не будем воевать с Германом, пускай, мол, белый царь сам воюет...» Оно и понятно — кому охота с голыми руками на такое чудище идти! А, что? Кто у них главный, у этих непокорных? Вот-вот, и я слышал, богатырь по имени Мастеровой...

Тут свежие политические новости иссякают, и беседа с политики понемногу переходит на прихоти птицелюбов. Толкуют о каком-то чудодее, который научил попугая говорить «дурак»; и о другом, который сделал галку наркоманом. Ей-богу, теперь она и дня не проживет, не выкурив чилима! А еще один обучил, говорят, курицу кричать петухом, с тех пор она и часы заменяет, и яйца несет. А жулан сносит яйцо через рот, — слышали об этом? Но скоро и эта тема иссякала, начиналась полемпка о причинах зем-

летрясений: тут высказывалось столько любопытного, что тому, кто и впрямь ведаёт землетрясениями, стоило послушать, — он бы наверняка кое-что намотал на ус. Нет, жаловаться на скуку мне было грех.

Хаджи-баба моей работой тоже остался доволен. И сдержал свое слово насчёт кавушей, хотя обувь в Ташкенте и впрямь сильно подорожала.

Голодные сапожники и их клиенты — всяческая беднота — только и знали что «опорки». Все охотились за «опорками». Так называли не голенища, а нижнюю часть сапог солдат, убитых на фронте. Их собирало какое-то заботливое военное учреждение, жадное до денег. Об этом услышал один ташкентский купец. «Покажу я вам, как надо заботиться о бедных людях!» — сказал он, отправился на фронт и привез оттуда целых восемь вагонов «опорок»! Теперь он продавал их пачками, по десять и двадцать пар, мелким сапожникам, занимавшимся починкой старья, а те их ремонтировали, избавляя бедный люд от необходимости тратить деньги на новые кавуши или калоши... «Опорки» стоили куда дешевле! Ну, я думаю, благородный купец тоже не остался внакладе, на пару хороших сапог он себе наверняка заработал.

Вот такие «опорки», еще довольно крепкие, Хаджи-баба мне и купил. Тяжелые они были, как два топора, и не менее твердые. В первый день они стерли мне ноги до волдырей. Но зато у меня была обувь, а к волдырям можно притерпеться.

По четвергам и пятницам в курильне особенно много народу. Кроме двадцати с лишком постоянных посетителей приходит еще и молодежь, которая устраивает плов в складчину да затягивается пару раз чилимом или слегка покурит анашу — «для аппетита», «для настроения», как они говорят. Молодежь эта — большей частью мелкие кустары, редко-редко попадетя среди них байский сынок. Зато в среду, с утра и до вечера, Хаджи-баба отпускал меня на свободу. Иногда он поручал кое-какие мелкие дела на базаре, но чаще всего я бродил по базару сам по себе. Среда была моей пятницей! ¹ Утром Хаджи-баба давал мне полтаьги — праздничные деньги, «джумалик».

— Погуляй, сынок, только возвращайся пораньше. И не кривляйся, не будь посмешищем каждому встречному, как обезьяна бакалейщика; да не зевай у каждой

¹ Пятница — праздничный, свободный день недели у мусульман.

лавки, словно почтовая лошадь; и в драку с любым бездельником не вступай, как бродячая собака на мясном базаре; и не объедайся, смотри, как кишлачный простофиля, который во время хайта попал в торговый ряд... Не все, что глаза видят, живот принимает, так-то вот оно, сынок, да.

Я стою, переминаясь с ноги на ногу, меня ждет свободный день, полный удовольствий, все, что он говорит, я и в будни двадцать раз слышал. Ну, все вроде? Я кланяюсь и бегу, но он меня снова останавливает:

— Да, вот еще что. Возьми-ка это мира и купи фунт свечей у мыловара уста Талиба. Знаешь, на Ходжи Рушнаи. Да смотри, чтобы они не воняли. Завтра четверг, поставим свечи душам святых, как бы они не обиделись, если свечи будут вонючие... Ну, иди, сынок, иди...

Слава аллаху! Я успеваю сделать пару прыжков, когда он снова меня окликает:

— Постой-ка, сынок, возьми вот еще две копейки, сходи к табачному сараю, там есть лавочник из Бухары, купи у него толченого наса для индийца...

— Ладно, не надо денег, нас я и так куплю.

— О,— сказал Хаджи-баба,— могу и себе оставить; деньги — радость души. Я зна-аю, вас с индийцем водой не разольешь! Ишь, как для индийца, так и денег не надо! Руки мои отдадут — руки мои берут... Хе-хе, так вот оно и бывает. Ну и глаза у тебя, сынок, так и бегают! Иди-иди, благо ты свободен, как плеть из кизильника... Ах, что лучше молодости и свободы!

Он что-то еще бормочет мне вслед, но я уже не слушаю, бегу вприпрыжку. И правда, что лучше свободы!

СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ

Я хожу по улицам с опаской — и то удивительно, что за две-три недели я не встретил еще ни одного знакомого! Не приведи господи, попадешься на глаза матери или дяде — позор! Но пока мне везет. Курильня находится, правда, далеко от нашей махалли, да ведь на базаре-то все бываю!

Вот и сейчас я туда бегу. Сначала на дынный базар, к открытой поляне, что за Маджомп. Арбузов и дынь здесь целые горы — зеленые, и зеленые в черную полоску, и

зеленые до черноты; горы золотые, светло-желтые, шафрановые, желто-бурые, красновато-желтые, коричневые... Водоносы обильно полили землю, здесь довольно прохладно, пахнет клевером: повсюду виднеются его стога, привезенные на продажу. Стоят арбы с плетеными кузовами — откуда ни наехали они только: из Кувы, Маргилана, Ферганы, Алты-Арыка! Лошади выпряжены, а в тени кузовов и возвышаются все эти многоцветные горы: вот дыни сорта «ак-куруг», с пажитным белым мясом, вот желтовато-красные «киркма», вот «кзыл-куруг» — чуть жестковатые благоухающие красномяски, вот золотистые «шакарпалак», готовые треснуть при малейшем прикосновении...

А тут чудесный товар лежит прямо в кузовах. Большие, с дыню «хандаляк», красно-бурые шары, точно волшебные шкатулки с драгоценностями, запертые самим аллахом, так что и замка не отыщешь. Так оно и есть! Это гранат, под их твердой оболочкой прячутся сотни маленьких рубинов с прозрачными гранями, райские зернышки, полные душистого кисло-сладкого сока, — мечта!

Навстречу мне попадается парень моих примерно лет, тоже, видать, бродяга.

— Эй, — говорю я ему, — как тебя звать?

— А тебе-то что?.. Ну, Атабай.

— Если куплю одну дыню, составишь мне компанию?

— Составлю... Только у меня денег нет.

— Если у тебя денег нет, что ты на базаре делаешь?

— А какое твое собачье дело?

Точно! Никакого мне дела нет. Правда, в другое время я бы ему это «собачье дело» не спустил, но сейчас настроение у меня благодушное, неохота связываться. К тому же я, по правде говоря, отлично знаю, что он делает на базаре без денег. Небось помогает сгружать дыни и арбузы и получает плату мятыми, треснувшими или недозрелыми плодами далекой бахчи...

Ладно, валяй дальше, бродяга! Нынче ты мне не пара. И я покупаю за пакрыл маленькую красномяску, раскалываю ее и принимаюсь есть в одиночестве — в полное свое удовольствие! Уж больно я соскучился по фруктам... В курильню свежих фруктов и близко не подпускают: те, кто употребляет терьяк, опиум, кукнар, боятся их больше, чем кошка воды! Впрочем, так же боятся они и самой холодной воды, и молока, и простокваши. От гератской сливы, от вишни кок-султан, даже от граната их просто бросает в дрожь. Только заговорите при них обо всем этом,

они уже передернутся. Однажды я уговорил Хаджи-баба попробовать очищенный персик. Ой, что было! Он так плевался, что я думал, его наизнанку вывернет. «Тьфу, говорит, проклятое ты дитя! Персики, персики! Да это отравка, а не лакомство! Бр-р! Водяной шар, вот что такое твой персик! Тающая тряпка! Тьфу!» С тех пор я его не уговаривал, очень надо! Могу и сам съесть.

Вот как эту дыню. Доел я ее со вкусом. А теперь... Теперь я куплю еще пару гранат! Пировать так пировать! Я протянул одно миру дехканшну в ферганской тюбетейке, с темно-коричневым от загара морщинистым лицом, на котором седые усы и борода казались белыми, как снег.

— Граната захотелось, сынок! Ладно, положи-ка деньги в карман, я еще не сделал почина, а до почина в розницу продавать не хочу... — Я пожал было плечами и хотел уже отойти, но он наклонился, взял два крупных граната и протянул мне:— Бери! Бери, бери, не бойся... Один сам съешь, другой маленьким братишкам отнесешь, помолись за меня, вот и ладно. Гранат священный, издалека привезен...

Я поклонился старику, пробормотал «спасибо» и взял гранат. Потом я перешоясался платком, сунул гранат за пазуху и пошел с дынного базара. Проходя мимо лепешечного ряда, я увидел старосту старогородских сторожей Рахматуллу-саркара. Это был знакомый моего отца. Он шел мне навстречу. Сначала я хотел было дать стрекача, но он меня уже заметил, и я со скромным видом подошел и поздоровался.

— Эх, сынок,— сказал он, оглядывая меня, и покачал головой,— вон ты каким парнем уже стал! Идет время! Ну, как Мирза-ака?

Это он спрашивал про моего отца! Значит, про меня-то он и вовсе не знает...

— Умер он, ата,— сказал я.

— Ну-у! Ох, беда. Жаль, жаль, хороший был у тебя отец, сынок... — Он помолчал.— Ну, да благословит его бог! А мать... здорова?

— Мать... мать здорова, ата.

— Сколько ж вас после отца осталось?

— Я да трое сестреноч...

— И все малыши... Ох, беда! — Он помолчал, оглянувшись, поискал вокруг глазами, потом махнул рукой, полез за пазуху и вынул тощую перепелку.— На, посади ее в клетку да корми, авось станет хорошей певуньей.

Я поблагодарил, взял перенелку и сунул тоже за па-
зуху.

— Да-а, жалко твоего отца... А тут еще один человек пропадает. Карабая-таджика знаешь? Нет? Молодой парень... Молодой-то задор и виноват, держал пари, да и вывихнул себе позвоночник, повезли его к табибу. Боюсь за него — видно, пропал парень...

— Как же это он вывихнул позвоночник, ата?

— Я ж тебе говорю — держал пари с байскими сынками из галантерейного ряда, что в одиночку снимет с арбы и отнесет в сарай большой мешок с бусами от дурного глаза... А там двадцать с лишним пудов! Разве можно с байскими сынками пари держать? Им только и забавы, что покалечить бедного человека! Эх...

Этот Карабай-таджик был, видно, одним из сторожей — они часто были из таджиков. Заодно они работали и грузчиками в торговых рядах. Рахматулла-саркар всех их опекал и пользовался у них большим почетом.

— Ладно, сынок, — сказал он, — пойду узнаю, что там с ним. Приходи к нам в свободное время!

Я постоял в раздумье. Куда теперь? Тут до слуха моего донеслись звуки карная и сурная. Ноги было сами понесли меня в ту сторону — цирк! Потом я замедлил шаг — туда ведь соберется вся окрестная ребятня, меня увидят... А, была не была!

Это оказались действительно циркачи Юпатова. Их разукрашенные арбы остановились посередине площади Чорсу. На одной арбе, зазывая народ, трудились изо всех сил музыканты: два карнайчи, один тощий тип с сурнаем да один барабанщик. Карнайчи надувались так, что казалось, вот-вот лопнут на глазах у публики. А тип с сурнаем даже вроде и не напрягался особенно — если б я не слышал, что сурнай издает свои распрекрасные звуки, я бы подумал, что сурнайчи просто дурака валяет, только делает вид, что дует. Может, он был такой тощий, что в нем и раздуться нечему было? Зато барабанщик старался за двоих и так колотил палочками, словно у него было их не две, а целый десяток...

На соседней арбе показывали свое искусство клоуны. Немыслимо пестрые шапки, на них наверняка пошло по лоскутку от каждого цвета, в какой только красят материю на земле; и лица — не лица, а маски из красок и муки. В самой середине этих масок торчат носы, такие длинные, что ими можно почесать под мышкой. А над

всем великолепием нависают из-под шапок длиннющие желтые волосы! Вот бы мне такие! Впрочем, я не отказался бы и от их халатов, длинных полосатых халатов, украшенных множеством серебряных полумесяцев и золотых звезд. Но больше всего я завидую их уменью показывать разные номера, разные фокусы, от которых только рот разеваешь. Ну и ну! Сподобит же аллах научиться — да я бы с таким уменьем горя не знал! Не только завоевал бы великий почет среди окрестных мальчишек, но еще и кучу денег заработал: чего проще держать пари, что я вот сейчас положу яйцо в рот, а выну — спорим? — из уха! Это как раз и проделывает один из клоунов...

А вот еще арба, и на ней какая-то русская женщина, нарядив пятерых комнатных собачек, словно игрушечных тетенек, заставляет их танцевать, подпевая им:

Люблю, люблю я, Мамаджон,
люблю я, Мамаджон.
Я та, что смотрит из окон,
мой милый Мамаджон.
И чай стаканом испокон
пила я, Мамаджон...

Глупая песня, конечно, но для собак сгодится. Не все ли им равно, под какие слова танцевать?

На четвертой арбе полураздетая женщина показывает разные штуки ногами и руками, только, по-моему, ей самое главное — пощеголять своими роскошными шароварами с блестящими застежками внизу. Силач с четырьмя двухпудовыми гирями (это он сам кричит, что они двухпудовые) подкидывает их попеременно вверх, ловит на лету и снова подкидывает. А еще один в кругу показывает, как стоит на задних ногах горячая лошадь и как она кланяется публике. Он так похож на лошадь, что мне хочется на нем прокатиться...

А посреди всех этих чудес, переходя с арбы па арбу, разгуливает всем известный Рафик-клоун и кричит:

— Эй-й, кто не знает, пусть узнает, кто знает, пусть другим скажет! Старый знакомый нашего народа Юпатов-бай и его дочь Майрамхон построили возле каравансарая цирк! Слышите! Цирк! Билеты стоят от мираи до танги! Приходите! Приходите! Пожалеете, если не придете!..

Я пролез в первый ряд и стоял прямо против музыкантов, получая удовольствие полной мерой. Тут я вспом-

нил о гранате, вытащил один, нашел маленькую трещинку, разломил и стал давить. Кисло-сладкий сок потек ко мне в рот и по подбородку, на зубы попало несколько зернышек, я стал их жевать, морщась от кислоты и удовольствия, и не заметил сперва, что карнаи и сурнай вопили уже не так уверенно, как раньше — из них вырывались квакающие звуки. Вдруг один из карнайчи, безбородый старик, прервал игру, взял платок, перекинутый через плечо, вытер щеки и губы, сплюнул и закричал:

— Эй ты, проклятый мальчишка! Тебе говорю!

Я обернулся, чтобы посмотреть, кому это он кричит.

— Чего вертишься! Тебе говорю! Уходи отсюда, ешь свой гранат в другом месте, чтоб тебе пусто было!

Ну и дела! Я ведь забыл, что перед музыкантами, играющими на карнае или сурнае, нельзя есть кислое — ни гранат, ни сливу, ни курт. Когда они это видят, у них слюна начинает так и хлестать, дуть в трубу невозможно... Надо же, знал ведь — и забыл! С арбы соскочил один из клоунов и вытолкнул меня из толпы, а я глядел на него во все глаза — это был тот самый, что переправлял куриное яйцо через рот прямо в ухо...

Ну, прогнали — и ладно! Хватит с меня цирка. Тем более что представление зазывал уже кончается. Благодарение аллаху, никого из знакомых я так и не встретил. Я еще раз вспомнил желтые волосы клоуна, тряхнул головой — и сообразил, что я уже целую вечность не стригся. Не сходить ли к парикмахерам? Вот как раз и парикмахерская у мечети Махкама. Вместо вывески над дверью красуется грязный красный фартук, — его видно издали, люди сразу догадываются, что здесь обосновались цирюльнички.

В парикмахерской сидят несколько человек. У одного на шее четыре пиявки. У другого на висках пристроены два рожка для спускания крови. Эти рожки, с отверстиями на обоих концах, делаются из самых настоящих бычьих или коровьих рогов, выдолбленных изнутри. Парикмахер, сделав надрез на висках, приставляет рожки и спускает кровь. Человек с рожками, краснолицый, с тяжелым крутым лбом, и впрямь сейчас походил на быка. Он стоит, и другой, с пиявками, тоже. Оба они сидят на низкой скамейке у двери, а сам парикмахер занят удалением коренного зуба у третьего клиента. Клиент замер у него под руками с разинутым ртом, как у рыбы на берегу, и глаза у него точь-в-точь как у рыбы, такие же вытаращенные.

Старик парикмахер спустил на нос очки в черной железной оправе и посмотрел на меня:

— Что, мальчик, постричься хочешь? Это будет стоить один папыр. Деньги есть?

— Есть.

— Тогда не стой здесь попусту, пди к хаузу и хорошенько помочи волосы.

Парикмахеры — люди важные, образованные, мастера на все руки. Они не только стригли, брили, ровняли бороды и усы, красили волосы, но еще и лечили от множества болезней. Пустить кровь, поставить пиявки, удалить зуб, дать слабительное — все это и многое другое тоже входило в круг их обязанностей, из которых самой доходной было обрезание. Так что, когда появлялись такие завалающие клиенты, как я, суровые мастера не снисходили до того, чтобы собственноручно мочить им волосы, а посылали к хаузу.

Я зашел во двор мечети Махкама, добросовестно намочил голову водой из хауза, что посреди двора, и стал тщательно тереть волосы. Когда я вернулся в парикмахерскую, коренной зуб был уже выдернут, его хозяин стоял в сторонке и охал, сплевывая кровь, а парикмахер снова был занят — подправлял усы какому-то старику. Он опять глянул на меня краем глаза и сказал:

— Чего стоишь, три волосы, а то высохнут!

Наконец подошла и моя очередь, и на шее у меня оказалась грязная повязка красного цвета.

— Ах ты, нечистое отродье, намочил-таки плохо! — сказал парикмахер, налил полную пригоршню воды из кувшина для омовения и стал растирать мои волосы сам. На пальцах у него, чуть не на каждом, было по кольцу, и он сдирал с меня кожу целыми полосами. Остальное доделывали мухи, они тучами кидались на мои раны, точно волки на павшую лошадь. Удивительные мухи в парикмахерской, ничего не боятся! Я думаю, они в стоворе с самим хозяином и кусают только дешевых клиентов.

Содрав мне примерно половину кожи с головы (это называлось у него намочить волосы как следует), парикмахер наконец приступил к делу. Он начал брить с висков широко, как пятерня, лезвием. Первый раз я видел такую бритву! Каждый раз, как он проводил ею, я подскакивал, потому что при ближайшем рассмотрении бритва оказалась вовсе не бритвой, а пилой: остатки лезвия равномерно чередовались на ней с зазубринами. Но пилу

тоже иногда точат, а он свою не точил, видно, с тех пор, как перепилил надвое какого-нибудь захудалого посетителя. В то время как я подскакивал с приглушенным воплем, он сердито пихал меня обратно и говорил:

— Сиди спокойно! Что за нетерпеливый мальчишка, шайтан в тебе, что ли, сидит?

Когда бритые наконец завершились, я был уверен, что попал в рай. Выжить после таких пыток невозможно, а на тот свет я прибыл явно как великий мученик. Но, к счастью или к несчастью, я был все еще в парикмахерской. Только я встал, как со стороны шорно-седельных рядов донеслись вопли толпы. Вовсе не замышляя смыться, я кинулся к двери посмотреть, что там такое. Но парикмахер налетел на меня, как коршун на цыпленка, и схватил за грудки:

— Ах ты, паршивец! Удрать хочешь! Убирайся, только сначала деньги заплати. Здесь святейшее заведение Сулеймана-чистого, его обманывать нельзя, понял, паршивец? А кто его обманет, у того и парша, и колтун, и лишай — все на голове заведется!

Я хотел ему сказать, что и парши, и лишай, и всего прочего с избытком хватает на грязных фартуках и повязках этого чистейшего заведения. Но времени на разговоры не было, я сунул старику причитавшийся папыр и помчался туда, откуда неслись шум и вопли.

Мелькнули мимо книжные ряды, ряды по торговле кошмами, ножами, седлами — народу всюду тьма, все галдят, спешат, вытягивают шеи. Проскальзывая, протискиваясь, пробиваясь, я выбираюсь на базарную площадь и там, у моста через арык Джангах, пересекающий базар, вижу наконец причину всей суматохи. У входа в ряды по торговле барабанами несколько дюжих парней волокут стройного, франтоватого мужчину с черными усами и бородой, лет сорока примерно. На нем бешмет и камзол из китайской чесучи, подпоясанный розовым шелковым платком, на груди длинная золотая цепочка от часов, на голове еще держится кокандская цветная тюбетейка, а лакированные ичиги и кавуши поблескивают сквозь пыль. Парни, видно, только что вытащили его из двустворчатой двери, украшенной резьбой, со двора известной Айши-яллагчи, певицы. Вспомнив, чей это двор, я догадываюсь, кто этот франтоватый мужчина, — это же, наверное, муж Айши, Рахмат-Хаджи, знаменитый старогородский щеголы!

Так и есть! Он сопротивляется, как может, а толпа вокруг вопит:

— Тащи его, тащи, вот он, сводник проклятый, вот он, совратитель! Тащи его!

Парни, волокущие Хаджи, схватили его за руки и за ноги, пронесли пемного, а потом рывком бросили, точно мешок с зерном. Хаджи, хоть и сильно ударился о землю, вскочил все же, поднял правую руку и, обращаясь к толпе, закричал:

— Эй, мусульмане, эй, люди!

Но тут огромный мужчина лет тридцати, судя по одежде — мясник, кинулся на Хаджи, с маху ударил его головой, и бедняга Хаджи полетел вверх тормашками. Толпа снова завопила: «Бей подлого сводника!» Хаджи схватили за ноги и поволокли к перскрестку. Разъярившуюся толпу не могла бы усмирить никакая сила. Все, кто мог дотянуться до несчастного, считали своим долгом ударить его кулаком или пнуть ногой. Кто был далеко, жаждал попасть в него хотя бы камнем, попадая, конечно, и в других, что только усиливало суматоху и ярость. Это походило на растревоженное осиное гнездо, только осы-то были чуть великоваты. Подоспели полицейские, пешпе и копные, они свистели, стреляли в воздух, пытались разогнать толпу плетьюми — все тщетно. Бедняга Хаджи, верно, давно уже отдал душу богу, а его тело все еще били, пинали, терзали... Толпа начала рассеиваться добрых полчаса спустя, и чем меньше людей оставалось, тем поспешнее они уходили прочь, и я сам слышал, как один спросил другого: — Эй, послушай, а кого это прикончили, не знаешь? Чего он сделал?

А ведь, может, они первые и ударили несчастного Хаджи...

Я еще долго шнырял вокруг, слушал разговоры и по-немногу выяснил всю историю.

ИСТОРИЯ РАХМАТА-ХАДЖИ

Рахмат-Хаджи, муж Айши-яллачи, нынешним летом поехал в Фергану — посмотреть да поразвлечься. Там он выдал себя за богача и сказал, что хочет жениться. Ну, за этим дело никогда не станет: ему тут же сосватали дочь одного сапожника — молодую вдову Латифахон. Прожив с ней в Маргилане несколько дней, он со всем имуществом

повез ее в Ташкент, однако прежде чем ввести в дом, явился туда сам и обратился к старшей жене, Айше, прямо-таки с мольбой:

— Жenuшка, душечка, допустил я по молодости лет промах, совершил глупость, но ты уж меня не выдай, проживу с ней недельку, а там по-доброму, по-хорошему отправлю назад. А ты будь мне пока что «сестрой», не осрами меня, душенька, я уж тебе отслужу, до самой смерти верной собакой буду. Только послушайся меня, а я раздобуду денег и в следующий раз возьму тебя в хадж, ей-ей, разрази меня аллах... Поездим по свету, да и вернемся чистыми от всех грехов! А, Айшахон?.. Договорились? Только не осрами меня, а уж я готов пить чай из той воды, что ты ноги мыла...

И так он молил, так упрашивал, что Айша-яллачи подумала, да и махнула рукой: ладно, мол. Ну, Рахмат-Хаджи и привел к ней в дом эту маргиланскую красавицу. Устроил он маленькое угощение в честь своей женитьбы, а там и пошло. Говорят, встретив новую любовь, от старой отвернешься, так и тут вышло. Рахмат-Хаджи стал избегать Айшу-яллачи, а нет-нет даже и смеяться над нею в присутствии Латифахон. Ну, Айша-яллачи терпела-терпела, наконец терпение у нее лопнуло, переполнилось чаша. Однажды, когда Рахмата-Хаджи не было дома, она зашла к себе Латифахон и говорит:

— Послушайте-ка, аймпаша (это вроде как сказать: «Послушайте, милашка»), это у вас в Маргилане все такие наивные, или вы одна такая? Вы уже три месяца, как в этот дом пришли, неужели все еще ничего не замечаете? Да ведь ваш Хаджи-ака мне вовсе не братом приходится, а мужем! Так что и вы мне, милая, вовсе не невестка. На мне лежат все расходы по дому, я вашего Рахмата-Хаджу избаловала, как холощеного кота, вот он и стал с жиру беситься! Разве вы не знаете, что я — самая знаменитая певица в Ташкенте? Саври-яллачи, Рисал-яллачи, Фатъма-яллачи — это все мои ученицы. Я хожу на все свадьбы, до утра пою, танцую, всю свою душу выворачиваю наизнанку, чтобы умело подольститься то к байским сыпкам, то к важным богачам, то к толпе ремесленников, унижаюсь, вымалываю свои денежки, а Рахмат-Хаджи эти рубли и транжирит! Вы что, всего этого не видите? Не-ет, говорят, две собаки с одного блюда не едят. Я-то мужа не жажду иметь. Захочу, так сто мужчин для меня пайдется. Вы столько мужских глаз и на улицах не встречали, сколько

на меня каждую ночь пялятся. Мой лоб, щеки да подбородок сверху донизу золотыми десятирублевками облепят, стоит мне только захотеть! Я кивну, и птица, что в небе, у меня в руках окажется... Мне-то наплевать, но вас мне жалко. Вы еще женщина молодая, дочь правоверного мусульманина, честного человека, а Хаджи вас опозорил, да еще и ославит напоследок. А знаете, для чего вы ему понадобились? Э-э... Могли бы и сами догадаться. Да он вас сведет с богатыми стариками, за одну ночь по сотне будет за вас получать! Так что будьте осторожны, милая. А, впрочем, может, это вам все по душе? Тогда воля ваша...

Бедная Латифахон сидела белая как полотно и не могла сказать ни слова. Дослушав, она поднялась и, шатаясь, как подстреленная перепелка, пошла в свою комнату. Некоторое время спустя она вышла в парандже и с узелком в руках и сказала:

— Спасибо вам, Айша-апа, образумили вы меня, я была как слепая. Простите меня за все, чем я вас обидела, может, нечаянно, может, нарочно. А я домой уезжаю!

Тут Айша-яллачи с ней попрощалась, заплакали они обе, обняли друг друга и поцеловались. Не прошло и пяти минут, как Латифахон ушла, вернулся Рахмат-Хаджи. Пошел он в комнату Латифахон, видит, ее нету, вышел и спрашивает у Айши:

— Эй, где Латифа?

— Бросила тебя Латифа, уехала в Маргилан. Сказала, будет развода просить. Не могу, говорит, жить с соперницей в одном доме...

— Ты, что ли, ей проговорилась?

— Я-то не проговорилась. На чужой роток не накинешь платок. И луну подолом не заслонишь. Тыща людей наш порог переступает, кто-нибудь и сболтнул наконец.

— Ах ты, черт, плохо дело! Давно она ушла?

— И пяти минут не прошло. Беги — догонишь. Спроси у людей, не проходила тут женщина в маргиланской парандже да с узелком в руках? Наверняка видели.

Рахмат-Хаджи, расстроенный и перепуганный, побежал на улицу. Расспрашивая то одного, то другого, он догадался-таки, куда она пошла, и нагнал ее у мясного базара.

— Эй, остановись, Латифа!

— И не подумаю остановиться!.. Сводник проклятый!

— Что ты мелешь, дура, какой сводник?

— Сводник, сводник! Больше ты меня не обманешь, шайтан! Тысяча проклятий твоему имени, ой, я несчастная-а-а! Люди, мусульмане!!

Стал собираться народ; слушая, как они переругиваются, вышли мясники из-за своих прилавков. Видя, что дело принимает дурной оборот, Рахмат-Хаджи побежал обратно домой. Толпа зевак покатила за ним следом, по дороге выясняя у Латифахон подробности. Латифахон, плача, выкрикивала что-то малопонятное, но толпе уже было довольно. Люди и так были взбудоражены каждодневными разговорами и слухами о войне, растущей дороговизной, опасениями надвигающихся бед. Рахмата-Хаджи выволокли со двора и потащили...

Полицейские отнесли его труп в сарай и прикрыли циновкой. Конечно, ни того, кто убивал, ни каких-либо свидетелей найти им не удалось. Латифахон тоже исчезла неизвестно куда.

Мой свободный день клонился к вечеру, базар по-прежнему пустел. Я купил, как мне было поручено, фунт свечей, обнюхав их сначала, как собака дохлого цыпленка; потом взял на две копейки мелкого наса для индийца, да еще за три пакрыра купил полфунта халвы — гостинец для одиноких посетителей нашей курильни. Можно было отправиться восвояси. И тут, как раз возле тапдырного базара, у бани Бадалмата-думы, мне встретился Тураббай — мой закадычный друг, сын Расулмата из нашей махалли, торговца хлопковыми коробочками.

Я так все время боялся встретить знакомых, что даже и не понял, обрадовался я или нет. Тураббай на секунду остановился, разглядывая, а потом кинулся ко мне.

— Ну и ну! — закричал он. — Жив ты, каналья? Ты, выходит, в Ташкенте?! А твоя мать хотела траур объявить! — Мы обнялись, и он стал меня снова разглядывать. — Что ж ты домой не кажешься? — спросил он. — Неужели ты бессердечный такой?

Я забормотал в ответ:

— Да, понимаешь, друг, одет-то я как? Стыдно так домой вернуться... Я уже тут с неделю...

— С неделю? — сказал Тураббай. — Как же это мы тебя не встретили?

— Да я у хозяина... щедрый такой... вот еще неделю побуду у него... рубахой обзаведусь... да сестричкам куплю

что-нибудь.— В эту минуту я и вправду решил, что через неделю вернусь домой.— У меня к тебе просьба, слышишь, Тураббай? Не говори никому, что меня видел! Ник-кому! Я на той неделе сам приду! Не скажешь? — Он кивнул.— Слушай, а как там мать и сестрички, а? И что в махалле нового?

— Да ничего,— сказал Тураббай.— Мать и сестрички твои поживают хорошо. Твой дядя помогает. А что в махалле может быть нового?.. Правда, козел у Салимбаюсуфи оягнулся! Вот смеху было... А Хуснибай разорился, знаешь, он лоскутом торговать стал? Ну вот. Разорился начисто! Отец его отодрал. В мечети сперли подстилку для намаза, такую полосатую. Кто спер, не знаю, только говорят, у Исмата-диваны халат из этой подстилки! Слепая Зияд-ача померла... Которая частушки сочиняла... Последнюю знаешь? Нет?

Крепко время дубит кожу —
год за годом, шаг за шагом.
Шкура сделалась подошвой,
терпеливый — падишахом!

Вот и все новости...

— А ты как живешь, Тураббай?

— Я-то? Хорошо-о! Э! У моего отца дела теперь во идут! Гуза подорожала, головка жмыха до двух таньги доходит!.. Ну, смотри, если не вернешься на той неделе, всем скажу, что тебя видел! И матери, и ребятам. Да, а кто твой хозяин?

— Секрет!

— Ишь ты, секрет! Что это ты таким важным заделался?

— Да так...

— Скажи лучше, а то сам все узнаю, да и раззвоню на весь свет!

— Ну уж ладно... Я... я учеником к канатоходцу поступил...

— Ой! Ври больше! Если ты навялся к канатоходцу, где у тебя бархатные шаровары? — Мы оба покатались со смеху.

— Да, скажи-ка, а где Аман?

— А, и верно... Я забыл. Он недавно вернулся, ободранный весь, и такого наговорил! Ну, все равно никто не верит. А он клянется: «Пусть аллах меня накажет, пусть меня гром разразит...» Теперь у него дела вроде пошли.

Нанялся в ученики к Абдулле-арбакешу, таскает ему воду, за лошадью смотрит... Абдулла-арбакеш ему солдатский ремень подарил. И ругаться по-русски научил. Ох и ругается! Аж завидно! А недавно у его отца лавка завалилась, так мы хашар устраивали — чинили.

Я слушал все это, представляя себе знакомые лица и нашу махаллю... И так мне домой захотелось!

— Ну, ладно, — сказал я, — мне идти надо. Остальное сам узнаю, когда вернусь.

Тут я вспомнил про перепела, которого подарил мне Рахматулла-саркар. Перепел сидел у меня за пазухой. Я вытащил его и протянул Тураббаю.

— На вот, посади в клетку, хорошо неть будет.

Тураббай взял перепела и погудел ему в уши. Потом еще раз погудел.

— Да это самка! — сказал он.

— Я всю стень обошел, я, что ли, самца от самки не отличу! — В душе у меня, однако, никакой уверенности не было. Мы остановили какого-то парня.

— Мулла-ака, посмотрите, получится из него певчий или нет?

Парень взял перепела, оглядел и улыбнулся.

— Из ее птенцов певчие получатся, а из нее нет!

Я и вида не подал, что посрамлен.

— Ладно, — сказал я Тураббаю, — в плов положишь. Мы распрощались и пошли в разные стороны.

КУРИЛЬНЯ

Хаджи-баба и остальные уже кончали третью молитву, когда я вернулся. Я сложил в стороне свои покупки — свечи, нас, халву, оставшийся гранат, сменил воду в чилиме, вычистил головку. Потом вытер самовар, убрал лопаточкой золу и, как ни в чем не бывало, встал, с полотенцем через плечо, с вешиком в руке, ожидая, когда кончится намаз. Тут он и кончился.

— Ах ты, мой сиротинушка, загулял, бедный! — сказал Хаджи-баба. — Говорят, у сироты отцов много. Так вот оно и бывает, видно, нашел себе пару отцов, а? Нашел? Ишь ты, какой мягкий вешик, чтоб тебя германская пуля паразила!

— Смотрите, Хаджи-баба, уже закат на дворе, не проклиняйте в эту пору, — сказал один из курильщиков.

— Совсем от рук отбился! — сказал Хаджи-баба.

— Что интересного на базаре случилось? — спросил курильщик, который за меня вступился.

— Ой, Хаджи-баба, — сказал я, — ныпче на базаре толпа Рахмата-Хаджи убила, знаете, красивый такой, муж Айши-яллачи! Самосуд устроили...

— Ай-яй-яй... — сказал Хаджи-баба. — Сохрани нас аллах! И вправду красивый был мужчина, интересный собой! Царствие ему небесное! Ну, если его толпа убила, зачислят его в число великомучеников, пострадавших за религию... Зато от вечных мук в адском огне избавился... Вот так-то.

Но остальные хотели узнать подробности.

— Расскажи, как это было? Ты сам видел? Где? В парикмахерской услышал? О, да ты побрился! И правда, ты стал точь-в-точь как иранский падишах Ахмедали-лысый, я сам фотографию видел! Ну, рассказывай...

Я начал рассказывать всю историю с самого начала, как я что услышал и где что увидел. На меня нашло вдохновение, и подробности, одна другой ярче, рождались у меня прямо на ходу и соскакивали с языка так легко, словно были наичистейшей правдой. На самосуд, сказал я, собралось столько народу, что в одном месте земля провалилась, и я чуть было не упал в провал, но он уже был полон теми, кто провалился до меня. А потом царь направил туда стотысячное войско, и войско семьдесят один раз стреляло по народу, и все так шарахались от пуль, что девять женщин родили недоносков, а один из минаретов мечети Кукельдаш покосился. А потом полицейские Мочалова разграбили шорный ряд, а женщины, купавшиеся в это время в бане, выбежали со страху голыми...

Я говорил больше часа и наговорил такого, что Хаджи-баба и думать забыл о моем опоздании. Пока я все это выкладывал, курильня наполнялась гостями, их собралось человек двенадцать. Они слушали, вытаращив глаза, и, по-моему, чуть сознание не теряли от моего рассказа. Некоторые, забыв, что только что приняли опиум, попросили порции снова. Двое или трое были сами на базаре, и — удивительно: они не только подтверждали мои слова, но еще и от себя кое-что добавляли! Сразу после третьей молитвы пришел и мой индиец. Вид у него ныпче был веселый. Он успел услышать половину моего рассказа и по ходу дела переспрашивал, вставляя свое «машалла, машалла!».

Потом все общество стало обсуждать печальную историю Рахмата-Хаджи. Одни обвиняли его самого, другие Айшу-яллачи, третьи — маргиланскую вдову, четвертые нападали на эту необузданную толпу (хорошо, что самой толпы здесь не было!), пятые проклинали беспечность Мочалова и его полицейских.

— Это верно, бывают недоразумения, — сказал уста Мирсалим, старый очкастый мулла, наш постоянный посетитель. — Вот, например, в прошлом году на саиле в Заңги-ата что вышло. Была пятница, стойте, когда же это было, ну да, в середине месяца сунбула! К святейшему пиру Заңги-ата паломники прибыли. И-и, откуда их только ни наехало — из Ирака да Бадахшана, из Индии и Рума, из Китая — со всего света собрались! А из нашего Ташкента, наверно, все выехали, даже младенцы из люлек повывлезали, ей-богу! Словом, народу тьма-тьмущая. Раздается призыв на пятничную молитву, народ идет в молельню, вся площадь около молельни запружена. А тут один опоздавший вперед пробирается, да и видит своего знакомого, а у того из кармана кошелек торчит и вот-вот вывалится. Он протянул руку, чтобы сунуть ему кошелек обратно в карман, один мусульманин это увидел, забыл про молитву и давай кричать: «Мусульмане, караул, среди нас карманщик!» Ну, тут вся молельня, с самим имамом во главе, прервала молитву и давай колотить того человека. Били его, били, потом во двор вынесли и давай там добивать. Добили они его, успокоились, а потом и стали расспрашивать: «А в чем дело? Что он сделал? Кто его поймал?» Ну, тут выходит на середину хозяин того самого кошелька, заливается слезами и говорит: «Это, говорит, был мой лучший друг, он у меня вовсе не украсть кошелек хотел, а, наверно, в карман обратно положить! За что, говорит, его убили?» Но дело уже сделано, говорить бесполезно, мертвого не воскресишь...

— Да, — авторитетно сказал Хаджи-баба, — и этот тоже в рай пойдет, так-таки прямехонько в рай, без всяких допросов и пожертвований.

Тут все снова заговорили и стали восхвалять того покойного неудачника, который пострадал ради чужого кошелька. А потом один говорит: хвала, дескать, нашим мусульманам, стоят они на страже общего блага, ничто от их глаз не укроется, шариат соблюдают так, что лучше не надо, и пока, говорит, такие самосуды случаются, можно спать спокойно, ни один вор не посмеет посягнуть на доб-

ро правоверного. И все стали с ним соглашаться и кричать: «Хвала нашему самосуду, хвала!», как будто кто-нибудь собирался вытащить у них прямо из кармана райское блаженство.

Так они поговорили в досталь насчет самосудов, а потом перешли к тому, что времена уж очень плохие нынче пошли, и народ испортился, и царь что-то не то делает, и вообще не осталось ни чести, ни совести, женщины и дети продаются прямо на базаре, хоть торговый ряд открывай, и шариат никто не соблюдает, а если правду говорить, так до вторичного воскресения Исы осталась ровно неделя, и недалеко от халифата Рума уже появился Дабатул-арз — тот самый страшный зверь зомм, который должен явиться перед концом света с железом Моисея и перстнем Соломона и победить главного врага ислама. А со стороны Китая вторглись одноглазые народы Гог и Магог, и половину Ирана земля поглотила, и мало всего этого — так у нас в Ташкенте, в Туп-Кургане, вдобавок еще нашли незаконорожденного младенца!

Тут Хаджи-баба, который был имамом нашей веселенькой мечети, встал для совершения четвертой молитвы, и все, конечно, тоже встали. А я принялся заваривать в чайниках крепкий чай и расставил их на мангале, снова набил чилим табаком и зажег посреди комнаты лампу. Потом я на большом подносе разложил каждому его порцию — по одной лепешке, два кусочка сахару и горсточку черного кишмиша, а когда молитва кончилась, поставил всем по чайнику и пшале. Хаджи-баба снова стал раздавать опиум — одним больше, другим меньше, смотря по внесенным деньгам, а четырем паркоманам, которые пили кукнар, подал по чашке сиропа, накрыв сверху платочком. Тут наконец началось веселье, и уж если все они в трезвом состоянии могли такого наговорить, что уши вяли, так слушать их после того, как они наглотаются своего добра, было и вовсе нелегко. Трезвые они были прижимистые, лишней пол-изюминки не выпросишь, да у некоторых и не было этой самой лишней пол-изюминки, а тут они становились на словах такими щедрыми богачами, куда там!

Один из них расхваливал свой цветущий сад, видно взлелеянный им в мечтах, такой сад, что его из конца в конец за день не пройдешь; другой считал свое воображаемое золото и никак не мог сосчитать, сколько его было; третий приглашал соседа к себе домой. «Двух баранов зарежу», — говорил он, размахивая руками, но я подозре-

ваю, что у него не только баранов — и самого дома не было. А как они угощали друг друга чаем, подвигали кипиши и лепешки! Даже опиумом они делились, кусочками размером с крылышко мухи...

Я, стараясь не вслушиваться, усердно их обслуживал. Стоило кому-нибудь стукнуть крышкой чайника, я уже тут как тут и наливаю свежего чаю, крепкого, кузнецовского. Но, конечно, как всегда, главный объект моих забот — индиец.

— Машалла, сын мой, машалла, я доволен.. Нынче базарный день, трудный день, я устал, ох и устал... Подсчитать выручку нынче не успею, ладно уж, завтра, принеси-ка мне чилим.

Я кладу в головку чилима три уголька, раскуривая как следует. Захватываю заодно и купленный для него толченый пас:

— Вот, и кальян готов, и жар в меру.

— Молодец, сын мой, молодец...

Он несколько раз затягивается, табак крепкий, каршинский. Он быстро пьянеет, по смуглому лицу разливается бледность, глаза закатываются:

— Воды... принеси воды.

Я бегом приношу ему пиалу холодной воды. Руки его дрожат, он делает несколько глотков. Я с минуту стою возле, он понемногу приходит в себя. Я отдаю ему пас, завернутый в бумагу:

— Вот, я принес вам бухарский насвай.

— Ай, молодец, сын мой, какой молодец! Спасибо...

Он роется в своем мешочке с мелочью и протягивает мне серебряный полтинник:

— Это тебе в подарок, спрячь от Хаджи-баба...

Я беру и едва заметно кланяюсь:

— Спасибо.

Оглядываюсь — другим тоже надо подавать чилим и чай. Бдение продолжается до вторых петухов. Хаджи-баба давно уже удалился в ичкари, оставив всех на мое попечение. Постепенно расходятся и клиенты, только индиец и уста Салим, тот, что в двойных очках, остаются, как всегда, почевать в курильне. Я задуваю лампу и тоже ложусь...

Завтра ведь четверг — тяжелый день! Накануне пятницы полным-полно посетителей.

Утром я встаю спозаранок, ставлю самовар. Веник ходит быстро, вот уже все и подметено, прибрано — чисто-

та. Уста Салим в своем углу в одиночку совершает утренний намаз, долго поминает своих умерших родителей и еще кучу покойной родни, не оставляет без внимания и тех, кто сейчас находится на пороге смерти, молится и собственному духу-хранителю, наконец, завершает долгий перечень и спрашивает:

— Чай у тебя вскипел?

— Шумит.

Надо сходить за свежими лепешками, но Хаджи-баба не разрешает оставлять курильню без призора. Что делать? Не посылать же уста Салима! Благо, Хаджи-баба сам появляется.

— За лепешками, наверное, еще не ходил?

— Вы же денег не оставили...

— Правда, так-то оно так...

Порывшись в кармане, он дает мне две таньги, после чего, как всегда, следуют продолжительные наставления:

— Будешь покушать, осмотри со всех сторон, чтоб не было подгоревшей или недопеченной. А то принесешь, так и есть нельзя будет. Так вот оно и бывает, да. Отломи кусочек, попробуй, не перекисло ли тесто. Не бери всего, что тебе совать будут! Да прикни на руке, чтобы весом были побольше. Так-то вот. Война войной, а пекарни земля еще не проглотила...

Я перебрасываю платок через плечо и бегом отправляюсь к пекарне. Рань еще какая! Воздух свежий, все чуточку сквозит синовой, деревья, дувалы, дома словно омыты щедрой голубой прохладой утра. На повороте у старого Каптана я натываюсь на Малла-джинни, за которым тащится свора голодных бродячих собак. Он идет и громко разговаривает сам с собою:

— Купи верблюда за копейку — где твоя конейка? Купи верблюда за тысячу рублей — твои деньги при тебе! Слышали, собачки? — Он поворачивается к своей своре и подзывает самую маленькую собачонку, тощую замухрышку. — Ты, душечка, — говорит он ей, — лучше всех падишахов, ни с кем не ссоришься, а до тех, кто ссорится, тебе и дела нет... — Тут он замскает меня: — Эй, парень, целуй хвост моей душечке!

Я отскакиваю в сторону и наблюдаю издали за его дурачествами — давно я не видел тапкентских джинни, старых знакомых. Я и сам не замечаю, как бреду вслед Малла-джинни с его сворой, пока, спохватившись, не поворачиваю назад, к пекарне. Когда я возвращаюсь в курильню

с лепешками, Хаджи-баба возится подле вскипевшего давным-давно самовара:

— Нечестивец, ты что, до самой Тойтепы за лепешками ходил? Где ты запропастился?! Давай сюда!

В курильне уже семь или восемь посетителей, мы раздаем им питье, еду, наркотики, кому сколько полагается за его плату, а когда все принимаются за свое, я потихоньку открываю ларчик, где хранится чай и сахар, достаю оттуда вчерашний гостинец, халву, делю ее на три части и кладу куски перед Хаджи-баба (ему самый большой), перед индийцем и уста Салимом. У Хаджи-баба глаза загораются:

— Ты где это взял, нечистое отродье?

Я говорю, скромно потупив глаза:

— Кошил пятничные деньги, что вы давали, и купил вчера на базаре...

Хаджи-баба удивлен и растроган, индеец и уста Салим — тоже:

— Молодец, мальчик, из тебя выйдет человек! Быть экономным да про запас откладывать — это... это хорошая черта. Так и поступаай, быстро разбогатеешь. Да, так вот оно и бывает... Ну, иди, сынок, иди, пусть прибудет тебе вдесятеро, так-то вот...

День проходит как обычно, а ближе к вечеру появляется много нового народа. Как и всегда накануне пятницы, это большей частью молодые ремесленники. Они затянутся раз-другой, ну, полчилима выкурят от силы, зато сготовят плов или шурпу, весь вечер весело гогочут над каждым пустяком, — словом, курильня становится хоть ненадолго похожа на обыкновенную чайхану, с обыкновенными людьми, по которым я, правду сказать, здорово соскучился. И где уж мне отведать в будни такого жирного плова, такой ароматной шурпы! А эти парни от каждого блюда откладывали кое-что для «мальчишки-чайханщика» — для меня то есть. Ну, и щедрый они народ, хоть у самих в карманах не густо! Может, не привыкли еще считать каждый накыр, но только всегда они переплачивали и за чай, и за лепешки, и за дрова, и за соль, и за красный перец, так что — копейка за копейкой — мне и деньги перепали. Глядишь, я зарабатывал в такие вечера пять-шесть таньга — огромную сумму! Ведь плов в складчину готовился в курильне не один раз за такой вечер. Я объедался, бывало, так, что к ночи ходил, как гусь на водоное.

День сегодня удачный, торговля была бойкая, я вручаю Хаджи-баба двадцать один рубль сорок копеек наличными. У него просто рот до ушей — так он доволен! После пятой молитвы, когда в курильне снова остаются семь или восемь посетителей, он берет четыре свечи из тех, что я принес вчера, ставит их по четырем углам и зажигает, прочитав над каждой по одному стиху из Корана. А на нарах уже пристроился уста Салим, положив перед собою на досняющуюся подушку все ту же почитаемую книгу «Сказание о битвах счастливца Або-Муслима», — сейчас он начнет читать вслух громким раскатистым голосом. Остальные приготовились слушать, заранее замирая от удовольствия, ужаса и восхищения. Все это написано на их лицах, озаренных светом коптящей керосиновой лампы.

«Ита-ак... итак, со стороны Маймана, с правого крыла, у предгорья Кухидаман, поднялась пыль. В пыли скрывалось семьдесят два знаменосца семидесяти двух тысяч воинов в доспехах, состоящих из семи панцирей, а со стороны Майсары выстроились ровным строем, словно стена Искандера Зулкарнайна, богатыри почтеннейшего Або-Муслима — Счастливица из Хорасана. Над его изумрудным тронем, украшенным золотым орнаментом, развевалось знамя Мухаммеда, лучезарный стяг Хорасана.

Из неприятельских рядов, пришпорив резвого скакуна, вырвался на поле брани богатырь в маске, в доспехах из семи панцирей. Ноги его лошади по щиколотку проваливались в землю. Крутя над головой семидесятидвухбатованную палицу и сорвав маску с лица, он закричал:

— Эй, Або-Муслим из Хорасанских степей, любитель животных, если знаешь меня, знай, если не знаешь, узнаешь, — я Насрисайяр Беор и сегодня на этом поле вышибу из тебя дух!

Тогда почтеннейший Або-Муслим в порыве храбрости вскочил на свою сивую лошадь по имени Кухтач, загородил этому проклятому дорогу. От охватившего гнева каждый волосок его вздыбился, пронзив доспехи подобно отравленному копыю.

Он на лету схватил Насрисайяра за пояс с возгласом «О, Али!», поднял вверх и, семь раз покрутив над своей благословенной головой, швырнул в небо. Тело этого печетивого скрылось из глаз и не показывалось столько времени, что можно было успеть приготовить плов. Потом, протянув благословенные руки в небо, почтеннейший

опять схватил его, поставил невредимым на землю и сказал:

— Эй, Насрисайяр, отныне не смей так непочтительно задевать честь хорасанидов!

Насрисайяр раскаялся, целуя стремя коня почтеннейшего, и заверил его в своей покорности».

Эта потрясающая история то и дело прерывается возбужденными возгласами, ахами, охами, а когда чтение заканчивается, никто уже не может молчать — начинается бурный обмен мнениями.

— Вот это герой! — говорит Ахмадали-суфи из Тикалдимазара. Он даже слезы вытирает! — Вот это мужество! Про таких и говорят: храбрец познается в походе. Что нынешние войны! Так, одно малодушие. Стоит за версту, да и стреляет из винтовки в человека, а то из пушки палат по мирному народу... Богоотступники, а не войны!..

— Так, воистину так! — говорят остальные. — Нет теперь таких героев, нету!

И мой индеец присоединяется к общему хору.

— Машалла, машалла, — говорит он. — Воистину так...

МНЕ НАДОЕЛО

Говорите, что хотите, но оставаться тут месяцами моего терпения бы не хватило! Оно, конечно, выгодное местечко, где еще мальчишка вроде меня может столько скопить, чтобы не только матери с сестренками помочь, а еще и на дорогу в Индию заработать! И все же, если до того ты привольно гулял, как теленок в молодой траве, и вдруг оказался вроде суслика, попавшего в кувшин, хоть в этом кувшине полно лакомств, — не очень-то повеселишься. Неба-то из кувшина видно всего маленький кружочек, вроде серебряного рубля, а разве серебряный рубль может заменить небо?.. И рассказы индийца-менялы — очень интересные рассказы, и длинные, вроде его костюма, который на аршин длиннее самого индийца, — разве эти рассказы могут тебе заменить мальчишку-сверстника, твоего закадычного друга, с которым можно и поиграть, и подраться, и помериться силами, и помириться после ссоры?

Я скучал, — даже не могу и сказать, как скучал, — и все искал, чем бы позабавиться. Перепела, которых держал Хаджи-баба, уже начали петь, запел и кеклик, которого оставлял у нас в курильне Султан-курносый, наш по-

стоянный посетитель, тот самый, что ходил в феске. Но и перепела и кеклик были такие же невольники, как я: одного разлучили с высокими склонами снежной горы Тай-тай, других — с зелеными лугами Кунгпрактепа. Слушая их, я только острее чувствовал свою неволю. Мне, чтоб развлечься, требовалось что-нибудь поинтересней, что-нибудь такое неожиданное, вроде того, например, чтоб из зверинца убежал тигр и набросился в галантерейном ряду на Валиходжу-ака или в бане посреди дня котел взорвался. Я так и мечтал об этом и прямо представлял себе, как тигр идет по галантерейному ряду и каждую секунду чихает от всех запахов, не успевая толком пасть открыть, или как разваливается баня и голые оттуда так и сыплются, словно блохи из кошмы.

Но чаще всего я воображал путешествие в Индию — по густому лесу, и как я со львом сражаюсь, и обрубаю головы сорокаглавым змеям, и приручаю дикого человека, и езжу верхом на крокодилах и носорогах... Такая жизнь была бы по мне!

А здесь что? Эти наркоманы, серые, как больные горлянки, их нудные разговоры, нескончаемые, как и дремота, в которую они впадают, — как я еще только терплю все это? А когда они разойдутся, так и вовсе тошно становится: шумят и машут руками, лучше бы уж мертвецы ожили и стали строить планы на будущее! Удирать отсюда надо, удирать! Да и перед матерью стыдно, и перед махаллей — наверняка Тураббай не удержался и шепнул кому-нибудь про нашу встречу! Но что-то тут же шепчет мне: «Рановато еще уходить, рановато...» Во-первых, денег на Индию я еще не накопил, хоть грех мне жаловаться и на щедрость индийца, и на туповатые расчеты Хаджи-баба, и на снисходительность любителей плова, и на собственную расторопность. Правда — это я только вам говорю, да еще индеец знает, не считая аллаха, конечно, — у меня уже собралось три пятирублевки, одна десятка, два целковых и еще серебро да медяки. Как только мелочи набиралось у меня на круглую сумму, индеец обменивал ее мне на золотую монету. Золото я зашил в кромку своего легкого летнего халатика, остальное положил в глиняную пепельницу Хаджи-баба и зарыл у арыка, под старым топелем, шагах в пятидесяти от курильни. Конечно, немало я заработал, что и говорить, а все-таки еще недостаточно.

Но это лишь полдела. Ведь по-доброму Хаджи-баба меня не отпустит, он моей работой доволен, да и обойтись

ему без меня трудно. А если просто удрать, он еще, пожалуй, искать меня станет, а ведь тут не степь, город, все обнаружится, мне тогда и в махалле нельзя будет оставаться. Нет, один выход: натворить что-нибудь такое, чтоб меня выгнали отсюда. До сих пор-то я был кроток, как жаба на лунной дорожке...

То ли потому, что всю последнюю неделю голова моя совсем забита незрелыми планами, или потому, что скука и уныние совсем мной овладели, только все в курьих заметили мой необычно тихий и задумчивый вид. Хаджи-баба это, видно, обеспокоило, а индеец — еще больше.

Во вторник Хаджи-баба подозвал меня и спросил ласково:

— Скажи, сынок, это останется между нами — ты, не дай бог, не пробуешь ли случайно этого черненького, чтоб его черт подрал?

— Какого это черненького?

— Какого, какого? Того самого, что мы употребляем, я же о нем говорю...

— Что вы, Хаджи-баба! И в мыслях у меня не было... Я вижу, до чего наши клиенты доходят. Пусть меня озолотят, я его и в рот не возьму!

— Ну, слава аллаху, молодец, сынок, а то так-то вот оно и бывает, смотри, берегись этого яда...

Хаджи-баба вытер глаза поясным платком, как всегда перекинутым через плечо, порылся в кармане и вытащил рублевую бумажку:

— Это тебе на завтра базарные деньги, сынок, походи, полакомись. Очень ты меня порадовал, я уж испугался, думаю, погубили мы такого хорошего мальчишку.

Пряча деньги в карман, я сказал:

— За это можете быть спокойны, Хаджи баба, не дурак же я!

Он, видно, и вправду успокоился и завел свои обычные наставления.

Вечером меня так же ласково подозвал к себе индеец.

— Иди-ка сюда, сынок, как твои дела, не болен ли ты?

— Нет, паща, спасибо, я здоров.

— Чем же ты озабочен?

— Да так...— Я посмотрел на него искоса и решился: — Я все об Индии думаю, паща, хочу туда поехать!

Он засмеялся. Я тоже засмеялся.

— Машалла, ты и вправду хочешь поехать в Индию?

- Да, пачча.
- Далек путь в Индию и трудеп!
- Велико мое усердие, пачча...
- Молодец, сынок... Машалла!

Он на несколько секунд замолк, глаза его затуманились, словно он увидел что-то далеко за пределами нашей курильни. Потом он зажмурился и мотнул головой, как бы отгоняя видение, снова посмотрел на меша еще ласковей прежнего, полез в свой мешочек и вытащил — ого! — пятирублевку! Я чуть замешкался, я и вправду не поверил, что все это мне. Но он сказал:

— Бери, сынок, бери, у меня ни семьи, ни детей, всего не истрачу, да и аллах любит искупительную жертву!

Ну и везет мне нынче! Видно, встал я с правой ноги. За один день заработать шесть рублей! Так и миллионером стать недолго. Знал бы я, что грустный вид приносит такой доход, всю бы жизнь, с самого начала, ходил с печальной миной. Однако настроение у меня поднялось, и до вечера я работал, то и дело улыбаясь ни с того ни с сего.

В среду на рассвете Хаджи-баба дал мне две таньги и сказал:

— Сбегай быстренько за лепешками, сынок, наполни хумы водой да посмотри, есть ли корм и вода у перепелок. А потом — ты свободен, так-то вот, беги на базар, ешь, веселись, развлекайся! Вернешься, когда захочется. Но смотри, слишком не запаздывай, времена теперь плохие, дурных людей хоть пруд пруди, так вот оно и бывает, да...

Я мигом слетал в пекарню, натаскал воды, позаботился о перепелках. Потом мы с Хаджи-баба выпили чаю, и я отправился на базар. На этот раз я начал с молочного базара, что возле Хасты-Уккоша: захотелось мне сливок с лепешкой... И только я туда заявился, не успел еще, как водится, перепробовать разного товара, лизнуть из одной касы и сказать «кисло», лизнуть из другой и сказать «жидко», как увидел мальчика из нашей махалли, Убая, младшего братишку мельника Абдуллы-писклявого, сына старого Ибрагим-палвана. Он обрадовался и удивился, увидев меня, — стало быть, Тураббай сдержал слово! — и опять пошли расспросы, рассказы, слава аллаху, я отделался где правдой, где небылицами. Потом мы перешли к делу. Пока я съем сливки, он продаст молоко, которое принес на базар, а там мы отправимся в цирк Юпатова! Потом полакомимся мороженым, покушаем жареной рыбы,

покатаемся на кенджава — закрытых ящиках, прикрепленных к седлу верблюда, посмотрим панораму — картинку через увеличительное стекло... Повеселимся вдоволь!

Я сказал Убаю, что нынче угощаю его всем — деньги, вырученные за молоко, он не мог потратить, а то от невестки попадет, она наказала ему дешево не продавать! Пока он торговал, я купил крыночку сливок за мири, лепешку за две копейки и уселся в тени на корточках. Скоро подошел и расторговавшийся Убай, он помог мне справиться с едой. Мы оставили его опустевшие горшочки в лавке мясника Карабая и оказались свободны, словно стригунки, которым развязали путы!

Базар. Полдень. Тьма народу. У входа в караван-сарай, загораживая улицу, тянутся вереницей ожидающие пристанища караваны верблюдов, груженных соломой, саксаулом, углем. Верблюды стоят молча, на их безобразных мордах написано не то крайнее презрение, не то безграничная покорность, только иногда какой-нибудь из них повернет голову, и колокольчики коротко звякнут. Тогда кажется, что их молчанье — это на самом деле длинная-предлинная, только неслышная нам речь и вот в конце поставлена-таки долгожданная точка...

За мостом через арык Махкама, чадя на весь свет, жарят рыбу. На грязном столе лежит, распластавшись, огромный сырдарьинский сом. Его открытые, похожие на мешочек с сюзьмой глаза облеплены мухами. Напротив торгуют сафьяном. Дальше площадь — и на ней бело-голубой брезентовый купол цирка! На высоких деревянных нарах у входа расположились уже знакомые нам музыканты и клоуны, среди них и знаменитый Рафик. Они зазывают публику, играя и показывая короткие номера...

— Эх, жалко, нет под рукой кок-султана или граната,— говорю я Убаю и рассказываю мое приключение с музыкантами в прошлую среду. Мы оба хохочем.

— Ну, что,— говорю я,— пойдём в цирк?

— Не-е,— говорит, к моему удивлению, Убай,— неохота...

— Ты чего это?

— Дорого...

— Я ж плачу!

— Да понимаешь, там, говорят, какая-то Майрамхан выступает голая, а я ужас как боюсь голых женщин! Ей-богу, все равно что на лягушку наступить! А что там еще

будет? Фокусы мы посмотрели, музыку послушали, на танцующих лошадей, что ли, смотреть? Так у нас своя лошадь есть, мой отец на ней знаешь как ездит... Все равно эти лошадиные танцы с козлодраньем не сравнить. Ты был на уллке?

— Нет, ни разу.

— А я был! Ух ты! Вот это цирк!

— Может, зайдём все-таки?

— Что ты, купец, что ли, деньги на ветер бросать? Лучше мороженого купим, чем опять то же самое смотреть... — Он оживляется. — А ты видал, здесь, в цирке, говорят, Рафик один раз набрал полный рот опилок, чиркнул спичкой и давай сыпать искрами изо рта! Видал?

— Врать это...

— Да мне Хуснибай рассказывал!

— Ну, Хуснибай и врет!

— Ну, ладно, пошли за мороженым?

Мы пошли. Я взял красного мороженого, Убай — кремового; нам подали его в тарелочках с воткнутыми в холодную льдистую массу деревянными ложечками. Вот ведь есть же люди, которые могут наслаждаться такой вкуснотой каждый день! Мы и не заметили, как тарелочки у нас опустели.

Тут же, недалеко от караван-сарая и площади, находится почта, а около нее установлены столбы с канатами для канатоходцев. Представление еще не началось, пока что играют несколько музыкантов да два клоуна на длинных деревянных ходулях раскачиваются, рассказывая всякую чепуху. Одного из них я знаю — я помню его тюбетейку с пришитыми золотыми косичками: его зовут Ака Бухар. Мы повернулись и здесь, но не стали ждать начала: пошли дальше, обсуждая вопрос о том, из чего мы сделаем себе ходули по возвращении в махаллю. Как это мы раньше обходились без них, просто непонятно! Ходить на них нетрудно (так нам, по крайней мере, кажется), а голова твоя оказывается выше самого высокого человека, выше любого дувала. Смотри куда хочешь и на что хочешь!

— Может, вареного гороха купим? — спрашивает Убай.

— Да брось ты, только что ж ели сливки с лепешкой! Лучше пойдем в панораму, посмотрим картинки через увеличительное стекло. Мы с самого начала собирались, помнишь?

Картинки показывал младший брат Ильхама-чайханшика, плешивый Ибрай. Просмотр двух картинок стоил копейку, но Ибрай узнал нас — соседи! — и согласился показать пять картинок за один пакры. Мы приставили к глазам «бинокли».

— Во-от,— говорит Ибрай нудным голосом,— это падишах Фаранга, кесарь Румелийский, прогуливается по улицам со своей женой... А это халиф турецкого султана Абдулхамид Второй. Он приехал в пятницу в соборную мечеть Софии для совершения намаза. Перед фаэтоном пищие, которые выпрашивают подавание... А это афганский султан Абдурахман... А это принцесса Индии, дочь падишаха Фаранга, верхом на слоне прогуливается по джунглям Мазандарана...— Ибрай бубнил свои объяснения чересчур быстро, и картинки за ним не успевали, так что мы уже приняли было жену кесаря Румелийского за халифа турецкого султана Абдулхамида Второго, а едва мы обнаружили эту ошибку, как афганский султан Абдурахман попытался выдать себя за принцессу Индии верхом на слоне. Ибрай между тем знай себе тарабанил: — Это паломники в Маккатулле, они восходят на холм Арафа... А это кормилица его величества белого царя — Валентина Федоровна. Она скончалась в прошлом году от колита. Ну, идите гуляйте!

Ибрай явно торопился, видно, чтобы сэкономить уступленную нам плату. Мы расплатились и пошли прочь. Казалось, мы только что проехали весь свет из конца в конец, так много непонятных вещей успел нам показать Ибрай за две минуты, и в голове у нас все окончательно перепуталось. То, что падишах Фаранга (то есть Франци) со своей женой преспокойно прогуливается по улицам, в то время как его дочь, принцесса Индии, катается на слоне черт-те где, нас нимало не удивило. Но что делают паломники в Маккатулле у мечети Софии... Тьфу! Они же вовсе поднимаются на холм Арафа, чтобы выпросить подавание у кесаря... Словом, мы так запутались, что и до вечера во всем бы не разобрались. Однако на восковом базаре, куда мы вышли, нас ожидало новое зрелище, и мы сразу же начисто забыли обо всех этих свихнувшихся царственных особах и их кормилицах, умерших от колита.

Навстречу нам, подняв на все торговые ряды такой шум, словно это сорвались с цепи пьяные медведи или взбесившиеся верблюды, шли, распевая свои песни, ка-

ландары Миттихан-турам. Мы подождали, пока они пройдут мимо, и пошли следом. Они направились к соборной мечети Маджами. За мечетью, рядом с базаром, где торговали гузапаей, была широкая площадь. Сегодня на этой площади должен был читать проповедь Куса-маддах — самый знаменитый проповедник не только Ташкента, но и всей Средней Азии! Каландары и оказались его глашатаями.

Они выстроились в ряд перед мгновенно собравшейся толпой. Ни один из них не сел. Они опирались на палки, кто на длинную, кто на короткую, кому какая досталась, и, покачиваясь, восклицали: «Хув, хув, хув...» Откуда-то принесли кресло, поставили его на середину и покрыли овчиной. Рядом оказалась табуретка, на ней разложили лепешки и сахар, принесли и чайник с пшалой. А через некоторое время появился сам Куса-маддах — низенького роста упитанный старик, лет семьдесят, с бледным, морщинистым безбородым лицом, в большой белой чалме, в палевом халате, из-под которого виднелся обшитый темной воротник рубахи. Держа в руке трость, он уселся в кресло и обратил лицо в сторону кыблы. Весь ряд каландаров оказался перед ним, и тут вышли еще двое, один с черной бородкой клинышком, другой помоложе, без бороды, оба в белых мантиях, накинутых на плечи, в легких халатах, в кавушах на босу ногу. На голове у них красовались такие же белые чалмы, как и у Кусы-маддаха. Это были его ученики. Они шли и вопили: «Дуст! Дуст!»

Куса-маддах налил пшалу чая, промочил горло и встал, опираясь на трость. Потом, не торопясь, обошел весь круг (мы с Убаем успели уже пробраться в первый ряд), осмотрел собравшихся и вернулся на свое место. Все замерло. Он поднял руку и крикнул хриплым голосом:

— Эй, люди, прежде всего, садитесь, не стойте на ногах, словно каменные боги язычников!

Ответом ему был дружный шум, все уселись там, где стояли. Мы тоже сели, развалившись, насколько позволяло место.

— Bravo! — воскликнули ученики проповедника такими визгливыми голосами, что их небось слышали даже на Шейхантауре.

Куса-маддах между тем продолжал:

— Извещаю вас, что среди собравшихся немало наших братьев мусульман из Самарканда и Бухары, из Каттакургона и Уратепы, из Ферганы и Ходжента! Они прибы-

ли в наш подобный раю Ташкент! — Толпа негромко загудела и смолкла. — А теперь я представлю вам вашего покорного слугу! Я родом из Бухары, из махалли Казагаран. Меня зовут Хаджи Наджмиддин ибн Салахиддин, наш достопочтенный отец тоже был славнейшим проповедником во времена эмира Музаффера! Через семнадцать поколений мы связаны с Мавлоно Хусани-ваизом Самарканди. Этот почтеннейший предок процветал при Хусейне Байкаре, великом тимуриде... О, золотые времена! Книга «О благодетельной нравственности» написана им, почтеннейшим, а я прихожусь ему семнадцатым внуком! Кто усомнится в этом, да почернеет, как котел, а душа его да горит огнем, как тандыр! Аминь!

Ученики тоже завизжали:

— Аминь! Да подвергнется тленью!..

— Теперь перейдем к делу, — сказал Куса-маддаж уже другим тоном. — Аллах в своем Священном писании предписал рабам своим повиноваться троим. Во-первых, ему самому — благословенному и всевышнему. Мы сотворены его могуществом и обязаны повиноваться ему ежечасно, ежеминутно, ежесекундно!

— Дуст, дуст, обязаны! — завизжали ученики, а каландары загудели:

— Хак, хо, хув...

Куса-маддаж остановил их жестом и продолжал:

— Во-вторых, благослови его господь и приветствуй, нашего пророка Мухаммеда Мустафу, посланника аллаха! Мы должны повиноваться пророку и свято соблюдать каждую его заповедь. Да будет благословен его чистый дух!

— Хай, хай, да будет благословен, аминь! — пискнули ученики, а каландары снова выпустили на волю свой трубный глас, восславляя аллаха и пророка. Но проповедник опять остановил их взмахом руки.

— В-третьих, — заговорил он еще более громко и хрипло, — нашему великому императору, белому царю, его величеству Николаю Романову, который, как сказал аллах в своем Священном писании, является тенью бога на земле, да не оставит нас его милость...

— Да не оставит, — запели ученики, — является тенью, аминь, является тенью-у-у... — И каландары затаили свое: «Государь, внемли моим нуждам, государь, будь ко мне милосерд, ху-ху...»

— Да будет тысячу лет неколебим двор нашего великого Николая, его министры и советники, аминь! — Уче-

ники завелись было, боясь упустить такой удобный случай, но он не дал им даже развернуться.— В эти дни,— продолжал он зловещим голосом,— несчастный вражеский царь Герман направил против нашего великого императора стотысячные войска, облаченные в семь нанцирей, снабженные пушками и летающими машинами, принес народу неисчислимые бедствия! Каждый мусульманин в эти дни особенно обязан повиноваться великому царю и его любому повелению. Аллах сказал: какой бы веры ни был ваш царь, повинуйтесь! Но, слава аллаху, наш царь и его министры придерживаются веры Святого писания, святого Мессии. Разве Иисус не пророк божий? Наш великий царь и его двор не являются северными, они получили книгу откровений до Мухаммеда, запомните это, и повинуйтесь нашему царю, окажите ему помощь в дни великих битв. Аминь! И предупреждаю вас, не поддавайтесь подстрекательствам босоногих бездомных плутов, северных мастеровых, тайных врагов, которые бродят среди вас. Всех этих нечистых возмутителей, где бы вы их ни встретили, задерживайте и отдавайте в руки городских властей, его превосходительству господину полицмейстеру и его полицейским... Пусть подстрекатели подавятся камнями! Аминь! Аминь! Аминь!

Ну, тройной «аминь» учепники и каландары сочли истине сигналом свыше и выдали в ответ такую порцию воплей и визга, что окрестные стены дали трещины:

— Аминь, пусть подавятся, пусть подавятся, ами-пнь!

На этом первая часть проповеди закончилась, и Кусамаддах перешел к разным текущим вопросам, проливая на них лучезарный свет шариата. С какой целью следует заходить в отхожее место? Если в проточную воду попали нечистоты, сколько раз они должны перевернуться, чтоб проточная вода снова стала чистой? Может ли едущий верхом на лошади приветствовать того, кто едет на осле? На которую ногу надо сначала надевать кавуши, вставая утром, на правую или на левую? Попадут ли в рай пивен и парикмахеры? Можно ли есть пищу, приготовленную в плоском русском котле? Является вор рабом божьим или нет? Дозволено ли шариатом есть картошку? Надо правду сказать, все эти труднейшие проблемы Кусамаддах щелкал, как орешки, но нас с Убаем они что-то не волновали.

— Слушай, Убай,— сказал я ему тихонько,— по-моему, во всей этой чепухе вкусу не больше, чем в мороженом огурце. Что это он несет?

— Я тоже не пойму,— сказал Убай.— Чего он так раскудахтался насчет белого царя и чиновников, взятку, что ли, от них получил?

— Может, пойдём отсюда?

— Ты что, с ума сошел, разве выберешься!.. А потом, знаешь, самое интересное — это когда маддах деньги выпрашивает. Лучше цирка! Интересно, дошел он уже до того места, когда начинают деньги просить?

— Э, ничего ты не знаешь,— сказал я.— Разве после такой проповеди деньги просят? Это когда сказки рассказывают, вот когда. Дойдет до самого интересного места, все ждут, что дальше будет, тут-то он остановится и давай деньги требовать!

Соседи на нас пикнули, мы замолчали, и тут как раз Куса-маддах начал свой фокус со сказкой. Он стал рассказывать такую фантастическую, невероятную историю, с таким нагромождением бестолковых чудес, что наверняка и сам не знал, какое новое чудо произойдет в его рассказе в следующую секунду. Это было ловко задумано, ведь если он сам не знал, то уж публичка-то никак не могла догадаться. Все слушали, боясь проронить слово, и вдруг он оборвал свое повествование. Я думаю, он сделал это не потому, что настал момент выпрашивать подношения, а просто потому, что забрался в дебри, из которых не в силах был выбраться. Ему требовалось время, чтобы пришла помощь свыше, простой смертный эту историю уже не распутал бы. В общем, он убил двух зайцев сразу.

— Мусульмане,— сказал Куса-маддах,— все мы люди, обремененные семьей, и аллах велел нам ее содержать. Те, кто хочет услышать продолжение нашего рассказа, все наши братья по шарнату и те из них, кто хочет иметь ребенка, кто желает богатства или избавления от долгов, кто намеревается жениться или просит исцеления от болезни, все, кто хочет, чтобы аллах услышал их молитвы, да пожертвуют...— тут он сделал эффектную паузу,— семьдесят лошадей от семидесяти молодцов! — Он прикрыл глаза, сделал горестную мину, причем лицо его так сморщилось, что, кроме морщин, на нем ничего и не осталось.— Ай-яй-яй, напрасно я так прошу, напрасно, зачем мне, старику, бедному, немощному старику, семьдесят лошадей? Аллах видит, мне достаточно одной буланой! Одной буланой от одного молодца! А остальные шестьдесят девять да расщедрятса всего на шестьдесят девять золотых! — Он снова сморщился и покачался из стороны в сто-

ропу, я думал, он и вправду сейчас упадет. Но он-то и не думал падать.— Ай-яй-яй, напрасно я так прошу, напрасно! В такое беспокойное время, когда у всех столько забот, откуда люди возьмут золотой? Не надо мне золотых, прошу всего по целковому! — Он снова стоял и качался с прикрытыми глазами, но теперь я бы голову дал на отсечение, что он видит всю толпу до последнего человека, и нас с Убаем тоже. Мне даже как-то не по себе стало, словно он проник своим всевидящим взором в кромку моего летнего халата, где защиты монеты... Но тут он заныл опять: — Эй, мусульмане, в книге пророка сказано, во всем хороша золотая середина. Не значит ли это — просить, кто сколько может дать? Воистину так! Я жду от щедрых всего по одной таньге! По одной таньге, правоверные! Не заставляйте себя ждать, поройтесь в своих кошельках, кто хочет узнать, что было дальше в нашей прекрасной сказке!

Оба ученика пошли по кругу, держа в руках кепчик— маленький барабан, обтянутый кожей с одной стороны. И тут вышел в круг какой-то бай, ведя за собой захудалую лошадку, подвел ее к проповеднику и с поклоном передал уздечку Кусе-маддаху.

— Господин,— сказал он,— я бездетный, помолитесь за меня!

Проповедник, словно пророк, поднял глаза к небу (я только теперь увидел на одном из них бельмо), распростер руки, не выпуская, впрочем, уздечки, и возгласил:

— Аминь, правоверные, твердите со мною: «Аминь!»

Со всех сторон заголосили «аминь».

— Пусть все желания этого человека дойдут до всевышнего! Пусть великий лев божий, покровитель веры Али, благословит его! Пусть аллах сделает его отцом девяти близнецов-сыпцов и девяти близнецов-дочерей. Пусть он всю жизнь справляет свадьбу за свадьбой! Аминь!

Вокруг опять раздалось «аминь», уже менее дружное, и в этом нестройном хоре отчетливо выделялся визг учеников и трубное пение калаандаров. Одновременно я услышал сбоку шепоток, что кое-кто уже и раньше видел Кусе-маддаха на этой лошадке... Чего только не нашептывает шайтан в уши человеческие!

Сборщики подаяния обходили между тем круг, задерживаясь подольше возле тех, кто был одет получше; сколько им дали в их барабан, аллах ведает, я не счи-

тал. Наклонившись к уху Убая, я рассказывал ему про почтеннейшего ишана, у которого я проживал... Убай хихикал, я увлекся, мой рассказ был, верно, написан у меня на лице.

Мы и не почувствовали, что на нас остановился зоркий взгляд Кусы-маддаха.

— Эй, каландары! — закричал он вдруг. — Выведите-ка, уважаемые братья, выведите из круга этих двух непочтительных мальчиков, что смеются над святым делом, каналы этикие! Прочь их, поганых мух в чистой пище!

И не успели мы опомниться, как четверо толстых каландаров к нам приблизились, двое схватили под руки меня, двое — Убая, вытащили из круга и, дав напоследок по тумаку, вышвырнули с площади. Вслед нам понеслась брань, но мы не прислушивались.

День уже прошел наполовину, делать вроде бы и нечего, да и Убай заторопился домой. Я иду и раздумываю: что, если потратить рубль-другой, купить бедной маме и сестренкам фунтов десять риса, маша, пару фунтов сала, немного мяса да еще всякой мелочи и передать все это через Убая? Да, но как быть, если мама станет Убая спрашивать, где он меня видел, или скажет: поведи меня к нему, найди его! Что тогда делать Убаю? Правда, я скитаюсь уже несколько месяцев. Ну, да кое-кто в махалле знает, что я жив-здоров, и маме, верно, это впустили. Сколько уже мы терпели, и они и я, потерпим еще чуть-чуть... Все равно теперь больше недели я у Хаджи-баба не останусь.

Я протянул Убаю серебряную монетку:

— На тебе на мелкие расходы. Смотри не говори никому до следующей недели, что видел меня, ладно? А на той неделе я вернусь!

Мы расстались.

Я вдруг почувствовал, что голоден. Э, была не была, схожу-ка я в чайхану Ильхама, да и почаевничаю там, как байский сынок!

В чайхане было все по-старому, так же играл граммофон, и Асра-лысый суетился, только попугай куда-то исчез. Асра-лысый сначала и пускать меня не хотел:

— Иди, иди, проваливай отсюда, занимайся своим делом! Тут чайник чаю, да осьмушка сахара, да одна лепешка, знаешь, сколько стоят? Четыре с половиной пакрыра! Здесь пить чай таким, как ты, не по карману. Давай, давай, катись! Только грязи натащишь на кошму!

— Ой, миленький Асра-ака, да вы меня пустите, у меня не только четыре пақыра, у меня рубль есть! Вот! Не верите — смотрите! — И я показал ему целковый.

Он отступил.

— Ишь ты, нечистое отродье, — пробурчал он. — Торговые ряды ограбил, что ли? Где ты рубль взял?.. Ну, ладно, проходи...

Я уселся на краю нар, он принес мне все, что полагалось. Я сидел, попивая чаек, наслаждался, слушал граммофон, жаль, попугая нет больше, то-то я бы с ним побеседовал!

Около меня, тоже на краешке нар, уселся какой-то обшарпанный дехканин, приехавший, должно быть, издалека. Как это Асра-лысый впустил его? Видно, недоглядел. Дехканин робко оглядывался, все никак не мог усидеть на месте. Я сперва думал, он кого-нибудь ожидает. Потом догадался — да он просто не может понять, кто поет! Я так и прыснул. Он поглядел на меня с опаской. Тогда я, как мог почтительнее, объяснил ему, что поет вон та машина с трубой... воп та, в углу! Тут он совсем растерялся и долго смотрел на нее испуганными глазами. Видно, он раздумывал, что бы это могло значить: если внутри сидит человек, так ящик для этого слишком мал, если там нечистая сила, так в песне поминается аллах и пророк! Просто страх божий, лучше не думать! Я все хихикал про себя, я-то граммофон миллион раз слышал! Но тут мне пришло в голову, что, попроси он меня объяснить, в чем там дело, я и сяду в лужу: я знаю об этом не больше, чем он...

ВЗРЫВ

Я сделал на базаре обычные покупки — фунт свечей, бухарского наса на две копейки, немного халвы — и поплелся в курильню. Осточертела она мне до крайности. При мысли, что я опять увижу все эти физиономии, мне просто тошно делалось. Только индеец еще хотелось поглядеть.

Придя, я сделал кое-как все необходимое, стараясь ни на кого не смотреть, и лег спать. Проснулся я от холода. Что-то непонятное творилось в мире, было и темно и странно светло разом. Я выглянул — на земле, тая, лежал тоненький слой первого снега! Так рано снег еще никогда не выпадал, и так неожиданно! Вечер вчера был теплый,

только ночью, видно, небо затянули холодные, хмурые тучи... Ну и дела!

Я вернулся в помещение, не зная, с чего начать день... Потом вдруг мне пришла в голову странная мысль. Я зажег лампу, уселся и на обертке от пачки кузнецовского чая, в какой обычно Хаджи-баба подавал опий своим гостям, одним духом написал... стихотворное послание Хаджи-баба! Вот оно полностью:

СНЕЖНОЕ ПИСЬМО

О джап-баба, нам снег послал всевышний,
грозит мороз, и смотрит хмуρο небо.
А у бедняги вовсе деньги вышли,
и на одежду — ни копейки нету.
Я весь дрожу, окоченели ноги,
и голову прикрыть не знаю чем я.
А я служил прилежно дни и ночи
и выполнял все ваши порученья!
Истерся я вконец, как мягкий веник,
мета весь дом от самого рассвета...
Мне б на халат да и на шапку депег,
и, кроме вас, другой надежды нету!
А вам за все благодеянья ваши
дай бог семь раз домой прийти из хаджа!

Ваш ученик-сирота.

Я перечел его, и оно мне самому понравилось. Я свернул свое послание в виде письма, а когда Хаджи-баба вышел из своей комнаты, протянул ему.

— Что это, сынок?

— Не знаю, приходил какой-то человек, оставил, говорит, письмо из Намангана.

— А, вот оно как, наверное, от Маматризы. Он собирался в этом году мак сеять, — сказал Хаджи-баба и протянул письмо уста Салиму, очкастому. — Прочитайте-ка письмо от друга. Что-то я по утрам вижу плохо.

Мулла взял письмо, развернул и стал читать:

— «Снежное письмо...»

— Что-что? — переспросил Хаджи-баба.

— Снежное письмо, — повторил уста Салим и давай читать дальше.

Хаджи-баба весь затрясся.

— Эй, ты, нечестивец, — закричал он, — кто это тебе дал, почему ты сразу его не задержал, а? Да мы бы поса-

дили его задом наперед на ишака, намазали бы сажей и прокатили по Чорсу! Ах ты, господи, кто же это решился высмеять меня на старости лет! А ты хорош — гляди, каким скромным прикидывается, как кот у бакалейщика... Ну, читайте дальше, уста Салим, читайте.

По мере того как уста Салим, запинаясь и вставляя после каждого слова свое «хуш-хуш», продвигался к концу послания, до Хаджи-баба дошел смысл всей истории, и он понемногу перестал злиться. А когда услышал конец «дай бог семь раз домой прийти из хаджа», он растаял и даже прослезился. Подпись «ученик-сирота» совсем его доконала.

— Так ты ж это и написал, собачье отродье,— сказал он со слезами на глазах,— что ж ты сразу не признался? Оказывается, ты и стихи писать умеешь, а? Да, так вот оно и бывает!..

Он достал из-за пояса платок, вытер слезы и пошел в ичкари, а пока его не было, уста Салим стал меня расхваливать и говорить о трудностях стихосложения. Он стал уже забираться в такие тонкости, что я совсем перестал понимать, о чем речь, но тут вернулся Хаджи-баба, в руках у него была поношенная шапка с фиолетовым бархатным верхом.

— Надень-ка это, сынок, ну, ну, подними руки для благословения, о, господи, дожить бы тебе до моих лет! Так вот оно и бывает, да, стоит птенцу вылупиться из яйца, он и начинает оперяться. Будешь жив-здоров, скоро и ватный халат тебе будет, так-то вот оно...

Благословение его сбылось, на завтра индиец, который тоже при всем этом присутствовал, подарил мне свой старый зимний халат без рукавов. Халат был на три четверти аршина длиннее, чем мне требовалось, но я подрезал подол. Теперь я был одет и обут, как принц: на ногах опорки, сам в индийском халате, подпоясанном ремнем, на голове бархатная шапка. А если бы кто стал болтать всякие глупости, что я, дескать, похож на воронье пугало, так я на того плевать хотел.

Пару дней я усердно работал, но мысль о том, что отсюда надо убираться, гвоздем засела в моей голове. Как-то утром я решил привести в исполнение первую часть разработанного мной плана. На рассвете, когда я в одиночестве убирал курильню, попался мне пустой флакон из-под насвая. Я наполнил его водой, плотно закупорил и глубоко закопал в золу в мангале. Потом я развел огонь и зашес

мангал в курильню. В курильне проснулись, появились посетители, скоро все собрались на завтрак. Тут были и сам Хаджи-баба, и уста Салим, и индеец, и Султан-курносый в своей неизменной феске — словом, все общество. Закусывая, они заговорили, конечно, о политике.

— Великая беда этот Герман,— сказал уста Салим, разжевывая лепешку.

— Великая! — хором отозвались индеец и Хаджи-баба. «Греется флакончик»,— думал я.

— С воздуха бомбы бросает, виданное ли дело? — сказал уста Салим.

— Наказал нас аллах, видно, земля нагрела, вот небо и рушится,— сказал Хаджи-баба.

«Вот-вот закипит»,— думал я.

— А бомба, говорят, если упадет, одна тыщу домов спопит! — сказал Султан-курносый, по привычке поправляя феску. — От одного взрыва, говорят, миллион человек идет на тот свет!

«Вот сейчас!» — подумал я, и тут действительно ахнуло! Флакон в мангале взорвался с таким грохотом, словно разнесло котел в бане! Курильня наполнилась облаком золы, что-то зазвенело, полетели осколки, какие-то тяжелые предметы попадали на пол. Словом, взрыв был такой, что и на войне лучше не бывает! Когда зола немного осела, Хаджи-баба и Султан-курносый приподнялись и на четвереньках поползли в сторону. Меняла и уста Салим лежали без движения, но я побрызгал им в лицо холодной водой, и они пришли в себя.

Несколько секунд слышались только робкие охи. Потом Хаджи-баба, отплеываясь — у него был полон рот золы,— начал посылать проклятия Герману и Николаю. Уста Салим спросил:

— Ах ты, господи, а что это было-то?

— Пропади вы пропадом, все из-за вас! — закричал Хаджи-баба. — Говорил я вам, не лезьте в политику!

Султан-курносый ползком добрался до двери и исчез. Все на некоторое время замолчали — они поглядывали друг на друга, видно соображая, что же это все-таки могло быть, и на всякий случай отодвигаясь подальше от страшного мангала. Под конец все забились в углы, стараясь стереть с лица золу. Посмотрев на меня, Хаджи-баба сказал:

— Что ты нахохлился, как фазан? Что ты стоишь, пропади ты пропадом? Иди, вынеси мангал!

Я потащил мангал, делая вид, что ужас как боюсь, и стал подметать золу. Но тут появился Султан-курносый — и не один: с ним было двое полицейских!

— Выстрел был вот здесь! — сказал он, тыча пальцем в то место, где стоял мангал, а потом повернулся к уста Салиму: — А стрелял вот он!

Уста Салим что-то растерянно завопил было, но полицейские его не слушали. Они начали обыск, предварительно ощупав со всех сторон уста Салима, который извивался у них в руках и паническим голосом уверял, что он вообще никогда в жизни не стрелял, даже из рогатки. Всю курильню перевернули вверх ногами. Потом проверили паспорта. Потом допросили Хаджи-баба и уста Салима, выясняя все их родственные связи, вплоть до чьей-то бабушки, которая, по словам уста Салима, осталась бездетной и умерла от нервного истощения. Конечно, не нашли ничего, кроме двух фунтов анаши и четверти фунта опиума. Один из полицейских незаметно отломил кусок анаши размером с кулак и положил его себе в карман, я это видел, но, разумеется, промолчал.

— Ладно, — сказал наконец полицейский, тот, что был помоложе. — Насчет выстрела не подтвердилось. Бомбы тоже не видать. Видно, какой-нибудь мальчик устроил фейерверк.

Только он это сказал, все посмотрели на меня, и глаза у них загорелись мрачным огнем. Я уже приготовился с плачем отнекиваться, но тут второй полицейский добавил:

— А вам, Хаджи-баба, придется пойти с нами, объясните господину полицмейстеру насчет этого, — он показал на анашу и опий.

— О великие! — сказал Хаджи-баба, и колени у него подогнулись, как будто он собирался стать на них. — На старости лет не ведите меня в суд, это ведь не мое, мне дали на сохранение...

Тут остальные тоже вмешались:

— Оставьте это дело, век не забудем вашу доброту, дай бог жизни и вам, и господину полицмейстеру, и белому царю...

Хаджи-баба начал лихорадочно рыться в своем кошельке, выгреб оттуда целую горсть меди и серебра и отдал старшему полицейскому.

— Вот, возьмите, добрые люди! Хоть и мало, но сочтите за многое, даю от всей души...

Полицейские переглянулись.

— Ладно уж,— сказал младший.— Смотрите, чтоб впредь этого не было, на первый раз простим, как-никак вы старый человек...

— Ой, спасибо,— забормотал Хаджи-баба и стал кланяться.

Полицейские ушли. Хаджи-баба обессиленно уселся на край нар.

— Уй, еле спасся от беды, благодарение аллаху, пронесло... Эй ты, чертов сын, сколько ты мне вчера вечером денег отдал?

— Семь рублей, одна таньга и мири!

— Слава аллаху, дешево отделались... Ну, а теперь говори — твоя проделка?

— Умереть мне, нет!

— Смотри, так и умрешь без покаяния!.. Может, какой-нибудь мальчик в курильню заходил?

— Я не заметил...

— А-а, ты не заметил, так-то вот оно! И сам ни при чем, и не видел никого! Сыт, одет, деньги копишь, так еще и номера стал выкидывать, как козел Ишанхана! Еще говорит, я не заметил! А-а!

Он схватил лежавшие рядом медные щипцы для угля, вскочил и кинулся ко мне. Несколько раз он успел меня ударить, но тут его удержали остальные. Я забился в угол и плакал. Меняла умылся, оделся и с печальным видом ушел на базар. Уста Салим принялся за изготовление цветов из разноцветной бумаги — подарок какому-то баю на той, по случаю обрезания младшего сына. Хаджи-баба ушел к себе. Султан-курносый не показывался. Мало-помалу к середине дня все вошло в свою колею. Но дело было сделано... Я остался под сильным подозрением.

Когда дня два спустя наши посетители беседовали, сидя на сури у стены курильни, с крыши на них упали два дерущихся кота. Если бы из зверинца действительно сбежал тигр и прыгнул на них сверху, они бы и то больше не испугались. Коты, правда, до того озлились, что, даже свалившись, продолжали рвать друг друга, истощно воя, и при этом, конечно, не особенно заботясь о красоте наших клиентов. Они начисто разодрали чалму уста Салиму, и, помимо, ему еще надо было благодарить аллаха, что на нем была чалма, потому что у двух других они выдрали примерно половину волос из головы и бороды, да так и скрылись со своей добычей.

И, подумайте, их приписали тоже мне!

Разве не обидно? Ведь в этом я был ни сном, ни духом не виноват, я этих котов раньше и в глаза не видел! Но во всем есть своя хорошая сторона. Теперь ясно, что задерживать меня здесь особенно не станут...

Однако дело этим не кончилось.

В следующий четверг Хаджи-баба приготовился к обычной торжественной трапезе накануне пятницы. В широкой щели под потолком у него стоял ирбитский ларчик, который открывал только он сам: там хранились наркотики, чай, сладости. На этот раз он спрятал туда полфунта ароматного кузнецовского чая, фунт халвы, больше фунта ургутского желтого кишмиша и другие лакомства. Ларец он, как всегда, запер, а ключ привязал к связке, что носил на поясе. Там были еще ключи от чулана, от ворот, от комнат, от большого сундука и еще бог весть от чего. Настроение у него было прекрасное, это я понял по его пению. Когда он был чем-нибудь доволен, то всегда напевал вполголоса. Сейчас он пел какую-то непонятную песню «Антал-хади, антал-хак, лайсал-хади, шлал ху...»

Вечером, после четвертой молитвы, уста Салим, как обычно, стал читать вслух какую-то книгу толщиной в кирпич. Все слушали, затаив дыхание. Потом улеглись спать. Разбудил меня старый перепел, за которым Хаджи-баба, получивший его в подарок из Ура-тубе, любовно ухаживал с самого Науруза. С минуту я лежал, слушая его пошвыстывание, потом встал, умылся, поставил самовар. Следом встали уста Салим и индиец. Я продолжал наводить порядок, приготовил все для завтрака. Вошел и Хаджи-баба. Видно, проснулся он с тем же прекрасным настроением, потому что, как и вечером, напевал свое «Антал-хади». Мы обменялись приветствиями.

— Самовар вскипел, Хаджи-баба, если дадите чай, я заварю...

Он перебрал связку у себя на поясе, нашел ключ от ирбитского ларца, отделил его от остальных и взглянул наверх. Ларца наверху не было.

— Ты что, ларец под голову спрятал? Молодец, сынок, осторожность вещь хорошая, так-то вот. Говорят, соблюдай осторожность, только соседа вором не считай... Ну, куда ты его поставил?

— Хаджи-баба, я его никуда не прятал! И под голову не клал. Он был на месте.

— Что, что? — спросил Хаджи-баба встревоженно. — На месте был? Уста Салим, вы не видели?

— Вечером видел, он там стоял.

— Так ищите же! — сказал Хаджи-баба, чуть не плача. Потом он сжал губы и зло посмотрел на меня: — Подума́й как следует, нечестивец, куда ты его дел?

— Хаджи-баба, ну ей-богу, не трогал я его! Я же ваши вещи никогда не трогаю, вы же знаете! Чтоб мне провалиться, если я знаю, где этот ларец...

— Он не птица, чтобы самому улететь! И не лягушка, чтобы выпрыгнуть! Так-то вот! Ищи, проклятый! Не смей шутить со старым человеком!

— Хаджи-баба, да разве я когда-нибудь...

Он оборвал меня:

— Кто сюда заходил после меня?

— Никого не было, Хаджи-баба, даже сорока не залетала!

— Никого? — сказал Хаджи-баба в ярости, передразнивая меня. — Опять никого, и ты не виноват!

Он погрозил мне кулаком и начал поиски, заперев дверь курильни. Он перевернул все вверх дном, даже полнейские и те так не старались. Он дважды обследовал пустую щель, где стоял ларец, как будто думал, что тот может появиться сам собой, заглянул под курпачу, в трубу самовара, потом стукнул меня и велел раскрыть рот: может, он думал, что я съел его ларец по частям и теперь от испуга начну выплевывать непереваренные кусочки? Совершенно разъярившись, он схватил свои любимые медные щипцы и стал меня колотить. Уста Салим к нему присоединился. Я орал во весь голос. Я вправду испугался, потому что ларец я и трогать не трогал, черт его знает, куда он исчез! Наконец, изрядно избив меня, они угомонились. Индеец, который смотрел на все это, забившись в уголок, плакал от жалости ко мне, но не вступался. Видно, он растерялся или вправду считал меня вором...

— Проклятое отродье, — говорил Хаджи-баба, — ишь, мягкий веник! Говорят: вскорми осиротевшего теленка — рот и нос будут в масле; вскорми осиротевшего мальчишку — рот и нос будут в крови. Так вот оно и бывает, да! Как ты у меня прижился — так и дней спокойных не стало! Говори, куда сплавил ларец, по-хорошему говори, вернешь его — все забудем. А иначе я тебя к казнию поведу, в суд, да, так-то вот оно! Несдобровать тебе тогда, в Сибирь попадешь!

Я ответил, всхлипывая:

— Если уж на то пошло, Хаджи-баба, я и сам вас к ка-

вию позову! Где это видано, сколько я у вас работаю, а получил одну старую шапку! Да еще избili вы меня, сироту! Где это в шарияте такое сказано? Думаете, я к белому царю дорогу не найду? Ой, мамочки, ой-ей-ей...

— Ах ты, негодный, да ты и так еще разговаривать умеешь! Неблагодарная твоя душонка! Вон отсюда! Убийрайся сейчас же! Что я тебе должен, получишь на Страшном суде!

Тут уста Салим вмешался:

— Хаджи-баба, зачем вам его гнать? Черт с ним! — Тут он подмигнул Хаджи-баба. — А ты, мальчик, укороти язык, понял? Если не ты взял, скажи, кого подозреваешь?

Тут индеец не выдержал:

— О, бедный мальчик, несчастный сирота! — сказал он дрожащим голосом. — Хаджи-баба, я оплачу стоимость вашей пропажи. Во сколько вы свой ларец цените?

— Прекрати свой мешават-пешават! — сердито оборвал его Хаджи-баба. Потом снова обратился ко мне: — Скажи нам, кого ты подозреваешь?

Я и вправду не знал, кого мне подозревать. Потом я подумал про Султана-курносого. Может, он?

— Тяжело клеветать на других, хозяин, — сказал я. — Только мне думается, это курносый. Зря ли он полицейских сюда привел? Он против вас всех, видно, зло затаил!

— Гм, — сказал Хаджи-баба. — Ну, это мы проверим. Он от нас никуда не денется...

На том все кончилось. Но день был испорчен, курильню открыли только к полудню, да и то, несмотря на праздник, народу пришло мало. Вечером я разделался со всеми делами. Потом притворился, что ложусь спать. Хаджи-баба уже ушел к себе, индеец нынче не было, а уста Салим подозрительно долго не ложился. Видно, караулил меня. Но сон в конце концов его сморил. Тогда я выскочил и побежал к тополю, под которым зарыта была пепельница с частью моих денег. Потом я вернулся тихоночко, уста Салим спал. Я достал иголку и принялся в темноте кое-как зашивать все монеты в кромку индийского халата. Денег было что-то около сорока рублей — целое состояние! Если б не война, можно купить десять баранов!

Я уже кончал свою работу, когда вдруг, неловко наклонившись, задел стоявшую рядом пепельницу, и она с грохотом покатилась. Уста Салим проснулся и вскочил в испуге:

— Кто... кто тут?

— Никого нет, мулла-ака, это я... — сказал я спокойно. Монеты все уже были зашиты.

— Что... что ты делаешь там, в темноте, а?

— Ничего я не делаю, халат свой зашиваю. Выгоняют меня, так не идти же мне в рваном халате!

— А ну, зажги лампу!

Я встал и зажег. Он жадно оглядел комнату, увидел мой халат и иголку с ниткой, торчавшую из кромки.

— Бедненький мальчик, — сказал он лицемерным сладким голосом. — И вправду, гляди-ка, шьет в темноте... А ведь зря ты шьешь. Меняла у тебя халат обратно заберет. Такой жадюга! — Я посмотрел на него, он на меня, лицо у него было сонное, а глаза хитрые-прехитрые. У меня вдруг одна мысль мелькнула. — Да, — продолжал уста Салим, — ты видал, какие деньги он здесь пересчитывает? А ведь я сижу тут, нуждаясь в горсточке кишмиша! Не помню, чтоб он мне хоть раз медяк дал... — Он помолчал. — Ты лучше уходи, пока можно, да и почь нынче лунная. Жалко, конечно, я тебе как раз завтра змея хотел сделать... — Он покосился на меня. — Теперь и бумага и камыш зря пропадут! Ничего не поделаешь, такая у тебя судьба...

Я притворился страшно огорченным.

— Что вы, мулла-ака, неужели он вправду халат обратно отберет? — Я знал, конечно, что это вранье, ведь уста Салим и не подозревал о подарках, которые делал мне индеец. Мне кое-что стало ясно.

— Отберет, жадюга! — сказал уста Салим. — И не задумается! Уходи, пока луна да все спят... И прощаться нечего. Хаджи-баба не любит много разговаривать, ему молчаливые по душе.

«Как же! — подумал я. — Нашел молчальника. Вот оно что, Ильхам-чайханщик содержал поугая, чтоб собирать людей в своей чайхане, а Хаджи-баба держит для этой цели уста Салима. Чему Хаджи-баба его учит, то он и говорит. А ларец-то он украл! Он, точно. Только без ведома Хаджи-баба... Ну, ладно, черт с ними, пусть себе разбираются, мне ведь главное — уйти отсюда тихо». Я сказал:

— Спасибо за совет, уста Салим, как вы скажете, так и сделаю. Уйду...

Я налил в кумган воды из самовара, вышел и помылся теплой водой. Помыл лицо, руки, ноги — в честь избавления. Потом зашел, надел халат и шапку. Уста Салим

жадно следил за мной. Следи, следи, денег моих ты не увидишь! Я поклонился ему и вышел.

После первого снега снова потеплело, но воздух все же был холодный, благо я был одет и обут. Я вздохнул полной грудью и тут только понял, до чего спертый и вонючий воздух в курильне. Ах, теперь я легок, чист, свободен, как птица, вылечившая крыло! До рассвета еще далеко, но на душе у меня уже словно заря занимается! Куда же я иду?

. Домой! Домой!



НЕТАЙ

1

Затяжные дожди месяца Савр вытянули за ушко да на белый свет всю зелень. Воздух чист и прозрачен. Солнце, точно девица после долгих слез, поглядывает с высоты небес сквозь влажные ресницы.

Непрестанное щелканье перепелиного племени приветствует весну-невестку: «Добро пожаловать, добро пожаловать!..»

Парни, всю зиму превшие на ежевечерних тукмах — пирушках, рыщут в поисках площадки попросторней, чтобы помериться силами в борьбе.

Лишь для улицы Андреевской (Пойкавак) все четыре времени года — весна. У нее свои, особые, солнца. Ее перепела не смолкают никогда, а парни там меряются силой круглый год...

Это — развеселая улица. Она живет, не разделяя общепринятых радостей и забот. У нее и радости — свои, особые, и заботы — свои, особые.

Ей не пристали ни благонравие, ни чинность; напротив, здесь всецело царствуют распутный гогот, срамные песни, бесстыдные зовы и пьяные вопли. А сама улица источает какой-то сладковатый и приторный аромат.

Публичные возлюбленные, такие, как Путахон, Санталатхон, Зебихон, Холдархон, Саодатхон, Маъфиратхон, Лутфихон, воплощают душу этой улицы. Ими и держится ее вечная весна.

Лишь ради них стекаются сюда издалека городские юнцы-ремесленники и ухари-чапани. Ради милой пьют, ради красоти готовы прозакладывать и халат, и сапоги. Будь что будет — лишь бы насладиться минутной беседой с Зебихон, короткой песней, миловидным лицом и пышными формами. Они готовы схватиться с соперником на кулаках, готовы по воле избранницы человека убить, а требуется — готовы сами умереть.

На кон — деньги, и на кон — жизнь.

Нередко арык, протекающий через Пойкавак и вливающийся в Салар, начинает краснеть и дымиться — то ли от стыда за ежевечерние безобразия, то ли от особенных лютоостей и зверств минувшей ночи.

Лишь им — в тоске — посвящают песни поэты. В рассуждении черных бровей, благоуханных волос, гибкого стана и яблочно-румяных щек.

Изгиб бровей твоих избрал
я алтарем для чувств своих,
Зубам твоим не предпочту
аданских перлов дорогих.
Предстань хоть тысяча Зулейх,
ты превзойдешь красою их,
Ведь город мускуса Хутан
не знал волос длинней твоих.
Пленились родинкой твоей
на Инде дальнем, Зебихон!
Сурьмой, как трауром, глаза
оделись, чтоб меня казнить.
Сто ран в душе от стрел ресниц,
которых мне не отразить.
Молю тебя единый взгляд
безумцу страсти подарить,
Чтоб ожил Масихо и мог
живым среди живущих жить.
Яви внимание рабу
в плену печальном, Зебихон!¹

Так говорят поэты и впивают, не брезгуя, затхлый дух пирушек. Однако самим Зебихон и Путахон оттого не легче. Душа слезами обливается, а лицо смеется. Сердце кровоточит от унижений, а глаза уязяты призывно.

Неведомая для них неотвратимость, незримое по-
нуждение бросили их в эту золотую пучину. Некий
охотник с алчными глазами заточил их в эти золотые
клетки.

Окруженные преходящим поклонением, они невольно
задыхаются в объятиях нелюбых, часто сменяющихся
дружков.

Нередко они плачут.

¹ Стихи в повести даны в переводе Р. Галимова.

Но слезы эти — глупые слезы. Ибо — есть же у них хозяева! И по гроб жизни они обязаны этим хозяевам!

Пища — даром... Одевка-обувка — даром... Жилье — даром...

Стало быть, красоткам остается лишь радоваться веселой жизни да благодарить хозяев. И уж не почесть за тягость занять гостей, поиграть, посмеяться, одарить лаской и негой залетных — на одну ночь — воздыхателей...

К звукам развеселых недр Андреевской улицы присоединился еще один дуэт. Со стороны Салара приближались два пьяных джигита и орали песню, брызжа пеной изо рта, как два одуревших верблюда.

Не ходите в Искобил, там дороги — ой-ей-ей... эй!

За урюк ли, яблоко — там расстанешься с мощной... эй!

Подошел я под урюк, подошел под яблоню... эй! ёру!

Вижу, девушка лежит, извивается змеей... эй!

Этот рев, эти несущиеся вдоль улицы голоса друзей захлестнули все иные вопли.

Долговязый, тот, что проглатывал половину слов и гнусавил в нос подголоском, тянул за рукав бекасамого халата коренастого крепыша с открытой грудью, на каждом плече которого могло бы усесться по человеку.

— Палван... Палван, говорю, погодите немного...

— Чего тебе, растяпа? Не ломай песню...

— К кому пойдём-то? К Холдархон или к Санталат?

— Вай-ей, по мне так... обе хороши. К какой ведешь, к той и пойдём, растяпа, тебе лучше знать, что к чему на этой улице.

— Значит, идём к Холдархон, тем более — с хозяйина ее, с Каракоза, мне небольшой должок причитается.

— Причитается?! Ха-ха-ха... я гляжу, где мы теряем — тебе, растяпе, причитается, а? Только этим и не занимался... Как говорится, поишь цыганского осла и ухитряешься деньги за это слупить, ха-ха-ха...

Коли руку запушу, где нет пуговок, ер-ер,

Два граната всколыхну, что без косточек, ер-ер...

— Вай до-о-од, что за местечки без косточек!..

Вдвоем они подошли к большому зданию под золоченой вывеской и, подпирая друг друга, пошли наверх по множеству ступенек.

— Самад,— сказал Палван,— если сам не будешь языкаться со здешними — моя не понимай, ха-ха-ха...

— Ладно, Палван.

Самад и Палван подошли к дородной женщине, сидевшей при нумерованной дощечке с ключами.

— Издирас, мамашка, издирас, как поживай?

— Ничего,— сказала женщина.

— Хозяин здесь? Каракоз?— спросил Самад.

— Здесь, в конторе.

— Идемте, Палван. В конторе, оказывается, сам. Зайдем.

— Оставь, растяпа, без меня зайдешь. Вдруг денег не будет — засовестится. Брось, растяпа.

— Но должок же имеется, Палван!

— Слышал! Я на этот твой должок...

— Не даст денег — подцепим кого-нибудь на шермака, Палван.

— Назвался джигитом — плати сполна, растяпа, не привыкай на шермака.

— Да тут все свои, чего чваниться, Палван?!

На шум, поднятый ими в коридоре, хозяин сам вышел из конторы. Это был довольно полный человек лет сорока. Борода сбрита, рот прикрыт висячими усами, брови срослись на переносице; черные полосатые брюки держались на подтяжках, перекинутых через плечи. Разведя руки с выпрямленными пухлыми ладошками, он прикусил нижнюю губу, качал головой и, показывая глазами на одну из дверей по левую сторону коридора, призывал к порядку Самада и Палвана.

— Душа моя, Самад, приди в себя! Разве тут место для шума-гама, того-сего... Будто не знаешь, да...

— Ага,— сказал Самад, потирая палец о палец,— монету гони, монету!

Хозяин пожал плечами.

— Идем, дорогой, тут не годится вести счеты.

Втроем направились в конец коридора. Там свернули направо и спустились в нижний ярус номеров — в подвал.

Подвал битком набит людьми. Как в обычном трактире, рядами расставлены столы и стулья, в сторонке — буфет. Пиво, водка, коньяк. Наготове — любых сортов выпивка и закуска.

Кругом пьют — и не убывает. Мужчины и женщины вместе; одна компания ладит песню; в другой компании, тыча друг в друга кулаками, пытаются разрешить какой-то спор; некоторые подзывают к себе женщин из-за дру-

гих столов. Вот один из них усадил красотку себе на колени, вторую красотку — рядом с собой и, закинув ее руку на свое плечо, чокается стаканом.

Слепой гармонист в углу, проливая в эту духоту мелодию какой-то необузданной тоски, жмет на клапаны, разворачивает плечи.

Трое сели за стол. Хозяин подал знак женщине. Мгновенно появилась тарелка соленого миндаля, шесть бутылок пива и три стакана. Хозяин сам начал разливать.

— Душа моя, Самад, пойми, да, в делах — застои. Не годится наверху счетами-расчетами хорошего гостя тревожить, кунака обижать.

— Да кто твой кунак-то, ага?

— Проезжий богач. Кучу ташкентских денег загреб. Теперь в карты играет. Ошибиться нельзя. Давай говори, чего желаешь?

— Ага, вот это вот — брат мой Палван. Сам он — кокандский. Гость. Исключительно ради меня приехал.

— Не ради тебя, растяпа. Скажи, на кураш. Скажи, противник Ахмед-палвана в борьбе.

— Противник Ахмед-палвана. Сам он ходит в джигитах этого, знаешь, кокандского заводчика Гани-байбачи. Вот так. Я ему должен оказать честь. Честь, ага, понимаешь — честь!

— Говори, душа моя, говори.

— А для оказания чести нет денег. Подавай, значит, денежки. Вот тогда, — взглянув на хозяина, Самад подмигнул, — я снова к твоим услугам. Только имей в виду, — он поднял большой палец, — вот такую подыскал! Положишь тысячу целковых, ага! Копейкой меньше — и ходи своей дорогой, ага, весь сказ!

— Где горы, растяпа, а где бараны... — заметил Палван.

— Говори, говори, душа моя, кто такая, откуда она? Девушка? Женщина?

— Приедет — узнаешь. Самое большее через неделю. Монету гони, ага, монету.

— Ай молодец, Самад, все мое — твое, сколько желаешь — пожалуйста, — хозяин копнул в кармане брюк и, вытащив две скомканные бумажки по двадцать пять целковых, протянул Самаду.

— И одной хватит растяпе, бросит же на ветер, приятель...

— Ага, если, значит, без твоих-моих, — требуется ока-

зять честь — сделай сегодня удовольствие моему другу. Прикажи во дворец — пусть окажут честь.

— Все, Самад, ай живи, пожалуйста, пожалуйста!

Хозяин осклабился и одобрительно потрепал Самада по плечу. Вскинув стакан с пивом, он поднялся с места.

— Самад, душа моя, допивай пиво и веди Палвана во дворец, а я проведу верхних.

Покинув Самада и Палвана, хозяин отправился наверх.

Самад без конца хвастал перед Палваном собственным молодечеством, уверял, что все на Пойкаваке получили от него свое. За болтовней не забывали сдвигать стаканы с пивом, пили...

Свечерело. С тех пор как Самад с приятелем засели за стол, кругом них трижды сменились гости. А на столе выстроилось то ли двадцать, то ли тридцать порожних бутылок.

Палван, уместив голову на сгибе левой руки, впал в дрему.

Самад выдул в одиночку последний стакан пива и, поднявшись с места, хлопнул Палвана по загорбку.

— Палван, — сказал он, — поднимайтесь, вечер уже. Вставайте, Палван, к девочкам пора, во дворец. Нынче — день облегченья, вставайте, Палван.

Палван поднял голову и вперил покрасневшие глаза в Самада.

— Во дворец, к Холдархон? Давай, двинулись, растяпа!

Подпирая друг друга, они вышли по второму выходу из подвала — и очутились на улице. Пересекли ее, направляясь к ограде на той стороне. Здесь их поджидал, сидя на крытой овчиной приступочке, дворцовый привратник, а вернее сказать — зазывала, скликающий «гостей».

— С прибытием, Самад-щеголек!

— Как твои красотки — все во дворце?

— Все целехоньки, ждут не дождутся свиданьца с вами.

— Эй, Самад, что это он плетет, что за «свиданьце», с кем, растяпа, шутки шутит? Свернуть ему голову под мышки?

— Не надо, Палван, не надо: свой шалопай, ему и пошутить можно.

Они прошли во внутренние покои дворца.

Публичные дома на Пойкаваке, один из которых осклабили друзья, подразделялись на три категории. Первая называлась номерами и состояла из отдельных комна-

тушек, обставленных на европейский лад. Здесь обретал пристанище странствующий люд из других городов, а также вожделеющая развлечений на один вечерок городская знать и бай. Женщины, вино, карты — что изволят — было к их услугам.

Вторая категория представляла собой пивной зал, в котором побывали друзья. Сюда заворачивали те, кто искал кратковременной «передышки» от житейских забот. И для них имелась в избытке выпивка и прочее. А взывает сердце... находился и укромный уголок.

Третья категория олицетворяла Восток и состояла из большого дворца, разделенного на вереницу обособленных келий. В сторонке размещалась чайхана, а в кельях обитали женщины — по одной, по две в каждой. Комнатки свои они принаряжали как покои молодой невестки. Имелись тут дутары, танбуры, уставленные яствами дастарханы, а при надобности — и все разнообразие напитков. На каждые две-три кельи приходилось по одной прислужнице. (Молодые годы прислужницы проводили в кельях, а состарясь и утратив привлекательность, получали здесь же другую работу.) Имелся еще смотритель и прочий персонал.

Наряду с купчиками-байбачами из красных рядов, сапожных лавок, галантерейных ларьков, тянулись сюда в гости и молодые ремесленники, которые всю неделю, орудуя шилом и сапожной иглой, копили в кошельке скудные заработки.

Самада с приятелем пообочь двора встретила Шафоат-прислужница.

— Иди, иди, Самадджан, долговязенький наш. Каким тебя ветром занесло? Как раз и племянницы твои зароптали, мол, подай нам дядюшку: соскучились — помираем.

— Дядюшка... ха-ха-ха... ай да растяпа! — сказал Палван.

Самад выпятил грудь и напустил на лицо значительность.

— Тетушка, — сказал он, — у Путты свободно?

— Да нет, долговязенький, только что гость вошел, не скоро освободится.

— А у Холдар?

— А ей нездоровится. Вся в жару, что твой шашлык. И перхает. Прошлой ночью негодяй смотритель уложил-таки меня вместе с нею. Приказ, говорит, хозяина таков. Тысячу раз пожалела-раскаялась, что согласилась. Как начнет потеть, как начнет потеть! Вся постель мокрая, са-

ма бредит: погубили, говорит, мою жизнь молодую, бесстыжие. Сил, говорит, не осталось. Ах, говорит, были бы руки мои сильные, как у тигра, растерзала бы на клочки и хозяйина, и дядюшек, и тетюшек, — всех! Плюется. А утром гляжу — слюна-то с кровью попадаю. Как бы вовсе не померла. В конце-то концов, Самад, дорогой, могли бы лекарю какому показать. Подсказал бы хозяину, миленький!

— Тебя, что ли, хочет растерзать эта растяпа? Кто же она такая?

— Помрет — одной обжорой и модницей меньше, всего делов, тетюшка. Ну-ка, говорите, у кого свободно?

— У Саодат и Лютфи, проходите, пожалуйста, миленькие.

Друзья вдвоем проследовали в угловую, среднего убранства келейку. А за ними, — не прошло и десяти минут, — нагрузив чайханщика множеством бутылок, просеменила и сама тетюшка Шафоат.

* * *

Миновало около месяца. На Пойкаваке по-прежнему оживленно. Ни тебе благонравия, ни чинности...

Огурцы в плоских корзинах, точно красотки с подведенными зеленой усмьей бровями, возбуждают аппетит. Топорщится зеленый лук. Кинза и райхан — жертвенный дар поздней весны — побуждают к щедрости поклонников мяса и знатоков шурпы.

Вот уже несколько дней как в чрезвычайных приготовлениях Ташкент дожидается кого-то. Почти ежедневно Камиль-десятский, Сахиб-сотский и даже сам Мочалов, обходя кварталы вокруг Чор-су, вразумляют мусульман.

Всюду — от молочного базара до галантерейных порядков, далее — от сладкого рынка до больших рядов, от еврейских лавочек до обувных магазинов, от Джонгоха до Ходры — идет дружная приборка. Торговый люд в меру сил и возможностей приукрасил свои лавчонки, и посреди каждой — величаво, как на пятничной молитве — восседает сам владелец.

Среди сторожей — тоже невиданное раньше оживление: с утра до вечера, дважды и трижды, поливают водой дорожки, не расставаясь с дворницкой метлой. Сдается, что у аксакалов рядов, маклеров и торговых старшин выросло еще по паре ног.

На каждый чих — по десять здравствуй.

В махаллях — столпотворение. Эликбаши и квартальный имам мечутся, точно ошпаренные куры. Ходят из дома в дом, лишая покоя «черный» люд. То двор приберут, то улицу подметят, то помойку выскребу до блеска, — за приказом приказ.

Парадные входы мечетей и макушки минаретов, словно детские тюбетейки с полосатым перышком филина, — увешаны полосатыми флагами.

Хотя нигде и не пахнет «каникулами» либо праздничным угощением, мулла Шашкал распустил по домам мелюзгу из своей «величальной команды», наказав, чтобы на завтра явились чуть свет в лучшем выходном платье. А десять не то пятнадцать «грамотеев» повидней, оглашая общежитие, задалбливают «хвалу».

Привет тебе, светлый властитель,
Всевышним дарованный нам...

В новом городе — подобная же суматоха и беготня. Повсюду вывешаны бело-сине-красные полосатые флаги. Улицы и переулки вылизаны до лоска. Здешные купцы в свою очередь приукрасили лавки и магазины в русском стиле. Не стало повседневной торговли с рук, которая шумно разливалась по обочинам улиц. Выдворены вон носильщики, ремесленники и толкущаяся на базарах в чаянии заработка прищипая деревенщина. По центральным улицам закрыт конный и гужевой проезд.

На вокзальной площади, от Саларского моста до Сифона, разостлана шелковая дорожка. Сам вокзал, снаружи и внутри, в первом и втором классе, со стороны подъездных платформ, вплоть до потолков убран красными текинскими коврами. Двери увешаны флагами, щитами и мечами, барельефом двуглавого орла, крестом и полумесяцем со звездой.

Ни единого постороннего поезда станция не принимает. Иногородние составы, будь то пассажирские, будь то товарные, следуют до Атчапара либо Чильдухтарон и разгружаются там.

В городе ощущается настроенность и некая тяжелая торжественность.

Лишь одна улица — известная улица — не ведает об этих приготовлениях. Там — ни чинности, ни торжественности, — напротив, там не перестают царить распутный хохот, охальные песни, бесстыдные зовы и пьяные вопли.

Ишан Валиходжа ехал в пролетке, запряженной парой

вороных рысаков, и раскланивался с лавочниками, высыпавшими по обе стороны улицы. На плечах его был халат из бухарского бекасама, на голове — афганская шелковая чалма цвета сурьмы; ворот синего бархатного камзола был набит белым картоном и там, где края его сходились, вместо пуговицы сверкал рубиновый крест в золотой оправе. Это был знак почетного гражданина, пожалованный Валиходже правительством Николая — в признание целого ряда услуг.

С величавой сдержанностью он остановил пролетку прямо перед номерами «Касым» и, обращаясь к некоему унтер-офицеру, отдающему ему честь, заговорил по-русски:

— Его величество прибудет завтра на вокзал, видимо, часам к трем. Есть ли на сей счет особые распоряжения от господина губернатора?

— Так точно, ваше благородие! Их высокопревосходительство приказали через адъютанта, чтобы я самолично оповестил об этом казнев и приставов старого и нового города.

— Должно быть, вы уже сообщили?

— Так точно, ваше благородие!

Ишан Валиходжа ткнул в спину своего кучера. Коляска тронулась и покатилась по Ирджарской улице к номерам «Тухтаджанбай». Ишан Валиходжа вылез из пролетки, приказал кучеру ждать и, преодолев множество ступенек, поднялся наверх. Он начал вызывать по телефону особняк князя Саидрахима:

— Я — Валиходжа. Дома ли Саидрахим?

— С вами говорит сам Саидрахим. Здравствуйте, чем могу служить?

— А, вы сами? Очень хорошо, Саидрахим, вы, наверно, осведомлены, что завтра его величество прибывает на Ташкентский вокзал. Стало известно, что господин губернатор уже направил чрезвычайные распоряжения казиям и приставам.

— Верно, таксыр, распоряжения сделаны. Приватным образом он сообщил мне по телефону.

— И что вы предприняли?

— Теряюсь, таксыр. Во всяком случае, нам с вами следовало бы предпринять приватные приготовления для встречи их величества.

— Именно. Того ради я и потревожил вас. С чего начать? Перво-наперво, я слышал, будто на вокзале не хватает иных вещей, вроде циновок, ковров. Надо сказать,

чтобы Бадалмат-думский и Бакиджан-бай все домашние ковры вынесли на вокзал. Циновки, думаю, найдутся и у вас.

— Найдутся. Проверим еще и других толстосумов, таксыр. Сейчас я послал человека к Иноятходже. Должно быть, скоро вернется. Пошлю и к другим.

— К Иноятходже? Хорошо сделали. Передайте ему — пусть возле вокзала поставит с десяток казанов. Следует устроить угощение для солдат, для учеников и учителей, пришедших из города. Словом, поручите ему возглавить это дело.

— Слушаю. А вы сами не могли бы послать человека к Юсуфу Давидову?

— Зачем это?

— Да по поводу кухонной утвари.

— Хорошо. Да, кстати, Саидрахим, за вами еще одно дело.

— Слушаю, таксыр.

— Сообщите Зарифходже-казню, что наведение порядка среди мулл, имамов, учеников медресе и прочего люда, пришедшего из города, возлагается на него. Пусть будет начеку, чтобы люди были в новой одежде и выглядели опрятно. Пусть отеснит и не пускает в ряды всякую мелкоту и рвань, все это простонародье в драных халатах, ибо предстоящее — не раздача святой пищи из мечети.

— Всенепременно, таксыр!

— Махмуду-карнайчи надобно поручить, чтобы собрал лучших музыкантов с сурнаями и карнаями, дабы они с утра уже отправились на вокзал и были наготове.

— Да он и сам любит подобные дела, таксыр, лишь бы что-либо возглавить.

— Ну, теперь поговорим о нас с вами, Саидрахим. Надо бы светлейшему эмиру подарок повиднее поднести, что будем делать?

— Вам лучше знать, таксыр. Где остановится их светлость?

— У меня, конечно.

— Нет уж, таксыр, я попрошу вас, пусть на сей раз будет моим гостем, на обратном пути — вашим.

— Не пойдет.

— Ну, я вас прошу, таксыр!

— Ну ладно, Саидрахим, ни у вас и ни у меня. Поведем в номера — будет гостем обоих.

— Так меня устраивает, таксыр.

— Каков же все-таки ваш подарок, Саидрахим?

- А ваш?
- Я на всякий случай заказал на один день цирковых балерин. Затем... Ну, остальное позже узнаете.
- Если говорить о моем... полагаю, что-нибудь подвернется, таксыр.
- Саидрахим, нынче вечером вы свободны?
- Свободен, таксыр, лишь эти приготовления — и все.
- Значит, приезжайте в номера «Лондон», в 32-ю комнату.
- И Юпатова будет, а, таксыр?
- Вы тоже приводите свою. Муравьянц, проездом из России в Бухару за каракулем, надумал переночевать в пути. Идет игра в девятку и двадцать одно.
- Валиходжа, терпеть не могу этого вашего Муравьянца. Не найдется ли способа ободрать его вконец?
- Сорок процентов — мне.
- Двадцать пять.
- Ладно, вы приезжайте, буду держать вашу руку — тридцать процентов выигрыша моих, остальное — ваше.
- Договорились.
- Прощайте, жду.
- Прощайте.

* * *

Зеленые отроги Зааминских гор, простершиеся до необозримых далей травостой, — от века являются благодатным пастбищем для скотоводов.

Это мир ветровых долин, где день опрыснут росой, а ночь чиста и прозрачна. Здесь вечерами, на крутых склонах, призывное блеянье баранов сшибается с криком хозяина вершин — ястреба-тетеревиатника. Здесь, чем выше поднимаешься, тем шире становится круг обозримого мира. У горножителей всегда широкие горизонты. А внизу раскинулись Кызылкумы, западные выступы Мирзачуля, преданный гневу солнца город Джизак, крепости, поселки, кишлаки. А там, куда и птица не долетит, — высится купол святейшего Абдуллы и сардоба Музаффархана.

Каждый звук, каждый вздох, каждая песнь, поднимающаяся отсюда, печально отражается от Зааминского хребта — собрата Гиндукушской гряды. Живые, как ртуть, горные потоки устремляются через Чаткал в чужедальные края. И слабое естество воды бьет камни о камни. Издревле так повелось, что из-за слабых бьются сильные. Родники, пробиваясь потайными путями, выливаются наружу,

присоединяются к Сырдарье. Спешат в объятия круглолицей красавицы далеких киргизских степей — Арала. На этом пути в три тысячи верст Сыр — буен, Сыр — нетерпелив. Он течет нахраписто, бежит всполошенно — все лишь ради Арала. И по пути не оглянется на Голодную стену, на солище и смерчи, на сотворенную из раскаленных песков меднокожую девушку, которая обнаженной стоит на берегу и готова вобрать всем телом тайную силу каждой капельки Сыра.

Но не может, крикнув свое «курр-эй», умчаться, подобно этим водам, в родные края чабан Абдурахман, кочующий с верблюдами в степях Сурхана. Он поет:

Я шел сюда, минуя перевалы,
И камни сапоги мне изорвали.
Я вольно жил в родном краю, а нынче
В чужбину гонит ханская опала.

Таковы протяжные, исполненные печали песни рабов, подобных Абдурахману, которые, не вынеся гнета и непосильных налогов эмира Алима, оставили свои захудалые хозяйства в Сурхане и Кашкадарье, оставили без отца семью и, в поисках работы, отправились в дальние края, закабалились за четыре козы в год у скотопромышленников-баев. Они в тоске поют об изгнании, которому их подвергли притеснения злого хана. Смотрят на весеннее небо, подернутое тучами, как лицо западной женщины — траурным флером. Заглядываются в озерца изумрудных родников, которые словно бы перекипают слезами, как глаза верблюжонка, отбившегося от каравана, и эта влага напоминает им слезы детей, тоскующих по отцу.

Бедняги, да разве есть они — добрые ханы? Сами не ведают — было ли когда так, чтобы лев проявил сострадание к газели, чтобы сокол высиживал голубиные яйца, чтобы щеглы свили гнездо в обиталище змеи прежде, чем раздавлена змея...

Внизу — Кызылкумы. Западные выступы Мирзачуля. Один из вечеров поздней осени; верхушки трав — подвяли; небо — в тучах.

Курьерский поезд, тронувшийся с тихой станции города Джизака, бежит отрогами Зааминских гор, направляясь к Хавасту, далее — к Ташкенту, а еще далее — в Москву и Петербург. Летит, оглашая безлюдные ветровые просторы степи пронзительным свистом и оставляя за собой клочья дыма. И в пугающей темноте ночи глаза его

сверкают парой кинжалов и приводят на память драконов старинных легенд.

В схожую с этой, но иную ночь в минувшем некий поэт был вынужден, гонимый тяготами жизни, пройти пешком через Мирзачуль, прежде чем вступить в Джизак. Вот что он рассказал об ужасах ночи:

Пересекал я в сумерки пески,
Меня сардобы купол приютил,
Что выспился один, как дух тоски,
И временем полуразрушен был.

В пустыне разве только тамариск
Усладой взора служит полчаса,
Покуда смерч, закрывши солища диск,
Не бросит горстью мусора в глаза.

И бросил он. И траур объял свет.
И молнии в меня внедрили страх.
Меж черных туч уже просвета нет,
И хлещет ливень в почерневший прах.

Весенний дождь. А я, как в снег, продрог.
И все мое добро — пустой хурджин.
И, скорчившись в пустыне без дорог,
Не чаю, как перемогусь один.

И мысли рвутся, предрекая глеч,
И мнится мне погибель каждый миг,
И синий подбородок меж колен
Уткнув, сижу, глотая взором мир.

И тут послышался издалека
Какой-то шум. И встрепенулся я,
Как будто, обжигая мне бока,
В меня втекла свинцовая струя.

Мгновенья не прошло, как клич «курр-ай»
Пустыню огласил и оживил:
На одинокий купол средь степей
Чабан свою отару выводил.

За тучами не разглядев Плеяд,
Не мог он сверить своего пути
И, в поисках ночлега, наугад
Сумел сардобу древнюю найти.

Когда бы тот поэт взглянул на поезд, который, подхватив путешествующего эмира Алима, мчится голыми степями, чтобы завтра к трем часам поспеть в Ташкент,— тогда бы поэт продолжил:

Невдалеке услышал грозный рык,
И тут во мне все оборвалось вдруг,
Как будто в пасть дракона я проник —
И рвут меня на части свист и стук.

Доподлинно — поезд являл собой дракона. Дракона, в котором едет скорпион, в котором едет эмир Алимхан.

Кабы и нам с вами выпала возможность проникнуть в гнездилище скорпиона, в пещеру дракона, чтобы обозреть их изнутри! Увы, этого нам не было дано. Будем же писать, следуя указаниям очевидцев.

Поезд, помимо паровоза, состоял из шести вагонов. Первый из них предназначен для самого эмира, двух-трех потаскух, трех-четырёх «мальчиков» и конвоя, второй — для придворной челяди и личной стражи эмира, третий — для везиров, военачальников, духовных лиц и прочей знати, четвертый — ресторан, пятый — кухня, а шестой отведен под необходимый багаж.

Вагон эмира выкрашен целиком в зеленый цвет; снаружи, с обеих сторон, — надпись золотом «Ля иляхи...», а внутри — мир роскоши. Под ногами мягкие паласы, отменные шелковые ковры. На окнах — поверх шелковых шторок бархатные занавески. Дверные и оконные ручки — из серебра с позолотой. Здесь с первого же шага охватывает оторопь. Настенные ковры, бархат, тисненый золотом. Кругом — большие толстые зеркала, широкие перины и кровати с подушками. Великолепная мягкая мебель. Посредине — круглый китайский столик красного дерева, инкрустированный слоновой костью; на нем — настольная электрическая лампа с золотой подставкой, мраморным цоколем и фарфоровым абажуром. Всюду разбросаны коробки шоколада, бутылки из-под шампанского, бокалы; на стенных крюках висят — эмирская сабля, кушак, чалма, халат и прочее. На пуховом диване, охватив рукой талию любовницы, сидит сам эмир Алимхан... Эмир одет в белую шелковую рубашку с открытым воротом, в белую тюбетейку со сборками по краям. Женщина капризничает... Эмир поднимается с места и нажимает кнопку на столе. В дверь купе негромко стучат.

— Биёед¹ (Войдите)!

В дверь проскальзывает подросток из челяди, кланяется, согнувшись пополам.

— Ба мо каймок биёред, каймок мехурем (Принесите нам сливок, мы будем есть сливки).

Подросток, семизды поцеловав руки, прикладывает их к вискам, затем — к груди, пятится с тысячью ужимок и выскакивает из купе.

Что делать?! Поезд в пути. До Хаваста еще не близко. И нет в пути полустанка, чтобы дать телеграмму в Хаваст. При выезде из Бухары, готовя дорожные припасы, предусмотрели все на свете — от мяса кекликов до казанов-мантышниц, от пива и коньяков до пасвая, — словом, все, что можно есть, пить, чем можно насладиться, — захватили с собой, только вот о сливках — забыли. И хотя на кухне дожидалось по меньшей мере двадцать вкуснейших блюд, «их величество» пожелали сливок.

Прислужник очутился меж двух огней. Найти сливки или принять смерть! Немыслимо — не удовлетворить желание эмира. В вагоне для челяди и придворных поднялась паника. В конце концов порешили добраться до машиниста паровоза, дабы остановился на каком-либо разъезде.

Два человека, немного изъясняющихся по-русски, пошли через весь состав к переднему вагону и принялись звать машиниста. Перебраться на паровоз было невозможно. Помощник машиниста, услышав неожиданные вопли, испуганно выглянул из паровоза. Он решил, что какой-нибудь раззява слуга или мулла, совершающий омовение, свалился на рельсы. Начались расспросы.

— Чего надо?

— На следующем разъезде остановились бы ненадолго.

— Зачем это?

— Мы позвоним в Хаваст по телефону.

— О чем?

— Чтобы приготовили чашку сливок для светлейшего эмира.

Помощник машиниста рассвирепел:

— Идите к черту с вашим эмиром!

Паровоз все бежал. Вот и он, словно помощник машиниста, исторг из глубины сердца крик, подал сигнальный гудок. Следовательно, близок разъезд. Движение паровоза замедлилось. Машинист было поклялся не остано-

¹ Эмир изъясняется по-таджикски (прим. перев.).

ливать паровоз... однако... ему пришлось пока умерить свою решимость.

Он чувствовал: близятся такие разъезды эпохи, когда не эмиры, ханы, хаканы будут решать — остановиться или нет, когда это будет зависеть от его, простого машиниста, волеизъявления.

Он чувствовал: на этом разъезде, где нынче приходится остановиться ради чашки сливок, остановится и поезд грядущего. И с него тоже позвонят. В Бухару протелефонят. И речь уже пойдет не о сливках. От имени трудового, униженного и оскорбленного люда, в расплату за безмерное распутство потребуют у эмира чашу крови!

Он чувствовал: в один из светлых дней грядущего будут телефонить с этого разъезда. И уже не ради улыбки похотливого рта, осененного грязной короной, а прозвонят грозный сигнал от пролетариата Севера — к трудящимся Востока.

Но на сей раз машинист — временно — был вынужден притормозить. На разъезде он остановился...

Из вагона вместе со слугами спустились двое в длинных халатах и побежали к будке стрелочника...

...Поезд прибыл в Хаваст в половине девятого утра. Как и на предыдущих станциях, в Хавасте тоже вывешен полосатый флаг. Начальник станции, городовые, агенты охранного отделения, волостные из окрестных кишлаков, имамы, — все, принарядившись, явились на сей смотр.

Начальник станции взял в руки поднос, поставил на блюдо с хлебом-солью мисочку отменно густых сливок и с поклоном подошел к двери вагона, несущего надписи «Ля иляхи...» Однако эмир еще почивал и не ведал о прибытии на станцию. К встречающим вышли придворные чиновники и челядь. Приняли сливки. Поезд, недолго постояв, тронулся.

Когда эмир поднялся с постели и наступила пора чая, сливки были наготове. Однако эмир утратил аппетит и на сливки даже не взглянул.

— Мо каймоқ намехурем (Мы не хотим есть сливок), — бросил он коротко, тем самым сведя на нет все труды прислуги.

Поезд несся скорей и скорей. Сегодня к трем часам он должен прибыть на ташкентский вокзал. Эмир пожелал провести там ночь, повидаться с генерал-губернатором Туркестанского края и ташкентской знатью.

Ташкентцы, в свою очередь, с нетерпением ожидали его...

II

Большое андижанское медресе.

Короткие дни поздней осени. Предзакатное солнце бросает последние бессильные взгляды, оповещая о близости сумерек. В небесах, печально отороченных багрянцем, неподвижно стынут клочковатые облака.

На вершине минарета, отбрасывающего тень вдвое длиннее себя, старик-суфи — с лицом, иссеченным преданьями старины, с поясницей, преломленной тяготами жизни, с подслеповатыми глазами — дожидается захода солнца и прочищает горло, готовясь прокричать азан.

Во дворе медресе, занятые всяк своим, спуют табунки учащихся — в плотно намотанных чалмах из белой кисеи и полотняных халатах-яктаках. Иные — на срединной суффе — просто ожидают намаза, иные возле своих келий готовят ужин, иные, кинув на плечо платок для вытирания, заняты омовением из хауза под вязом.

Это — «светочи знаний» будущих времен. Ожидается, что в будущем они станут знатоками мусульманского права, муфтиями, хранителями шариата, преподавателями духовных школ.

Многие, кто, взыскуя знаний, приходил из различных городов Туркестана и прозябал десяток лет в медресе, становились в конце концов имамами в мечети какой-либо подходящей махалли. Все эти ученики разных возрастов, что трудятся в поте лица и не решаются вскинуть голову в тиши, думают обрести честь и достоинство «на сем и на том» свете. Все они думают стать неким сильным «предводителем» для «простого» люда.

Жизнь, кипящая счастьем и богатством, — остается для них мечтой.

Лишь осенний ветер заносчив. Он безумец. Он живет настоящим моментом. Его счастье — это осыпавшаяся желтая листва плакучих ив, тополей и платанов. Он принимает палый лист за золотые монеты. Он катает их, играя. Сгребает то в один, то в другой угол медресе, пытается припрятать. Никому не доверяет. Вновь и вновь взметаёт, раскружив, весь мусор во дворе. А на портале медресе разгуливает, воркуя, стайка горлинок. Они постоянно живут здесь над головами людей, всего-то им нужно горстку дарового зерна из заготовленных припасов.

Спросите у них самих.

Когда бы горлинки обрели речь, они бы сказали: «Мы

поем бескорыстно для людей, мы им доставляем удовольствие своим пеннем».

Суфи, возгласив азан рыдающим, безысходным, как остаток своей жизни, голосом, призвал к тишине присутствующих в медресе. Протяжная эта мелодия тяжелой грустью вливалась в сердца слушающих.

С окончанием азана люди по одному, по двое потянулись в молельню, разместились рядами.

Несколько раз простерлись ниц, преклонили колени, сели. Вставши, отвесили поклон. Была прочтена фатыха. Один из пареньков старушечьим печальным голоском возгласил нараспев тексты из корана. Вновь прочли фатыху. Вслед за фатыхой мулла-наставник призвал вновь воздеть руки — для молитвы-благопожелания. Было испрошено у всевышнего исцеленье для некоего богатея, долгое время страждущего пеллагрой, — и напоследок имам, поднявшись к алтарю, начал хутбу — пятничную проповедь.

По завершении хутбы он обратился с речью к воспитанникам, заполнявшим молельню:

— Чада мои, дети народа моего!

В божьем слове сказано, что цари есть тень божья на земле. Любое предписание царя есть закон. Хотя наш светлейший царь и является иноверцем, наша обязанность — верой и правдой служить его величеству, жить в мире и покое, сохраняя порядок, и во время каждого из пяти ежедневных намазов творить молитву о здравии его высочайшей особы.

Достаток всякого человека — от всевышнего. Посему следует уважать людей состоятельных и, поскольку от них вкушаем хлеб-соль, надлежит воздавать им за это по правилу: кланяться сорок дней тому, чьим хлебом питался хотя бы день; надлежит неуклонно следовать приказам их и повелениям, чтобы удовлетворить первоначально — бога, во-вторых — царское величество, в-третьих — наставников, подобных нам.

Очень правильно сказано вероучителями: как из маша не получится плов, так не будет правителем куча рабов. Вам хорошо и премного известно, как в кишлаке Мингтепа объявился некий вор и нечестивец и стал притязать на звание ишана. Собрав вокруг себя толпу босоногих приверженцев, соблазняя их чужеземной ересью и творя бесовские наваждения, которые нарек чудом, он поднял мятеж. И был изболжен прозорливым оком белого царя. Каковы же были последствия, дети мои? И то ска-

зять, он, господин белый царь, пощадил своих подданных. Ведь было в полной его власти и в доброй его воле открыть огонь из пушек по всей Ферганской юдоли, всех нас поголовно стереть с лица земли. Однако их величество не поддастся необузданному гневу, удовлетворяясь одним лишь кишлаком Мингтепа, разгромленным из пушек, и несколькими сотнями невымытых рож, преданных истреблению.

Скажите-ка, чада мои, разве же это не милосердие к таким подданным, как мы? И еще следует быть благодарными за то, что охранительным заслоном над нами предстали несколько сердобольных богачей, хлопкопромышленников и заводчиков. Это их прощеньями мы остались невредимы.

А посему — не забудемте же ни на мгновение о добродетельной службе им и господину белому царю.

Вы, чада мои, станете поводырями народа, обратитесь же и вы с увещанием к сей грешной черни, дабы исполнился ваш долг. Омин...— сказал имам и закончил речь длинным-предлинным благословением. Воспитанники неторопливо потянулись из молельни и разошлись по кельям.

Эта речь приходится на второй месяц мятежа Дукчи-ишана, поднятого против правительства Николая, и была произнесена после того, как карательные отряды царя восстановили «порядок» среди народа.

Мятеж Дукчи-ишана не опирался ни на какую революционную идею. Он представлял собой чисто религиозное выступление. Но и при том царская Россия и местная знать были весьма напуганы им. В результате он был раздавлен, как муха, попавшая меж лап самодержавной России и когтей местной знати.

Оставив подлинную оценку миновавших событий нашим историкам, приводим здесь сатирическое стихотворение поэта-демократа Завки, посвященное мятежу Дукчи-ишана.

Сатира Завки на ишана Игчи

Людей напрасно всполошив,
принес ты много бед, ишан.
Но благо — самого тебя
беда свела на нет, ишан.

Невежеством рожденный бес,
на плаху ты людей повел,

Ты остерегся бы сего,
коль знал ученья свет, ишан.

Кто правом наделил тебя —
на благочестье прптязать.
Коль даже шарпат тебе
неведом как завет, ишан?

Ты сверхъестественным путем
варил похлебку без огня
И пестроту «чудес» творил —
одну другой вослед, ишан.

И вспоминает, как кошмар,
твои тенета Фергана:
Здесь каждому принес урон
ты в тысячу монет, ишан.

Ты свару круто заварил,
народу расхлебать пришлось,
Ты рвал плоды, садовник вновь
за все держал ответ, ишан.

Тщеславьем вызванный удар
не одного тебя сразил.
Ты породил чуму окрест,
как довершенье бед, ишан.

Погапой сущностью своей
навлек удар на Мингтена,
И там от тысячи дворов —
лишь непелища след, ишан.

Убито сколько, пленено.
Царя кровавый приговор
На совести твоей лежит,
как подлеца навет, ишан.

Не излови Кадыркули
и не повесь тебя, — сейчас
Себя ровнял бы ты с Махди,
приняв святой обет, ишан.

Ты ради чуда вздул пожар,
поставив ереси очаг.

Меж иноверцами — и то
не много сих примет, ишан.

От нечестивых дел твоих
в руинах Мингтепа лежит,
Потоки дыма, что ни шаг,
пятнают белый свет, ишан.

Попав из собственной пращи
себе и в голову, и в зад,
Ты умер, смерть другим неся,
нечистый, как запрет, ишан.

И воздаяние приняв
за смерть, побойща и кровь,
Спеши-ка в ад, и там гори
до окончанья лет, ишан.

В стяжательстве непревзойден,
гнилой снаружи и внутри,
Вороной пестрой ты клевал
гниющий свой обед, ишан.

Коль станет кто о Фергане,
о беспорядках вопрошать,
Завки ответит, что гнусней,
чем ты, в преданьях нет, ишан.

Это стихотворение поэта Убайдуллы Завки принадлежит к числу хороших стихов того времени, посвященных известным беспорядкам, вызванным неуместными потугами религиозного фанатизма.

Поэт в те годы был еще молод, да, пожалуй, и поэтическое мастерство его было недостаточным, чтобы проанализировать этот «натиск и газават».

Сильное воздействие на преобладающие настроения молодого поэта Завки произвели несчастья, обрушившиеся на народ Ферганы после событий, связанных с Дукчи-ишаном, расстрел из пушек — прямой наводкой — кишлака Мингтепа и прилежащих кишлаков, разрушение всех домов и подворий в этих селеньях, истребление тьмы народа, угон на виселицу ни в чем не повинных людей, обвиненных в приверженности ишану; скитанья из кишлака в кишлак в поисках крова и пропитания сирот, оставшихся без родителей; а сверх того — возложенные царской ад-

министрацией на плечи народа непосильно тяжкие военные налоги. Ведь в эти годы Завки был всего-навсего бедным ремесленником, шьющим детские ичиги.

В стихотворении весь гнев, накопивший в сердце униженного народа, Завки совершенно справедливо обрушивает на зачинщика «священной войны» невежественного, бездарного, фанатичного и вероломного Дукчи-ишана.

Достоин внимания, что и многие другие прогрессивные поэты-демократы того времени придерживались отрицательного мнения о Дукчи-ишане. Например, Мукими в своем известном сатирическом стихотворении «Негодяй» говорит:

Хоть пополам его разрежь —
ума ни капли не найдешь,
Но скажут, глядя на чалму:
«Большой ученый, негодяй».
Похитивши, с овечьих туш
он обдирает курдюки,
И отправляет в Мингтепа
весь жир копченый, негодяй.
Звать негодяем нелегко
иного изо всех живых,
Меж негодяев он один —
непревзойденный негодяй.

Между тем, эта сатира Мукими, являющаяся правдивой характеристикой ишана, была создана за много лет до беспорядков. Кроме этих двух поэтов высмеивали ишана во множестве стихов — Мухайир, Нисбати, Улфат и другие. Однако целостностью в показе исторических событий сатира Завки возвышается над иными.

Среди преданных виселице находился и батрак хлопкопромышленника — бая Умурзака из кишлака Мингтепа — правоверный Маманияз. Наряду с другими и его хижину поглотили жерла пушек, немногий скарб был разграблен, семья — разорена и выброшена на улицу.

Не находя пристанища, люди странствовали из города в город, кто в арбе, кто пешком, странствовали, не видя цели и обетованного места.

Толпа беженцев на дороге Коканд — Андижан при-

хватила с собой отбившуюся от семьи сиротку — верблюжонок, отставшего от каравана, ягненка, потерявшего отару.

Это была десятилетняя дочь Маманияза-ака — Нетай, его любимица с капитановыми косичками, его черноокий жеребенок.

Беженцы вступили в Коканд. Решив, что в такую тяжкую годину, когда свои-то дети в тягость, кормить ради благостыни сироту — не благо, они бросили Нетай на произвол судьбы в незнакомом городе, предоставив ей идти, обливаясь кровавыми слезами, в объятия кровавых сумерек.

Коканд был городом оживленным и кичливым.

Почитай, все толстосумы Туркестана открыли здесь свои отделения; торговыми рядами вытянулись большие магазины; банки, номера, хлопкоочистительные заводы; баи, приказчики, маклеры, — все так и норовят поглотить бедного человека.

Коканд — это золотая пучина, где плавают корабли конкуренции. Суденышки помельче здесь погибают, втянутые в водоворот. Волны его — лижут берега, подмывают жилища, засасывают окружающих, и те захлебываются, барахтаясь. Они становятся добычей круговерти, чтобы другие могли сесть и закинуть удочку в глубь бездны.

В этот водоворот и угодила Нетай. Пред неохватной воронкой она была беспомощна, как одинокий желтый листик. Она барахталась, раскинув обессиленные руки.

Нетай долго бродила в растерянности и протянула свою детскую ладошку, обращаясь к милости «щедрых», к их состраданью.

— Проказница, — сказали байские сынки.

Подмигнули друг другу.

— Еще зеленовата, — сказали байские сынки.

— Бог подаст, — сказали баи, повидавшие жизнь.

Не зная, куда идти и куда приткнуться, Нетай пробродила до позднего вечера. Не в теплых материнских объятиях, не на жесткой, но милосердной подстилке бедного отцовского дома, даже не у людей с каменным сердцем, а на камнях торговой столицы дьявольски бессердечных туркестанских баев, в самом средоточии этой столицы — на кирпичном мосту, в уголочке, свободном от прохожих, она смежила усталые глаза. Обнявши маленькие ноги, разбитые долгим хождением, она забылась безгрешным сном.

Она пребывала где-то между страхом и надеждой, между сном и явью, между прозреньем и отупеньем.

Утром ее разбудили словами непонятного языка. Она очнулась не там, где заночевала вчера, а в каком-то другом месте. Разбудила ее, поглаживая и похлопывая, русоволосая женщина. Почему ласкала — непонятно. Взяв за руку, повела в уголок тесной каморки и умыла из жестяного умывальника, который был прибит к стене и носик у которого торчал снизу. После чего, придвинув стул для Нетай к высокому столу, подала в стакане чай с молоком и, хотя и черный, но вкусный хлеб. «Ашай, ашай, кизимка, хорошая кизимка, моя кизимка...» — говорила женщина. Нетай ощущала, как от нее веет лаской и чем-то материнским, только не совсем понимала ее. Однако эта русоволосая женщина не была матерью Нетай, а лишь старалась утешить как мать.

Нетай глядела, глядела на новообретенную маму и залилась горькими слезами. Тотчас же седобородый человек, который давеча сидел по ту сторону стола и поглядывал с жалостливой улыбкой на Нетай, делая знаки руками, мол, «ешь, ешь», вскочил с места, и вдвоем с русоволосой женщиной они захолопотали вокруг Нетай, успокаивая ее, подсовывая то кусочек сахара, то карамельку в бумажке с кисточками.

После чая мужчина поднялся из-за стола, натянул свои грубые сапоги, накинул на плечи короткую тужурку, пропитанную черным-пречерным мазутом, нахлобучил на голову сильно изношенную шляпу и, вынув из кармана синий мешочек, что-то отсыпал и завернул в бумажку, сунул в рот, пыхнул дымом. И тогда Нетай поразило, что на правой руке этого человека — всего три пальца. Сунув руку под стол, сосчитала свои пальцы. У нее-то, у Нетай, было пять, почему же у этого человека — только три?

К тому же, не хватало большого и указательного пальцев. Долго возился человек, сворачивая закрутку. Нетай стало его жалко. Подойти да свернуть, подумала было она, но побоялась, что заругает. Седобородый, все еще стоя в комнате, говорил о чем-то женщине с русыми волосами, показал на Нетай. После этого он ушел.

Русоволосая заговаривала с Нетай, поглаживая ее по косичкам. Нетай тоже, с некоторым доверием, начала посмеиваться и иногда задавала женщине вопросы на своем языке, указывая на то или другое. Они закончили чаепитие. Женщина стала убирать со стола. Нетай, словно бы помогая, потащила следом стаканы и жестяной чайник.

Затем женщина развела огонь в высокой кирпичной плите и стала согреть воду. Когда вода сделалась горячей, она принесла железное корыто и раздела Нетай. Сначала Нетай застеснялась было, но женщина настояла на своем, искупала ее. Вымыла очень чисто, натирая мылом, затем подхватила из корыта, вытерла и, завернув Нетай в кусок холстины, усадила ее. Потом расчесала ей волосы и, взявши ножницы, подрезала косички. Тут Нетай снова заревела от обиды. «Бедные косички!..» — теперь друзья в кипляке будут звать Нетай плешивой девчонкой, мать увидит — заругает, — бедные косички... Русоволосая женщина снова что-то говорила ей, ласкала, продолжая свои хлопоты. Но стоило Нетай вспомнить о косичках, ее «горе» обретало новую силу. Наконец, женщина покончила с купаньем и стрижкой, уложила Нетай на кровать и покрыла ватным одеялом. Нетай повсхлипывала, повсхлипывала — и заснула... На сей-то раз сон ее был настоящим отдыхом.

Это была семья Семена — рабочего с кокадского хлопкоочистительного завода Гани-байбачи.

На заводе Гани-байбачи Семен работал машинистом «джина» — с месячным окладом в двадцать семь рублей. Женат он был лет двадцать пять, рождалось у них за это время двое детей — да померли, и муж с женой жили бедно и скудно. Заработок их с трудом покрывал ежедневные расходы. Как-то жена Семена тоже напаялась на сезон для починки мешков на заводе, но свалившаяся кипа хлопка повредила ей ногу, и с тех пор вся тяжесть заработков легла на плечи Семена.

Ежедневно Семен как уходил на работу в семь утра, так возвращался домой около часа ночи. Проходя в ту, памятную ночь, мимо западной оконечности кирпичного моста, он услышал какие-то шорохи. Пригляделся внимательней — что-то темнеет в уголке. Не спуская глаз с этой тени, скрутил махорку. Чиркнул спичкой и, освещивая ею, направился к тени, пригнулся.

Ребенок!

Зажег еще одну спичку, всмотрелся в лицо.

Маленькая девочка!

Попробовал потормозить — не проснулась.

Семен надолго задумался — что бы могло привести сюда ребенка, особенно малолетнюю девочку? Ему представилось: покуда эта крошка, не находя приюта, голодная и холодная, валяется здесь, там, в гостиных богачей, звучат пиршественные песни, в развратном воздухе роскошных ресторанов звенит золото, рассыпается кокетливый

смех расфранченных красоток,— и его передернуло, словно вздохнул глиловатый душок из цветника молодых кутил. Семен смотрел на девочку с состраданьем, смотрел даже с нежностью. В Семене просыпались несказанно сладостные отцовские чувства, которыми он оделял своих детей, пока те были живы, и которые увяли со смертью детей и стали постепенно забываться. Подлинно отцовские чувства к Нетай охватили его целиком. Он осторожно поднял девочку — и понес домой.

Жена его поначалу была раздосадована тем, что муж среди ночи явился с неожиданным «дорогим гостем». Корила лишним грузом для семейного бюджета. Пыталась втолковать мужу, что девочка — мусульманка, и потому все едино, подросши, не станет как своя. Лишь твердость Семена в своих убеждениях смогла утихомирить жену. Дело не в русских, мусульманах, а надо суметь ее воспитать. «Всяк жеребенок свой родничок хвалит, сумеем воспитать — почище своей вырастет»,— тем и убедил жену. И жена его («русоволосая женщина») с того момента взглянула на Нетай чисто по-матерински и облекла ее своей заботой.

Беспризорная Нетай с того дня, как приняла первый стакан чаю из рук новообретенной матери, стала Наташей — членом новой любящей семьи. Семен начал воспитывать Наташу как свою дочь. Нетай тоже в скором времени привыкла к обычаям и привычкам новых родителей, прежние языковые недоразумения постепенно исчезали и утверждалось полное согласие. Ее молодой и гибкий, как прутик, разум быстро вбирал в себя все новое. Не прошло и девяти месяцев, как Нетай начала довольно сносно говорить по-русски. Папа Семен отвел ее в русско-туземную школу и записал как Наташу Семенову. Так, воспитываясь в школе и дома, она подрастала.

Четырежды успели созреть дыни, четырежды поля, поглотив хлопковые семечки, вернули их хлопковым цветком. И на заводе Гани-байбачи четырежды припимали хлопок, и четыре напряженных сезона отработали машины. Капиталы Гани-байбачи четырежды приносили (за редким исключением) все более высокие прибыли.

В свою очередь Нетай, в четвертый раз — считая с последними — сдавши экзамены, окончила начальную школу и превратилась в совершенно русскую девочку.

Миновало еще более года. За неполных шесть лет, прошедших с того дня, как Нетай очутилась в новой семье, и Семен, и ее мать заметно состарились. Особенно

подался Семен, который уже не мог ослабевшим зрением уследить за мелкими деталями станка и однажды уже был оштрафован на сорок три рубля за сломанный гребень и, со дня на день слабея, теряя нажитую у хозяев славу умельца, он тревожился, что его не сегодня — завтра прогонят с завода.

Однажды вечером весовщик завода решил задать пир по случаю рождения ребенка. Наряду с гостями был приглашен и старый Семен, с тем, чтобы похлопотал по хозяйству. Помощь его впрямь пригодилась на столь большом торжестве. В награду и ему досталось угощение. Вместе с кучером Гани-байбачи и его джигитом — телохранителем Палваном — приземистым крепышом с открытой грудью, на каждом плече которого могло бы усесться по человеку, — устроились втроем в чистом углу конюшни — ели, пили, распалили головы... Рассказывали были и небылицы, подвернулась к слову история Дукчи-ишана, и каждый поведал о «диковинках», которые видел. Все, что говорилось, кучер перетолмачивал то на русский, то на узбекский, с грехом пополам растолковывая суть либо Семену, либо Палвану. Семен, разгоряченный угощением и в простоте сердечной, выложил также историю своей дочери Наташи...

Палван, однако, не слишком вникал в разглагольствования Семена и лишь время от времени взглядывал на кучера.

— Коль сам не объяснишься с этим негодником, моя не понимай, ха-ха-ха, — посмеивался он. Когда же Семен закончил рассказ о дочери, он оживился, уселся поудобней и приступил к кучеру:

— Втолкуй ему, эй, растяпа, скажи, Палван, мол, скоро в Ташкент едет, а когда вернется, мол, снова посидим вот так же. Палван, скажи, едет в Ташкент бороться с Ахмед-палваном. Скажи, растяпа, если бог, мол, пошлет удачу, большое угощение задам. Ну-ка, растяпа, попробуй-ка, переведи своему бабаю...

Спустя три месяца после торжества, однажды утром кто-то постучался в двери Семена. Отворил. Посетитель оказался долговязым детиной с тощим лицом, острым носом, глубоко посаженными глазами, одетый в расшитые сапоги и несколько слоев бекасамовых халатов, перепоюсанных поверх двумя-тремя шелковыми платками.

Он заговорил с Семеном на ломаном русском языке. И стала проясняться цель его посещения. Он-де приехал из Ташкента, он-де несколько лет разыскивает Нетай, ко-

торая приходится ему племянницей. После долгих разъездов и расспросов он-де здесь напал на след своей племянницы и теперь намерен увезти ее с собой.

Семен поначалу не придавал значения этой болтовне, выгнал посетителя вон и даже не поставил в известность о случившемся ни жену, ни Нетай. Однако три дня спустя ему доставили повестку с вызовом к мусульманскому судье — казнию.

Если через кокандский кирпичный мост вы направляетесь в старый город, то по правую руку повстречаете ворота величественного медресе. В левой, обрушенной части портала этого медресе развесил свои тенета старый паук, и вялые по холодку мухи становятся его добычей.

Пыль, вздымаемая копытами караванных коней и ослов, покрыла тенета, уподобив их мешковине.

Весенние ветры вихрем врываются в главный вход медресе и ударяют двумя створками двери из абрикосового дерева о гранитный порог. Словно хотят расколоть их, как орех. Дверь жалобно стонет и скрипит. Ветер снова бесится и, влетев во двор медресе, носится кругом, щелкая в окна сорока сороков келий. Возвращается вспять и тщится протиснуться на улицу. По пути натывается на паутину. Рвет ее нити. С легкостью сбрасывает на землю замшелые кирпичи. И вновь неуклонно несется вперед по улице, пыля черной землей, перемешанной с песком.

На портале, пониже паучьих тенет, прибит кусок старой жести (видимо, бывший поднос), по которому пущена надпись «Казыхана» — «Судилище».

Войдя именно в эту дверь, Семен был принят сначала секретарями суда и лишь потом, прождавши три часа, смог попасть в комнату самого казния. Семена встретил старик с болезненным лицом, возле которого, опередив Семена, уже восседал с рассеянным видом человек, назвавшийся дядей Нетай. Старик указал Семену место, и он сел. Пригласили толмача и начали объяснять дело. Итак: ему вменяется в вину — сокрытие по сию пору мусульманской девочки, крещение ее, оскорбление мусульман именем Наташа, данным девочке, о чем в совокупности сообщено дядей девочки в жалобе, поданной генерал-губернатору Туркестана. Генерал-губернатор же, припав во внимание посредничество весьма уважаемых в Ташкенте людей, повелел ускорить разбирательство этой жалобы, с тем, чтобы устранить причины, мешающие покою мусульман и отправлению их правоверных обрядов, а Семена Антоновича, хотя тот и является русским, подвер-

гнуть примерному наказанию. Свою светлейшую волю он объявил личному адъютанту. Во исполнение сановного приказа, адъютант прислал городскому казию Коканда и начальнику приставов письменное предписание, чтобы тот Семен, где бы он ни находился, был сыскал, и девочка, обретающаяся при нем, в каком бы состоянии ни находилась, была силой возвращена законному дяде Самаду сыну Асадову, а дабы предотвратить возможность побега девочки, повторно указал на строгость повеленья.

Несколькими вопросами Семен пытался возразить генерал-губернаторскому приказу, полученному кокандским казем и приставами, однако казий и слушать его не стал, а подал знак городовым, и трое из них, подхватив Семена под руки, направились к нему домой. Не прошло и часа, как привели Нетай — несчастную девочку, совершенно оглушенную пещданной бедой, с глазами, полными слез и страха. Сколько ни цеплялись за нее Семен с женой, положив все силы на защиту дочери, они были отторгнуты городовыми, и им пригрозили тюрьмой в случае продолжения буйства.

Как только Нетай вошла в судейскую комнату, дядя поднялся с места и поздоровался. Прослезясь, начал прсрывать показное внимание, поспешно снял с себя шелковый халат и пакинул на «племянницу», чтобы скрыть ее от нескромных глаз. Теперь в судейской комнате они остались втроем: укрытая халатом и неутошно плачущая Нетай, глядящий победителем Самад и казий, вознесшийся до небес, исполняя светлейшую волю генерал-губернатора. Сначала казий обратился к Нетай с правоученьем. Когда слезы ее унялись, принялся пугать и угрожать. Затем прочел «слово покаяния», то есть произнес те выражения, которыми иноверца обращают в мусульманство, и стал настаивать, чтобы Нетай повторила их. Нетай долго упиралась, но давление было слишком сильным и, ворочая непослушным языком, она выполнила, что от нее хотели. Казий приободрил Нетай и напоследок, вновь сославшись на приказ генерал-губернатора, призвал дядю наставить Нетай «словом послушания» и намазу, научить правильно поститься и сегодня же надеть паранджу. «Дядя» протянул казию пошлину (словно мзду за услуги) — и они вышли...

Что сталося далее с Семеном — не знаем, лишь ходили слухи по всему Коканду, что он изгнан с завода как «осквернитель веры и похититель девочки». А Наташа была упрятана в паранджу и предоставлена совершенно

неизвестному ей «дяде». Необученная ходить в парандже, непривычная к ее гнету, Нетай проливала чистые жемчужины слез и, взирая сквозь мелкую сеть новой своей клетки, прощалась с шумными улицами Коканда: вдвоем с «дядей» она шла на вокзал.

Нетай еще в Коканде решила, что «дядя» ее — человек весьма состоятельный. Нанимать извозчика даже на пять шагов, покупать без меры фрукты и сладости, брать билеты в плацкартный вагон, — не богачу ли только пристало? А теперь вот — ташкентский вокзал. Похоже, что «дядя» и здесь — человек известный. Иначе — отчего бы слышалось со всех сторон: «Самад, иди сюда!» Даже не сговариваясь о цене, подрядили извозчика. Знал ли кучер, где находится «дом дяди», но он тоже не справился — куда ехать. Прошло около получаса, и парная пролетка, в которой ехала Нетай, остановилась возле внушительного здания. «Неужто — дядин дом? Нет!» Будь это дядиным домом, к чему была бы золотая надпись вверху: ресторан «Лондон»?

Быть может, дядя проживает в номерах? Пытаясь справиться с этими противоречивыми мыслями, Нетай и не заметила, как следом за «дядей» миновала десяток ступеней и очутилась внутри здания. «Дядя» подошел к дородной женщине, дежурившей возле нумерованной доски, где на гвоздиках висело множество ключей. Женщина взглянула на них с улыбкой и выдала ключ с 16-м номером. «Дядя» снова возглавил шествие. Отперев одну из комнат, вошел. Освободил руки, положив в сторонку принесенные узелки. Комната была убрана мебелью, кроватями, различными безделушками. Нетай настороженно приглядывалась к малейшим подробностям. Внимательно рассматривала комнату, становившуюся первым прибежищем ее новой — третьей жизни.

«Дядя» улыбчиво взглянул на Нетай:

— Ну, что ж, сестра, вот вы и дома. Отныне здесь будете проживать.

Нетай вопросительно взглянула в глаза «дяди». Но спросить: «А вы?» — не успела. «Дядя» уже направлялся к двери.

— Обо всем поговорим после. Я сейчас вернусь, племянница, — сказал он и исчез.

Миновало четверть часа. Распахнулась дверь. Вернулся «дядя», приведя тучного мужчину лет сорока, безбородого, усатого, со сросшимися бровями, и еще какую-то старуху.

Старуха рассмеялась, кривя щербатый рот, в котором торчали крашенные черным лаком зубы, и заговорила, взглядывая то на «дядю», то на хозяина:

— Да в ней — магазин прелестей! Лицо — яблочко румяное, стан — как у ласки, брови — ласточкины крылья, первый сорт! — заключила она. — Иди к своей пянюшке, иди, радость моя! — добавила она, здороваясь и обнимая Нетай.

Хозяин — одна рука — в кармане брюк, другая — на кончике уса, который он покусывал зубами, — глянул на «дядю», мигнул левым глазом, и они вышли вдвоем из комнаты, оставив старуху возле Нетай.

Старуха принялась — то хвастливо, то завистливо — рассказывать о вещах, которые и во сне не снились Нетай, — о каких-то богачах и байбачах, о пудре и духах — дюжинами, о золоте, о дутарах и тамбурах, — и в конце похлопала Нетай по плечу:

— В предстоящие денечки роскошные — не забудь о пянюшке своей, милая Нетайхон. — Далее она намекала, что надеется на долю с каких-то «райских» благ.

Нетай не задавала ей вопросов и сама не отвечала ни на один вопрос. У нее потемнело в глазах, точно она находилась на краю бездонной пропасти или в окровавленных лапах могучего льва. Между тем протекло еще несколько часов. «Дядя» все не появлялся. Нетай сердито взглянула на беспрестанно тараторившую «нянюшку» и спросила:

— Где мой дядя?

Старуха вновь рассмеялась и, развязно откинув прядь каштановых волос, рассыпавшуюся по лбу Нетай, произнесла:

— Эх, простота ты моя, Нетайхон! Будь жива-здоровая, а дядьев и зятьев в этой обители — завались. Все зависит от приманчивости твоей, от умения склонить гостей к себе.

Постепенно Нетай начинала понимать настоящее свое положение, и первые безутешные слезы покатались из ее горестных глаз на желтый крашенный пол...

На другой день после того, как Нетай расположилась в новой обители, состоялось торжественное прибытие на ташкентский вокзал правителя «великодержавной» Бухары, «светлейшего султана», повелителя правоверных, «шах-ин-шаха мусульман» — эмира Саида Алимхана, заступника веры.

Эмир, в сопровождении толпы придворных, военачальников и военных советников, вышел из вагона с надписью

«Ля иляхи...» в пределы ташкентского вокзала и ступил на шелковую дорожку, расстеленную туркестанской знатью и генералитетом. Встречать его хлебом-солью вышла вся городская верхушка и духовенство, кто в мундире с позументами, кто с золотой медалью почетного гражданина, вышли все — вплоть до «величальной команды» муллы Шашкала; тут же находились — губернатор, полицмейстер, небольшое число русских купцов и части казачьих войск.

На станции был совершен весь положенный церемониал, каждый из приветствующих, соблюдая очередность по сану, произнес слово во здравие эмира Алима. Когда эмир, неторопливо и величаво пройдя по платформе, пересек помещение вокзала и приблизился к выходу в город, — первый его шаг был встречен орудийным салютом из крепости Тупраккурган.

Эмир и придворные начали рассаживаться в ожидавшие их коляски. Первыми тронулись офицеры и командующий парадом, следом — музыка, эскорт губернатора, сам губернатор, эмир, влиятельные лица вроде Саидрахима и Валиходжа-ишана с приданной охраной, а уже позади них — остальные, глядя по чину и званию. Торжественная процессия медленно продвигалась по направлению к Пьян-базару.

Судя по слухам, которые передавались в народе из уст в уста, эмир сегодня — гость князя Саидрахима, и Саидрахим устраивает свой прием в ресторане «Лондон»...

Пишущий эти строки не имел чести присутствовать на указанном приеме и лишь понаслышке излагает события. Говорят, Саидрахим, в виде достойного подарка своему эмиру, предложил ему Нетай. Говорят, за это он заплатил две тысячи рублей хозяину номеров Каракозу. Говорят, в благодарность за столь «всеобъемлющее» гостеприимство, эмир предоставил на откуп приближенному все производство каракуля в Бухаре и в подтверждение сего украсил грудь Саидрахима своей золотой медалью...

* * *

В этот день поздней весны сравнялось два года с тех пор, как по дороге в Петербург эмир переночевал в Ташкенте. Улица Пойкавак остается по-прежнему оживленной. Она продолжает свою бесполезную и беззаботную деятельность. Ей не пристали ни благонравие, ни чинность; напротив, здесь всецело царствуют распутный гогот,

охальные песни, бесстыдные зовы и пьяные вопли, а сама улица источает какой-то сладковатый и приторный аромат.

Арык, что пересекает Пойкавак и вливается в Салар, тоже продолжает катить свои воды, время от времени наливающиеся краснотой — то ли от стыда за ежевечерние безобразия, то ли от особенных жестокостей и зверств минувшей ночи.

Именно в этот день, когда время близилось к закату, коляска князя Саидрахима, запряженная парой буланых рысаков, медленно проезжала мимо подъезда гостиницы «Лондон». Изнутри, сквозь шум хмельных похвал, пробивался женский голос, который с рыдающим надрывом вел грустную песню на мотив ферганских «ялла». Из нее Саидрахим уловил следующее:

Не вынесу обиды боль
и злоключенья, горе мне!
Увяну в шествии весны,
не зная цветенья, горе мне!
Фиалка тонкий стебелек
вздывает нынче вечером,
А я растоптана судьбой
без сожаленья, горе мне!
Пусть острия моих ресниц
не ранят сердца вашего:
Сама бы целовала нож,
ища забвенья, горе мне!
Кому не лень тот кипарис
сгибает в три погибели,
И что ни день, то новый «друг»
ждет упоенья, горе мне!
Сыта по горло и пьяна,
любовница пресыщенных,
Под каждым пальцем я звеню
струной мученья, горе мне!

Саидрахим самодовольно усмехнулся и промолвил про себя:

— Пообвыкла дикарка. А ведь едва не опозорила перед особой эмира. — Опустив глаза, он кинул быстрый взгляд себе на грудь. Там, в одном ряду с медалями, полученными Саидрахимом за различные услуги белому царю, заняла свое — седьмое — место золотая медаль с надписью «Ля иляхи», дарованная эмиром Алимханом.

ДНЕВНИК ЛЕНТЯЯ

Не все же славить ударников, и примелькаться может. Время от времени не мешает напомнить и о лодырях. Вот я и надумал на этот раз рассказать историю одного лентяя.

И до меня, конечно, были люди, сочинявшие интересные рассказы о лентяях. К примеру, есть такая книга — «Алиф лайла ва лайлата». У нас она называется «Тысяча и одна ночь». Человек, готовивший эту книгу, наряду с изрядным числом фантастических и занимательнейших народных рассказов включил в нее и повесть об одном ленивом юноше по имени Абу-танбал.

«...Итак, в городе Багдаде жил при матери некий ленивый юноша по имени Абу-танбал. Он ленился даже глотать жевки, какие мать совала ему в рот, из того, что добывала на пропитание. Он постоянно лежал на боку и не выказывал ни малейшего желания встать. Если же его поднимали, подхватив под мышки, и ставили на ноги, у него не хватало смелости сделать хотя бы шаг. А когда удавалось принудить его к тому, то ноги у него заплетались, и он падал...»

Короче: сочинитель из «Тысячи и одной ночи» не пожалел для бедняги Абу-танбала ни порицаний, ни хулы, какие только приходили ему на язык.

Ну, а в чем уступали Абу-танбалу каляндары, что еще вчера шатались по улицам с проповедью мертвых догм гнилой религии; недоумки, пристрастившиеся ко всякого рода зелью-отраве: анаше, опию, настою из маковых головок — кукнару, получеловеки, изуродованные всякими заразными болезнями — все эти типы, порожденные старой жизнью?

Герой задуманной мною повести также являл собой один из типов, порожденных той же старой жизнью. И вот его история.

...Было ль то, не было, но под куполом небес на арбузе земли и до революции был великий город под на-

званием Андижан. А вокруг и около того города было немалое число кишлаков, подвластных ему. Кишлаков и общин было так много, что если бы каждый кишлак, каждая община вздумали бы сразу привезти по одной арбе дынь, то Чарх-фаляк, обширная базарная площадь в таком, как Андижан, великом городе, представляла бы очень занятное зрелище. А если бы каждый кишлак да привез бы по корзине инжира, то всякий, завернувший на андижанский фруктовый базар, посмаковал бы там вдоволь и получил бы истинное удовольствие.

Так вот, один из тех кишлаков назывался Яр-баш. Вода в том кишлаке была чистая-чистая, земля — тучная, воздух приятный, а руки дехкан — трудолюбивые и щедрые. Фрукты, зревшие в этих местах, были известны всему свету и, конечно, еще лучше, чем всему свету, большому баю кишлака Мир-Джалалял-куруку. К примеру, персики в этом кишлаке зрели такие крупные и такие сочные, что если нарвать их, скажем, пудов пять да сложить в корзину, то поднять ту корзину было бы не так-то просто. Такими же сочными зрели там и дыни. По словам одних, к примеру, из одной дыни, по словам других — из дынь с одного куста, выращенного из одного семечка, а по словам третьих — из всех дынь всего кишлака можно было бы сварить паток. (Суть этих преданий не совсем ясна, правда, но это уж, как говорится, не моя вина.)

Несмотря на урожайность, сочность и сладость здешних фруктов, Мир-Джалалял-курук, бай кишлака, не очень жаловал их. (Кишлачные старики, правда, уверяли, мол: «Сам-то он их любил, да не любил, когда другие лакомятся».) Впрочем, не жаловал бай фрукты потому, что доход от них мал. Именно по этой причине он всеми правдами и неправдами по дешевке стал прибираться к рукам клочки земли соседних бедных дехкан вместе со всеми их неудобьями — ямами, буграми и колдобинами — и тем день ото дня приумножал свои владения. Дехкане, лишившись земли, становились батраками у байского порога. А бай на их участках велел все плодовые деревья вырубить, выкорчевать, землю выровнять и всю засеять хлопчатником. За такую-то чрезмерную жадность да за порубку фруктовых деревьев к имени Мир-Джалалял-бая и было пристегнуто прозвище «курук», попросту «жадина».

Благодаря хлопку Мир-Джалалял-курук и вовсе разбогател. Тут вам и пар двадцать волов, и десятка полтора породистых аргамаков-лошадей, тут и рессорные арбы-коляски, и пара жен — словом, простому дехканину, не

очень сведущему в счете, уже и не счесть было байского добра-богатства.

И все эти несметные богатства работники-батраки собирали и волокли на просторный мирджалаялкуруков двор, окруженный глинобитным, в четыре наката, забором, а у двухстворчатых ворот, ведущих во двор, высоких — арба с парой сотен снопов клевера могла свободно пройти, бесшумно сторожил то добро большущий пес Алапар.

По сторонам крытого проезда у ворот были насыпаны две глиняные завалины — супы. Алапар, гремя длинной цепью, непрерывно рыскал вдоль ворот от одного угла до другого и своим свирепым видом отпугивал даже нищих: ни один из них не отваживался заглянуть не только к Мир-Джалаял-куруку, но и к его соседям. Когда выпадало несколько минут, свободных от верной службы хозяину, Алапар вскакивал на одну из завалин и укладывался отдохнуть от своих трудов. А на другой завалине в куче лохмотьев-тряпья, свернувшись клубком, уже, кажется, целую вечность неподвижно лежал герой нашей повести Мамаджан.

В ту пору мулла Мамаджан был человеком, способным в лени с одного, как говорится, клевка обратиться в бегство, а сказать проще, превзойти Абу-танбала из «Тысячи и одной ночи». Но тут я предпочитаю прервать свое повествование и привести несколько страниц из относящихся к ряду лет подневных записей самого Мамаджан-лентяя, сделанных его собственной рукой и изложенных собственными его словами.

Быть может, у вас, дорогие читатели, возникнет сомнение, мол: «Если Мамаджан был таким лептеем, то откуда у него могло появиться желание научиться грамоте, возможно ли такое?» Но и это ваше сомнение, думаю, вполне разрешится на последних страницах дневника моего героя.

Вот она, «ТЕТРАДЬ ПОДНЕВНЫХ ЗАПИСЕЙ МУЛЛЫ МАМАДЖАНА-ЛЕНТЯЯ — СЫНА МУХАММАДА-АЛИЕВА»

Страница первая

После смерти отца с пропитанием у меня стало совсем туго. Несколько дней я просто голодал. Мне было лень подняться, обломать початки с кукурузы, посеянной от-

дом на полутанаше земли, чтобы потом варить их по мере надобности. Приходили старики нашей общины, доносили меня упреками. Но мне казалось легче выслушивать их упреки, чем встать и распрямить стан.

Кукурузу по уговору из трети обломал, обмолотил и две части доставил мне сын моего дяди. Всего вышло два мешка, около девяти пудов весом. Но кто же станет варить мне похлебку из этой кукурузы? У самого у меня сердце вздрагивало, только подумаю о кухне...

Сегодня жена Каримбергена-ака по-соседски прислала мне с сыном похлебки. Тот принес, поставил чашку, положил передо мной ложку и ушел. Да возблагодарит их аллах!

И опять я не ел двадня. Опять приходили старики общины, делали внушение. Я оправдывался, мол, боюсь работы, плакался. Особенно назойливым оказался один старик. Ну прямо извел своими приставапиями. Под конец начал злиться:

— Да встань же ты, мерзавец, лодырь!— говорит.— Может, у тебя поясница вывихнута, так мы покажем тебя какому-нибудь лекарю-костоправу, добудем какие понадобятся лекарства-бальзамы!..

В тот же день вечером пришли двое джигитов нашей общины, уложили меня на носилки и принесли в кишлачную чайхану. Сюда же были доставлены и оба мешка моей кукурузы. Это значит, чайханщик за кукурузу согласился взять на себя заботы обо мне на какое-то время.

Чайханщик стал подкармливать меня тем, что оставалось от гостей: кусками-огрызками лепешек, а иногда оскребками пригорелого плова. Я протягивал руку из-под халата, брошенного на меня наискось, и вкушал от этих яств, не вставая с места. В пасмешку чайханщик величал меня «хозяином». А я лежал целыми днями и все думал: «Как бы мне стать таким же богатым, как Мир-Джалялбай?»

1925-й год, поздняя осень.

Страница вторая

Из-под тюбетейки на висках взрослых джигитов и подростков, заходивших в чайхану, зазелели тюльпаны. Значит, весна уже. Как, однако, быстро проходит жизнь

человеческая — не успел оглянуться, вот уже и весна наступила. А с весной и деревья просыпаются, и всякие насекомые букашки-мурашки начинают копошиться, сновать. И в душе человека тоже дают о себе знать разные необыкновенные чувства.

Сегодня видел интересный сон. Лежу будто я на краю пашни в тени под талом. Так хорошо мне! Вдруг откуда ни возмись молоденькая жепщина в новенькой шелковой парандже, в лакированных ичигах, в калошах, с двойными золотыми браслетами на белых руках. Подходит ко мне, спрашивает:

— Мамаджап-ака не вы будете?

Я не пошевельнулся, отвечаю:

— Я буду. А что вам нужно?

Женщина откинула чачван. Я смотрю на нее, как зачарованный, — губы алые, бутоном сложены, брови черные — что крылья парящей ласточки, волосы кудрявые, как на шкурке с молодого барашка, колечками завиваются на концах, на щеках румянец — точь-в-точь лепестки роз. Она взяла меня за руку.

— Если вы Мамаджап-ака, вставайте!..

— Да скажите же, что вам нужно?

— Мы пойдем к мулле.

— Зачем?

— Чтоб прочитал молитву, поженил.

— Кого с кем?

— Нас с вами!..

Заметив мое недоумение, женщина стала объяснять причину, почему мы должны пожениться:

— Я была женой одного байбачи. Тот человек недавно умер от водянки. Перед смертью он завещал: «Жена, говорит, я умираю. Если ты после моей смерти задумаешь выйти замуж, я стоймя встану в могиле, потому что нет на то моего согласия. Ну, а в случае, если молодость все-таки возьмет верх и ты захочешь выйти, то в таком-то месте есть такой-то и такой-то джигит, Мамаджаном звать, за него и выходи. Прими его к себе в дом и передай ему все мое богатство. Кроме него, никто не имеет права распоряжаться моим хозяйством. Мамаджан очастливит тебя даже больше, чем я». Сегодня ровно неделя, как я разыскиваю вас, чтобы исполнить это завещание. И вот нашла наконец. На свою долю я не в обиде: вижу, вы и красотой не обделены, и лет вам, похоже, не больше двадцати пяти, и, судя по росту, по стати, вы из тех молодых, что, раз ударит, гору в толкно сокрушит.

Вот и идемте своими собственными руками откройте ворота вашего счастья, владейте богатством...

Женщина помогла мне встать, привела к себе домой. Пригласила муллу, тот прочитал молитву, выполнил что положено. Богатства, оставшегося после байбачи, оказалось даже больше, чем говорила женщина. Тысячи и тысячи наличными деньгами, дом со всем обиходом, земля, вода, несколько коней — каждый готов взвиться под небеса. Особенно поправился мне один соловый иноходец. Я приказал оседлать его. Сам приоделся, повязал для шика поверх полосатого шелкового халата четыре шелковых поясных платка. Подхожу. Слуги подхватывают меня под мышки, подсаживают в седло, а нога моя как соскользнет со стремени, и я угодил посом прямо в луку.

Я сразу же проснулся, открываю глаза и вижу себя все в той же кишлачной чайхане. Оказывается, меня ужалила оса: пыталась, видно, унести хлебную крошку, оставшуюся на губе от завтрака, ну и ужалила, попутно.

Сон оборвался на самом интересном месте. И хотя губа у меня здорово болела, я тотчас позвал чайханщика, кое-как наскоро пересказал свой сон и попросил истолковать его. Чайханщик, сбывчившись, молча выслушал мой сбывчивый рассказ и вышел, не сказав ни слова в объяснение. А через минуту вернулся, сунул мне в ладони длинную, как посох, свежeweыломанную сырую палку и говорит:

— А ну-ка, хозяин, поднатужьтесь, встаньте со своего места — прибраться надо под вами, залежались вы тут очень. За кукурузу я давно уже рассчитался с вами. Выбирайтесь на улицу и валяйте на все четыре стороны. Может, где и повстречаете ту богатую вдовушку.

Он поднял меня, подхватив под мышки, и выпроводил за порог. Колени у меня дрожали, ноги заплетались, я боялся — вот-вот упаду. Но что поделаешь, таков уж, видно, этот превратный мир: была не была, потихоньку-помаленьку пошел я. Трудно было, даже дрын, какой всучил мне чайханщик на прощанье, казался очень тяжелым...

* * *

В дневнике Мамаджана-лентяя не написано, куда он после изгнания из чайханы поплелся и где опять свалился пластом. Дневник молчит и о событиях последующих двух лет. Когда мы беседовали с ним и спросили: «Почему вы

не написали о том, что было в двадцать восьмом-двадцать девятом годах», — мулла Мамаджан вместо ответа лишь молча усмехнулся. Кишлачные старожилы, знавшие Мамаджана, правда, намекали, мол:

— Эти годы он провел с шейхами у какого-то мазара.

И все-таки в этой части нам не все ясно. Может быть, он перебивался коржами, какие жертвовали паломники. А может, просил милостыню. Во всяком случае, нам не хотелось бы взваливать напраслину на человека, возводить хулу на его честь.

За последующие же годы дневник Мамаджана-лентяя начинается так:

Страница третья

Старики нашей общины стали настоящей напастью на мою голову. Какое им дело до человека, раз он тихомирно тащит свою арбу? Чуть что сказал, тут же начинаются упреки: «Мы друзья твоего отца, понимаешь, мерзавец?» Полтанапа земли и наполовину развалившуюся курганчу, что остались после отца, они передали «щедрому» баю нашего кишлака Мир-Джалял-куруку. За это бай согласился кормить меня год-полтора, пока я не возьмусь за ум, не примусь за какое-никакое дело-занятие. Вчера вечером байский работник Мамасавур перенес мои шмотья-лохмотья, сам я, опираясь на палку, доставшуюся мне на память от чайханщика, заковылял следом и перебрался на завалину в крытый проезд у ворот байского двора.

Этот проезд, будь он неладен, оказался местом очень песочным: тут и лошади, и арбы въезжают-выезжают, и пешие входят-выходят. А всего больше изводит меня не знающий угомона Алапар, разместившийся на завалине напротив моей. Чуть услышит какой шорох за воротами, тут же вскочит, гремя цепью, подбегает к подворотне и лает, лает. Ну никакой сладости от сна не осталось. Вот уже действительно пес, пес и есть. Ну что бы ему поменьше рыскать, как ему не надоест, подлому? А что поделаешь, приходится привыкать.

Насчет еды тут особенно жаловаться не на что. С внутренней половины байского двора приносят остатки, объедки, помои и всякое такое. Алапар, правда, в обиде на меня, пет-пет да и зарычит — недоволен, что объявился половищик на его долю.

Еду чаще всего приносит младшая жена бая, очень

даже приятная собой молодка. Можно сказать, точь-в-точь такая, на какой я женился во сне. Мне приходилось слышать, что многие сны сбываются на свете. Эх, вот бы и моему сну сбыться — умер бы Мир-Джалял-курук, вошел бы я примаком в его дом, как муж младшей жены, досталось бы мне все его богатство. Добро-то он копил не ленился, подлое семя! Вот здорово было бы, думаю себе, если бы вдруг все это богатство да сразу перешло бы ко мне. Поэтому, когда младшая жена бая приносит еду, я на всякий случай улыбаюсь ей учтиво, а бывает, и подмигну вслед.

Бай оказался человеком злым донельзя. Сегодня утром он в первый раз обругал меня. Я огорчился очень, пожалел, что пришел сюда. А он мне:

— Нечего,— говорит,— лежать тут медведем-увальнем, переглядываться с Алапаром да предаваться пустым мечтаниям. Праздность и аллаху противна. Даром кормить тебя дураков нет. Вставай, будешь посматривать за всеми, кто заходит и выходит через ворота, чтоб не утащили, не унесли чего.— Потом принес и сердито швырнул мне на завалину кучу рваных-драных уздечек и прочей конской сбруи, шило и пучок ремешков для шитья.— На,— говорит,— почини все это!

«Пустые мечтания! — думаю себе.— Откуда тебе знать, может, для меня эти мечтания сами по себе богатство!..»

Волей-неволей пришлось все-таки встать и в первый раз в жизни завяться шорным ремеслом. Руки плохо слушались. Один раз ткнул шилом под ноготь, и так мне горько стало — прилаживаю оборванные концы ремней, а сам всхлипываю, плачу, не совладав с собой.

Сегодня я сидел допоздна, поэтому коровы и телята, всегда пугавшиеся моего неподвижного «трупа», спокойно прошли через ворота.

Незаметно-неприметно починка сбруи стала моим ремеслом. Теперь и батраки бая тоже стали подбрасывать мне на починку всякую рвань.

Этот бай оказался человеком, не ведающим ни покоя, ни угомона. Меня он и к другим работам стал приспособливать: дрова колоть, ясли чистить, курам посыпать и всякое такое. Во всяком случае, пока бай не умрет и пока его богатства не перейдут под мою руку, мне, похоже, не избавиться от этих тяжелых трудов.

— О аллах, если пожелаешь наградить, то награди такого несчастного беднягу, как я!

1929-й год, осень.

Страница четвертая

С великим трудом пережил я эту зиму. Бай здорово-таки измотал меня. Поневоле пришлось научиться и лошадей чистить, и клевер резать для них соломорезкой, и поить их, и счищать лопатой снег, и воду носить, и двор подметать, и многому другому разному-подобному. В отместку с моей стороны на бая сыпалось немало брани-проклятий. Втихомолку, конечно.

Ранней весной этого года работники, батраки Мир-Джалалял-курука подняли против него смуту, отобрали все его добро-богатство, землю, воду, а самого куда-то спровадили. Байское подворье тоже перешло в руки батраков. Теперь они толкуют, мол: мы объединяемся в колхоз. И байское подворье будто бы нужно колхозу. А что это такое — колхоз? Чудные дела творятся на этом свете!

Обо мне никто уже и не думает позаботиться. Для всех я — дармоед, лентяй. Просить у кого-нибудь, особенно у батраков, завладевших богатствами бая, стыдно. Да они, если и попросишь, брезгливо бросают прямо в лицо: — Сдохнешь, что ли, если станешь работать?

Работать — это легко сказать. Я уже подумываю, не вернуться ли мне к шейхам, каляндарам, что ютятся у гробницы мазара. Но чтоб быть с ними, надо знать несколько газелей. Я пробую повторять стихи, каким прежде научился у них, — оказалось, что все они выскочили из памяти.

Пока я раздумываю, как быть дальше, проходит несколько дней. Меня пачинает обижать равнодушные люди. Говорите, кто не работает, тот не ест? Ладно, согласен, буду работать. Так дайте же мне работу?

На мое счастье, на бывшем байском подворье появился Саттаркул-ака, что верховодил у батраков, какие надумали строить колхоз. Он забрал меня к себе. Дал халат, рубаху, штаны, отвел мне хибарку в своем дворе. Короче: и с пропитанием, и с жильем, и даже насчет помыть-постирать — все устроилось как следует быть. Теперь я могу свободно отдаться своим мечтаниям. Где-то она, младшая жена Мир-Джалалял-курука?

1930-й год, ранняя весна.

Страница пятая

И здесь тоже нет покоя. Саттаркул-ака чуть не силой потащил меня в поле.

— Довольно,— говорит,— хватит лежать. Пора и за работу браться попомяну. Выглядишь ты — что надо, поправился. Идем со мной.

Я нехотя поплелся за ним. Сам он взялся за плуг, а меня заставил лошадей за повод водить. В поле было полно народа. Одни пахут, другие боронят, третьи кетменем орудуют — все при деле. Видя, что я, как малолеток, вожу в поводу лошадей, иные из молодых ребят ухмылялись молча, другие открыто насмешничали.

Работали мы до позднего вечера, умаялся я здорово. Мастава, сваренная на ужин женой Саттаркула-ака, оказалась мне очень вкусной — я, наверное, за всю жизнь не ел такого вкусного варева. После ужина я прошел в свою хибарку, лег спать. Спал очень крепко. И самое интересное — в эту ночь я не видел никаких снов.

Прощайте, прощайте теперь, мои сладкие мечтания!

Утром опять вышли на работу. Назавтра — опять, послезавтра — опять. И так изо дня в день: работа, работа. И как это не надоест колхозникам?

Жара. Солнце нещадно палит плечи, земля жжет ноги, накалилась, как медь. А по краям пашни талы, карагачи колышат под ветром густой листвой, манят в тень, в прохладу. А под талами, под карагачами в арыках прозрачная вода бежит-журчит, чистая-чистая. Ну как тут не подивиться упрямству этих людей. Отказываются от такого блаженства, покоя, позабыли о прохладе помостов над арыками — без передышки машут и машут кетменями на поле в самую жару. Хочется крикнуть им: «Да отдохните же вы, вздремните хоть на минутку, отчаянные головы! С работой как-нибудь обойдется. Или вы хотите переделать все, что деды-прадеды ваши не доделали!» И крикнул бы, да боюсь верховода Саттаркула-саркяра. Поэтому, хоть руки мои в работе, мысли витают в тени деревьев-садов, а глаза помимо моей воли шарят с тоской по местам, обещающим прохладу.

Так вот и прошла-миновала в работе вся краса летней поры. А жаль, ах, как жаль! И вот уже и хлопок собран и свезен на завод. И осень пришла и ушла, и зима настала. И я уже подумал было: ну, мол, теперь-то вздохну свободно. А Саттаркул-ака опять помехой встал. Перевозили мы в амбар зерно, доставшееся ему от колхоза, а он показывает на четыре мешка пшеницы и говорит:

— Вот эти четыре мешка получены за твой труд. Если бы ты работал как следует, то получил бы еще больше. А заработанный хлеб, он, брат, вот как сладок. Работай, и

зимой не лежи зря. Скучно станет, иди на курсы, учишь грамоте.— И записал меня на курсы, открытые при красной чайхане колхоза.

Я говорю ему: «У меня мозги затвердели уже. Да и к чему мне грамота, города, что ли, дадут под мое начало?» А он и слушать не стал. Теперь вот, хочешь не хочешь, тащись на эти самые курсы, учишь.

В науке — сила.

1930-й год, лютая зима.

Страница шестая

Сегодня в колхозной красной чайхане было собрание. Заново выбирали председателя. Все в один голос закричали: «Саттаркула Бутабаева желаем председателем!» Саттаркул-ака прежде был председателем совета урожайности. Теперь решили сделать его председателем колхоза. Все подняли руки. Я тоже был бы за то, чтобы Саттаркул-ака стал председателем, но мне подумалось: будучи председателем, он, наверное, заставит меня работать еще больше,— и я замешкался. Но под конец все-таки поднял руку.

На собрании обсуждались и другие вопросы. Бригады колхоза вызывали друг друга на соревнование. Все с одобрением захлопали в ладоши, начали подписываться. Очередь дошла и до меня. Я взял слово.

— Товарищи,— говорю,— если есть какая работа, никто от нее бежать не станет. Зачем же еще соревнование? Поэтому я остаюсь сам по себе, товарищи.

Все, кто был в чайхане, разом расхохотались. Я здорово застыдился, аж пот на лбу выступил. И подписал договор все-таки, хоть и без особой охоты.

Летом я работал средне, по силе возможности. Постоянно работать и работать если — это может и тоску нагнать на человека. Раза два-три я брал по полпуда пшеницы из выданной мне авансом и тайно от Саттаркула-ака сбывал ее в городе на базаре. На вырученные деньги попробовал разгонять тоску, а самое подходящее место для этого Чархпаляк: на берегу речки помосты, красивыми коврами застеленные, тут же перепела поют-заливаются. Благодать! Да что там говорить!..

Когда я в первый раз отлучился в город, бригадир

ничего не сказал. Второй раз я свалил на болезнь, мол: приболел что-то, знобило всего. А в третий раз бригадир здорово пристыдил меня и пригрозил: «Выгоню из бригады. Мне лодыри не нужны!» Как он может выгнать, думаю. Я не лишенец и не такой уж плохой человек. А вообще-то хорошо, что в дело вмешался Саттаркул-ака, в колхозе меня оставили. Теперь опять работаю.

Весной я кипул на край грядок хлопчатника малую толику семян дыни. И вот, в один из дней окучиваю хлопок и вижу: одна дыня совсем поспела, сама вроде просит, хвостик подставляет: сорви меня. Я сорвал ее, принес под тал, разрезал, пачал есть. А она оказалась такой сладкой — прямо язык щемит от сладости. Я с превеликим удовольствием съел ее и уснул там же. Некоторое время спустя просыпаюсь, потянулся (надо сказать, хорошая это штука — потягивание, кто только его выдумал!). Ну, потянулся я, даже пальцами похрустел, открываю глаза, а кругом колхозные балаболки стоят, хохочут. И среди них Кумри, племянница нашего бригадира, насчет которой я уже строил про себя кое-какие планы. Я здорово смутился, вскакиваю. Чую, голова задела за что-то. Оборачиваюсь, а это рогожное знамя, какие у нас дают отстающим. Стыдно мне было очень. Особенно обидно было, что меня обсмеяли девушки. «А ну вас!» — говорю и принимаюсь за работу. Да так работаю до конца дня, с таким усердием, что бригадир наш подошел ко мне вечером, похлопал по плечу и говорит:

— Вот, братишка Мамаджан, именно так должно работать. Это больше подходит для чести джигита.

Я, конечно, просто разомлел от удовольствия.

Настала осень, мы сдали хлопок. Оказалось, наша бригада выполнила план на сто тридцать два процента. Нас решили премировать. У меня тоже, конечно, рот до ушей...

Собрание состоялось в чайхане, там же устроили большое угощение. Всем выдали премии. Я тоже жду своей очереди. Смотрю, а один ловкач выходит и вместо премии так начал меня чествовать, что я места не находил, куда деться. Другие тоже прямо в лицо стали говорить о моей лени. Тут уж я не выдержал. Вскочил, встал во весь рост и говорю:

— Товарищи! — говорю. — Слово мое твердое. Я бросаю лениться, объявляю себя ударником и вызываю всех вас на соревнование!

Все, конечно, хлопали в ладоши.

В этом году из-за своей лени я выработал, оказывается, всего-навсего сто шестьдесят три трудодня. За них я получил девятьсот семьдесят восемь килограммов пшеницы да пятьсот семьдесят шесть рублей пятьдесят копеек деньгами. Саттаркул-ака, когда мы получили что положено, позвал меня и говорит:

— Теперь, братишка, ты становишься в ряд с людьми. У тебя есть семнадцать мешков пшеницы. Есть деньги. Бери себе половину моей усадьбы да начинай строиться. Мы поможем, кошар устроим. Ну, а потом, да... потом жениться надо тебе.

В душе я порадовался этому разговору, по виду не показал.

Ровно посередине двора соорудили мы глинобитный забор. Потом я пригласил на помощь друзей-приятелей, выстроил добротный дом в одну комнату с террасой.

Теперь жена Саттаркула-ака вот уже несколько дней ходит в дом к Кумри — свахой. В ее хлопотах, собственно, и нужды нет, да ладно уж. Потому, как-то раз встретился я с Кумри лицом к лицу и прямо посмотрел ей в глаза. Она смутилась, отвернулась, но как-то наполовину. А я спрашиваю:

— Да, что ли? — Намекаю, значит: согласна, что ли?

Она застыдилась чуточку. А потом: «Да!» — говорит и убежала.

Ну вот, я женился уже. Я и не знал и думать не думал вовсе — Кумри оказалась не женой, а настоящей палочкой-погонялочкой. Не пойдешь в школу если, обеда, говорит, не будет. Поневоле приходится продолжать учение, брошенное в прошлом году на половине. Сама она тоже учится. А потом, то одного, говорит, у меня не хватает, то другого недостает. Корову, говорит, давай купим, ковер купим. Ну, просто извела вконец.

И ничего не поделаешь, так, видно, заведено на этом свете.

Весь 1931-й год.

Женатый человек не может, оказывается, не работать. Потом есть ведь и такое дело, как хлопковая независимость государства. А укрепление колхоза с организационной и с хозяйственной стороны! Да надо не иметь ни

чести, ни совести, чтобы лодырничать, когда перед тобой стоят такие великие задачи.

В этом году мы, муж и жена, работали как передовики-ударники. Хлопковый план по колхозу выполнен на сто двадцать процентов, а по нашей бригаде — на сто тридцать пять. В газете напечатан мой портрет с хвалебной надписью. Я выработал двести восемьдесят семь трудодней да жена сто двадцать три. Получили мы две тысячи шестьсот шестьдесят пять килограммов пшеницы и тысячу двести тридцать рублей деньгами. Есть у нас корова с телянком. Настроение у меня бодрое.

1932-й год.

Меня выбрали бригадиром. Кумри после второй окучки перестала выходить на работу. Доктор говорит: от этого, мол, ребенку вред может быть. Мы, конечно, люди, в лекарских делах не сведущие, — может, оно и так.

На трех гектарах участка своей бригады я посеял египетский хлопок. Всходы очень хорошие. Всего земли у меня тридцать семь гектаров. Хоть я и дал правлению обязательство вырастить на каждом гектаре по 13,5 центнеров хлопка, про себя все-таки думаю собрать по двадцать четыре. Все члены моей бригады живут в достатке. Трудятся по-ударному, так что надежд у меня много.

По вечерам я не провожу время напрасно, записываю в особую тетрадь все события, какие произошли со мной в жизни. Кумри читает мои записки и смеется. А что, смеется и пусть смеется. Не зря говорят: «Коль скажешь правду, смеются...»

1933-й год.

На этом дневник Мамаджана-ака обрывается. Когда в беседе с ним мы спросили: «Почему вы не записали остальное?» — Он ответил: «Лень было, работы много».

Поэтому дописывать приходится мне самому.

Было ль то пе было, но город по названию Андижан и поныне на том самом месте стоит. Вокруг и около него колхозы могучие, один другого мощнее. А в тех колхозах

работают такие богатыри-ударники, что, судя по рвению, нынешней весной ими показанному, план по хлопку всей округой непременно будет выполнен и даже с превышением.

Среди тех колхозов есть колхоз имени Ленина. Председателем в нем Саттаркул-ака, а бригадиром — Мамаджан сын Мухаммад-Алиев. Мамаджан-ака перед всей советской и партийной общественностью вызвал на соревнование все остальные колхозы и дал большевистское слово выполнить план этого года на сто пятьдесят процентов.

И Мамаджан сдержит свое слово.

1934

ЯДГАР

Знойный летний день.

На мне легкий бязевый халат с жестким воротом, чувствская тубетейка, шелковый расшитый поясной платок. На ногах — хромовые сапоги с небольшим каблучком.

Я иду вдоль бесконечных дувалов. Скучная, пыльная улица меж садами безмолвна. Прямые короткие тепи под деревьями неподвижно застыли. С ветвей из-за оград свешиваются персики, сливы. Журчит вода в арыках.

Мне еще далеко идти. Я пробую петь, но слова песни глоснут в раскаленном воздухе, теряя силу и звучность.

На другом конце улицы показалась женская фигура под паранджой. Женщина идет мне навстречу с открытым лицом, держа чачван в руке, обмахиваясь им играючи, словно веером. Она не смущается тем, что к ней приближается мужчина. Встреча с женщиной наедине настраивает меня на легкомысленный лад. Мне хочется заговорить с ней, чтобы рассеять скуку.

Женщина все ближе и ближе. Между нами не осталось уже и десятка шагов. Я не сводил с нее глаз. Вот на ее губах скользнула улыбка, обаяние которой я помню до сих пор. Под напускной строгостью она старается скрыть усмешку. Но теперь в черных глазах вспыхивают искорки смеха. От жары ее щеки покраснелись, точно гранаты, на лбу выступили жемчужинки пота.

Мы подошли совсем близко друг к другу. Еще секунда, и мы разминемся.

Нет, вышло иначе. Она остановилась, оглядела меня с ног до головы.

— Пойдите, мулла-ака!

Голос ее звенел. Так звенят, чуть столкнувшись, фарфоровые пиалы.

— Чем могу служить, душенька? — Я почувствовал в теле трепет робости, совсем уж неподобающий джигиту.

— Приходилось ли вам бескорыстно служить другим?

— Молодцу нечего жалеть никаких усилий. Если смогу быть полезным, я — к вашим услугам.

— Тогда вон тенистое местечко. Сядем. И я все расскажу.

Мы свернули к маленькой мечети. Все дни недели, кроме пятниц, эта мечеть пустовала, как покинутый хозяевами двор.

Мы прошли в одностворчатую калитку. Невольно у меня шевельнулась нескромная мысль: «Такая красивая девушка наедине с чужим юношей в пустой, как сердце отшельника, мечети!..»

Девушка расположилась на краю небольшой террасы. Я присел на корточки против нее.

Рукава ее платья были засучены по локоть, обнажая мраморную белизну рук. Маленьким шелковым платочком девушка стерла с кончика носа чистые, как росинки, капельки пота. От платочка шел крепкий аромат гвоздики.

Вероятно, впервые с той поры, как была построена мечеть, в ней повеяло нежностью и душевностью.

Девушка наморщила брови и еще раз окинула меня испытующим взглядом.

Потом шутя заметила:

— Не смотрите на меня так, а то сглазите.

Я быстро перевел взгляд на журчащий арык.

— Вы женаты? — задала вопрос девушка.

— Нет.

— Очень хорошо... А на мне не женитесь?

Я растерялся: какое неожиданное предложение.

— И вы мне хотели сказать... это? Всю жизнь готов быть вашим слугой.

Девушка расхохоталась. Смех ее озорным эхом отозвался в глухих стенах мечети.

— Да вы и правда, видно, привыкли бескорыстно служить другим?

— Прикажете, и я волоском свяжу слона, ногтями скovyрну гору!

— Ну, в таком случае... — произнесла девушка и опять задумалась. — Ладно, расскажу все. Слушайте внимательно! Мои родители — люди старого времени. По их мнению, любовь не стоит и пустого ореха. Они выдали меня замуж против моей воли. Мой муж — без определенных занятий, живет спекуляцией. Больше года я связана с нелюбимым человеком. За горькими ночами встречаю тоскливые дни. А ему — хоть бы что! Ни минуты не жила бы я с ним! Хочу бежать, но вы хорошо знаете, что в

семье старого уклада уйти от мужа — позор. Да и муж не отпустит меня. Иногда он приходит пьяным и тогда сильно бьет меня.— Она всхлипнула.— Я прошу развода. Но он кричит: «До седых волос ты у меня будешь на привязи». Я еще молода. Мне бы веселиться, смеяться со своими сверстницами. С неделю назад у нас разыгрался очередной скандал из-за невыглаженных брюк. Как он чистил могилу моего отца и дедов! Нещадно избил меня! Терпенью моему пришел конец. И я... решила уйти... совсем из дома.

На глазах молоденькой женщины выступили слезы.

«Ой-ой! Вдруг она мне скажет: «Увезите меня!» Куда я с ней денусь?» — пришло мне в голову.

— Чего же вы хотите от меня?

Женщина вытерла слезинки, повисшие на ресницах. Голос ее дрогнул:

— Несколько дней я выжидала удобную минуту и вот, наконец, утащила у мужа паспорт. Вот он, возьмите. И... и... будьте на один час... моим мужем.

— А! Что я должен сделать?

На лице молодой женщины заиграла легкая плутовская улыбка.

— Мы поедem в загс... вместе... и... разведемся.

Невозможно представить мое разочарование.

— Но... разве это возможно?

Молодая женщина явно решила победить мои сомнения и колебания своим обаянием. С надменной, обольстительной усмешкой она пристально смотрела на меня. В ее глазах читалось: «И все же я смогу тебя победить!»

— Смелости не хватает, джигит? Тюбетейка и поясной платок, оказывается, на вас только для красы?

— Смелости-то хватит. Только как же? Я еще не женился, и сразу вдруг... разводиться. Это все равно, что вбить колышек для теленка, который еще не родился.

Молодая женщина расхохоталась. Ворковавшие на кровельном желобе две горлилки испуганно вспорхнули и улетели.

— А у нас будет наоборот. Сначала вобьем колышек, а потом добудем теленка. Сначала разведемся, а уж потом и поженемся.

— Н-не... не знаю...

Женщина сразу же приняла холодный, неприязненный вид. Она рассердилась. В голосе вместо прежней ласковости зазвучало горькое сожаление:

— Зря вы родились мужчиной. И у кого я просила

услуги? Ну, хватит! Зачем только я выдала свою тайну?.. Но, так и быть. Давайте поменяемся: пате вам паранджу, а вы давайте мне ваш халат.

Ее слова меня сразили. Я понял, что отказываться помочь молодой женщине недостойно мужчины, и покорно пробормотал:

— Хорошо, говорите, что я должен делать?

Ее глаза заблестели от сознания победы.

— Вы, оказывается, не такой уж рохля. Только вот боюсь, осрамите меня в загсе! Прежде всего спрячьте в карман паспорт. В загс пойдем вместе. В дверях будем друг на друга кричать. Когда нас спросят, вы скажете: «Развожусь с проклятой». А я скажу: «Ухожу от проклятого». Если захотят нас помирить и будут уговаривать, — стойте на своем. Я буду вас бранить, клясть, вы не обижайтесь, можете раз-другой мне дать сдачи, ругнуть как следует... Словом, поможете мне — получу я на руки справку о разводе — и все. Придет ваш черед. Я готова... на всякую услугу для вас...

Не зменным ли коварством заворожила она меня, вскружила голову? И мы пошли в загс. Спустя полчаса мы отчаянно бранились в тесной комнатке «Отдела регистрации», невероятно оскорбляя друг друга. Мы подняли страшный шум. Она меня называла спекулянтom, а я ее — негодницей и распутницей.

Нас останавливали, уговаривали, пробовали мирить, но я не соглашался, а молодая женщина по-прежнему осыпала меня грубой бранью. Потеряв терпение, сотрудники загса решили поскорее закончить все формальности, лишь бы избавиться от подобных скандалистов. Нас даже не расспрашивали ни о чем.

Взяли у меня паспорт и начали заполнять бракoразводные бланки. Вот уже и марки наклеили и копии сняли, одну дали мне, другую ей.

Уплачивая деньги, я во всеуслышание вздохнул:

— Слава аллаху. Избавился я от невыносимой жизни. Больше никогда не женюсь...

Молодая женщина спокойно взяла справку.

— Ух! Наконец-то! Я свободна! — вырвалось у нее. — Лучше могила, чем такой муж!

Все поглядывали на нас с презрительным сожалением. Отвернувшись друг от друга, мы направились к выходу.

На улице молодая женщина подошла ко мне.

— Спасибо! Вы оказались куда хитрее, чем я думала. Но мы не все сделали, осталась еще самая малость. Если

не трудно, подождите меня минут десять. Я сейчас приду. Сложное дело нужно сделать понадежней. Да, в самом деле, дайте-ка мне паспорт и справку. Все равно они вам не пужны.

— Берите, но поскорее возвращайтесь.

Женщина уехала на трамвае. Я ждал ее. Действительно, она вернулась, и даже скорее, чем обещала. Паранджа у нее оттопыривалась, словно она держала под ней узел.

— Пошли в загс, закончим все,— сказала она.

И вот мы опять у бракоразводного стола. Женщина извлекла из-под паранджи свою ношу. У меня глаза чуть не выскочили, когда я увидел спеленутого ребенка с соской во рту.

С недоуменном я посмотрел на мою «разведенную жену». Обратившись к регистратору, она с мрачным видом возбужденно закричала:

— Вот! Раз он развелся, пускай забирает ребенка! Не стану я губить свою молодость, маяться с младенцем; нужно ему, так сам пускай ухаживает. Такое собачье отродье не стоит и малой жертвы.

Решительно она сунула мне в руки малютку и, резко повернувшись, исчезла за дверью.

Стоя с ребенком на руках, я растерянно озирался. Что делать? Сказать, что она мне не жена и что я даже не знаю, мальчик или девочка у меня в руках,— мне самому придется плохо: привлекут к уголовной ответственности. Я чувствовал себя совершенно беспомощным и, почти плача, бормотал:

— Как же мне быть? Куда я его отнесу?— Но тут сам испугался своих слов. На меня все смотрели с нескрываемым отвращением. Одна из сотрудниц колко заметила:

— Испортит жизнь молодой женщине, ну и терпи, дурачина. Твой грех...

А другая успокаивала:

— Не расстраивайтесь. По закону грудные дети должны оставаться у матери. Пусть ваша жена чуточку остынет! Все равно материнская любовь скажется. Сама забрет от вас ребенка.

Совершенно подавленный, я поплелся из загса, чувствуя, что у меня подгибаются ноги.

Беспомощный, с ребенком на руках, я бродил из конца в конец по многолюдной улице. Изредка я поглядывал на малыша и поправлял пеленку, чтоб она не закрывала ему лица и не мешала свободно дышать. Соска выпала изо рта малютки. Слышалось его легкое дыхание, ипогда он за-

бавно чмокал во сне. Вот он раскрыл свои глазки, похожие на черные бусинки. Зрачки беспокойно забегали, беленькое нежное личико начало кривиться, морщиться в гримасу. Ребенок заплакал. Наверно, он проголодался.

Что делать? Не посить же голодного малютку по улице, пока он вырастет и найдет своих родителей! Плач ребенка вернул мне самообладание.

Ведь ребенок-то не виноват!

Прижимая к груди младенца, я решительно сел в трамвай и поехал домой.

Ребенок вел себя крайне беспокойно. Он отчаянно кричал.

Один из пассажиров заметил:

— Дайте ребенка матери, братец, пускай чуточку покормит.

— Здесь нет его матери,— ответил я.

Вмешался другой:

— Как это неразумно — оставлять мать дома и разъезжать по улицам с грудным ребенком.

— Мать больна. Я ездил взвешивать ребенка,— солгал я.

Редко где бывают такие рассудительные люди, как в трамвае. Одни сочли меня глупцом, другие видели, что мне трудно возиться с младенцем, и жалели меня. Мой сосед в раздражении встал с места и ушел. Между двумя пассажирами разгорелся спор. Один говорил: «Ребенку полезно плакать, глаза будут черными», а другой возражал: «Нет, плакать вредно, если много плакать — на глазу будет бельмо». Когда дело уже дошло до перебранки, пришлось сойти с трамвая...

Наконец я добрался до дома и робко вошел во двор. На веревке, протянутой между кухней и террасой, сохло белье. Старушка-мать, присев на корточки, стирала что-то в тазу. Увидев в калитке меня с ребенком на руках, она подумала, что я привел какую-нибудь из своих взрослых сестер.

— А, опять привел гостью? — добродушно заворчала она. — Кто же идет? Саври? Рахбар? Или детишек брата ведешь? Вот уж божье наказание! Любишь ты гостей! Можно было бы поменьше носиться с ними. Опять я не кончу стирки...

Ребенок у меня на руках снова расплакался. Мать, продолжая стирать, попыталась утешить маленького:

— Ну, миленький! Ну, малюсенький! Ну, мой внучо-

почек! Не плачь, не плачь! Вот сейчас твоя бабушка вытрет руки, хорошенький мой, возьмет тебя.

Старушка стряхнула с рук мыльную пену, поднялась и взяла у меня младенца. Я растерянно молчал.

— Что это ты, сынок, туча тучей?— принялась допрашивать мать.

Я не отвечал.

Матушка вырастила на своем веку целый десяток детей. Иногда она говорила:

— Да, сынок, у иных сила в костях, а у иных в мясе; слава богу, у меня сила в костях. Если бы она была в мясе — разве я вырастила бы вас всех?

До сих пор я ничего не понимал в ее простых словах. А теперь...

О мать, отдавшая мне свою молодость! О мать, не смыкавшая ради меня глаз целые ночи напролет! О мать, перенесшая столько страданий в ночи прошлого и дождавшаяся наконец светлого дня! Кто в мире умеет любить больше матери? До сих пор я не сумел сочинить стихи, которые сравнились бы с твоими песнями над моей колыбелью!

Моей матушке тогда было 62 года. Ее жизнь цеплялась за сучки в чаще темных лет прошлого. Ее глаза всю жизнь тревожно всматривались в глаза ее детей; и острота зрения ее притупилась. Она не признала ребенка, но думала, что держит в руках одного из своих внучат.

— Матушка,— сказал я,— угомоните крикуна. Его мать долго не придет.

Старушка принялась меня корить:

— Не сидится тебе спокойно, сынок! Зачем ты взял младенца у матери и притащил сюда? Что я ему дам? И сестрица твоя хороша — не дорожит своим ребенком. Ей и заботы нет: «Будешь, мол, здоров, созреешь, от жара остыть сумеешь!» Эх, отгуляет время молодости, может, научится любить детей.

А ребенок не переставал кричать. Старуха забыла и меня, и стирку. Укачивая ребенка на руках, она старалась его утешить. Но голодного малютку ласками не успокоить.

Мать передала мне ребенка, а сама открыла сундучок, вынула две-три миндалины и истолкла в ступе. Потом смочила кипяченой водой, завернула в кисейную тряпочку и дала младенцу сосать.

Как раз тогда и у моего брата, и у младшей сестры были новорожденные. Старуха не знала, который из этих

двух у нее на руках. Ребенок успокоился, но немного погодя опять заплакал. Прошло часа два, и мать вновь стала меня бранить.

— Что ты за человек? Зачем ты лишил ребенка матери и шатаешься с ним?

— Мама, сказать правду? — пролепетал я. — У него... у него нет матери. Сколько ни ждите — не придет. Это... мой ребенок.

— А? — переполошилась старуха. — Ребенок? Твой? Что ты говоришь, дурной? Откуда у тебя ребенок?

— Раз я сказал, что мой, значит, мой. К чему столько вопросов? Возьмите его и воспитывайте.

— Опомнись! Что ты говоришь? В мои годы — из меня посмешище строишь, сынок? Чей ребенок, я спрашиваю?

— Я же сказал — мой — и конечно, — заупрямился я. — Мой ребенок. Вы его будете воспитывать. Растили же меня и моих братьев. Так и его вырастите. Больше ничего!

Сначала матушка не поверила. Потом, увидев, что я стою на своем, запричитала:

— Да и что же я теперь буду делать? Пригнул ты мою честь к самой земле! Я-то тебя всем расхваливала. И люди-то с моих слов уважали тебя. Заслала сваху к твоей тетке. Сговор состоялся. А ты с какой-то первой встречной шашни завел, да еще принес в наш дом приبلудного ребенка. Какой стыд! Ведь меня знают и в махалле, и на гузаре. Как мне смотреть людям в лицо? Я так ждала, что в старости жена моего второго сыночка будет меня поконить, будет мне помощницей. Пусть тебя накажет дух покойного отца! О, бог мой!

— Не лейте попусту слез, мама! Я и хотел вас порадовать. Да мать ребенка умерла после родов. Она... она была бы вам хорошей невесткой.

— Да скажи же, наконец, кого ты взял? Из хорошей семьи? Мать умерла, говоришь? Сейчас пойду. Надо навестить родных... Где они живут?

Ребенок заплакал. Старушке уже некогда было со мной препираться — внучонок был голоден. Она вытерла концом своего платка слезы, бросилась к младенцу и распеленала его:

— Мой миленький, да ты мокрешенек!

Я искоса взглянул на голенького малютку. Это был пухлый беленький мальчик. И вдруг у меня в сердце началась борьба между досадой и теплотой, между жадной мести и нежностью.

Будьте свидетелями, товарищи, это дитя будет моим сыном!

Первые дни моя мать не испытывала нежности к малышу и с большим недоверием кормила его молоком, которое приносили дети из Дома ребенка. Но с каждым днем ее привязанность к «внучонку» росла. И вскоре я уже услышал, что она кричит сестренке:

— Кумри! Да возьми же братца! Бедняжка надорвался от крика. Поноси его, покуда я испеку лепешки. Я сейчас приду сама.

А младшего моего брата уговаривала:

— Вставай, Абдугани! Вставай, мой хороший мальчик! Сбегай пораньше! Принеси молока для маленького, а то будет жарко, и молоко скиснет, пока донесешь. Я уже мог быть спокоен за малыша.

Говорят: «В доме, где дети,— пет скуки и сплетен». Мой «сын» стал забавой для всей семьи. Младшие братья и сестры не спускали его с рук и с увлечением играли с ним. Вернувшись с работы, я брал мальчика на руки.

— Ну, посмейся, маленький. Как ты смеешься?— говорил я ему.

Итак, дома все сошло хорошо. Но со стороны я слышал вечные упреки и порицания. Тетка, та решительно отказалась выдать дочь за меня замуж.

— Пусть аллах уберет его, такого шалопаю. Путался ваш Джура кто его знает с кем. Притащил в дом незаконнорожденного. Такому разнузданному я дочери не отдам. Моя дочка, что свежий бутон, что ясный месяц...

Все знакомые смеялись надо мной.

— Ну, как, Джура? Вырос сыночек?— спрашивали они при встрече.

Я смотрел на них вызывающе и отвечал:

— Слава богу.

Старший брат заявил:

— Конечно! Ко мне чтоб Джура не ходил. Такого брата мне не надо.

А старшая сестра совсем расходилась:

— К чему, мама, вам обуза на старости лет? Пусть Джура заберет ребенка и растит где хочет. Провались он! Недаром говорят: «Вскормишь сироту ягненка — сала поешь, воспитаешь сироту мальчишку — горя нахлебешься». Вон каким здоровым вы выкормили брата, а никто не видел, чтобы он принес вам хоть щепотку наса.

Словом, имя мое заслужило дурную славу.

Мне исполнилось двадцать два года, и меня призвали

на военную службу. Махаллинская комиссия вручила мне повестку от военкомата. Я был очень доволен. Я был здоров, силен, и тело мое было как бы отлито из стали. Доктор написал, что я гожусь и в кавалерию, и в пехоту. Меня приняли. Я ног под собой не чувствовал от радости. Меня направили для прохождения службы в Ашхабад. Мать всплакнула. Все дни, оставшиеся до отъезда, меня в семье баловали. Мой приемный сын тоже вдруг попал в большой почет. Все в доме о нем заботились, берегли его, не давали ветерку на него подуть.

До сих пор еще у малыша не было имени. Теперь старушка стала называть его Ядгаром.

— Мама, что это за Ядгар? Память? Такое допотопное имя! — поинтересовался я.

Старушка больше не могла сдержаться и заплакала.

— Ах, мой ненаглядный сынок! Ведь ты идешь в солдаты. Да сохранит тебя господь от дурного глаза. Да поддержит тебя покровитель храбрых мужей Али Шахимардон. Да падут беды на твоих врагов. Да не пронзит тебя пуля! Побеждай с твоими товарищами! Да не победят вас враги! А я уж так, на всякий случай, назвала твоего сына Ядгаром. Росточек, который остается от тебя. Хорошо, что этот мальчик появился на свет. Глядя на него, я буду видеть и чувствовать тебя.

И смешно было мне слушать слова старушки, но из уважения к ней и ради ребенка я не возражал.

Итак, я стал членом великой братской семьи, вступил в Красную Армию, шагнул с бьющимся сердцем в новый мир.

Неотесанным, бесшабашным парнем, в халате нараспашку я прибыл в Ашхабад. До призыва я умел лишь читать, писать да знал четыре действия арифметики.

Меня зачислили в часть. Выдали обмундирование. Первые дни трудно было свыкаться с военной формой. Я задыхался, все хотелось расстегнуть ворот, но дисциплина не позволяла. Еще труднее было в чистоте держать свое оружие, следить за опрятностью своей постели, но я старался. Командир это видел и часто говорил:

— Так и надо. Ты будешь хорошим бойцом.

Весь день шла напряженная, тяжелая военная учеба. А по вечерам, разбившись на группы, — в нашем полку служила молодежь разных национальностей: казахи, узбеки, татары, туркмены, таджики, — мы занимались общеобразовательными предметами. Я учился с охотой. Командиры оставались мною довольны.

По временам приходили письма от матери. Содержа-ние их было обычное, будничное: «Мы по тебе соскучи-лись. Ядгар уже говорит. Слово «дада» не сходит у него с языка. У меня так и сжимается сердце...»

И все в таком роде.

Я тоже посылал письма домой, обещал приехать в отпуск.

Военная служба шла мне на пользу. Я чувствовал себя окрепшим, сильным. Настроение было отличное. Кругом приятели и друзья. Я забыл, что такое скука.

За шесть месяцев я и русскому языку основательно подучился. Адрес на письмах уже сам писал по-русски. Послал в письме снимок — свою фотографию в военной форме. Вскоре пришел ответ от младшего братишки Аб-дугани. Писал он, что старуха не выпускает из рук моей карточки, показывает всем соседям и говорит: «Сла-ва богу, мой дурашный сынок поумнел. Вон какой на-чальник». Радость старушки не умещалась у нее в груди.

А спустя еще полгода я получил вест, что Ядгар за-болел. Меня охватило настоящее беспокойство. Я попро-сил отпуск на десять дней, попрощался с товарищами и отправился в Ташкент.

Мой приезд стал большим праздником для домашних. Забыв о ссоре, пришли и брат, и сестры. А «сын» мой, оказалось, уже выздоровел. Славный карапуз уже начал ходить неуверенными, забавно неловкими шагами. Он не сходил с моих колен, да и я его не спускал с рук. Даже выходя на улицу, я брал его с собой. Знакомые уже не смеялись надо мной. Даже строгая тетка явилась к нам. Перед уходом она выбрала минуту поговорить с матерью наедине.

— Не годится нарушать веление судьбы,— закинула она словечко насчет меня.— Мало ли что случается с мо-лодым джигитом. Из вашего шалопая вышел молодец на загляденье. Не подумай, сестрица, что я какая-то злопа-мятная... Знаешь, за день столько свих к нам приходит, что калитка еле на петлях держится. Но, уж будь увере-на, я всем отказываю. Всем говорю, что дочь еще молода, да и к тому же сговорена... «Еще в колыбели мы сгово-рили ее с Джурой. Он, ее жених, в Ашхабаде служит начальником в войсках», — похваляюсь я...

Матушка не могла сдержать торжествующей улыбки, когда передавала мне слова тетки.

Но я спокойно заметил:

— Девушка молода. Можно не спешить. Я не смогу сейчас жениться. Срок военной службы еще не кончился. А потом я еще года два хочу учиться.

— Ладно, ладно, миленький. Тетушка и не говорила, чтобы сейчас сладить свадьбу. Дочка ее еще совсем молода. Тетка только подлаживаться начала, сынок.

За дни, проведенные в Ташкенте, я уже соскучился по товарищам и, не дожидаясь конца отпуска, уехал в Ашхабад.

Во второй год службы мы занимались еще упорнее и серьезнее. Всеми силами я старался приобрести военные знания и пополнить свое образование. В середине года меня назначили командиром отделения.

В своих письмах моя матушка уже не горевала, а заботливо давала мне наставления: «Учись хорошенько, старательно; не болтайся, не шлейся, не забывай своего сиротку сына», — писала она.

«Конечно, — думал я, — мне не забыть ни Ядгара, ни связанных с ним событий. Не знаю, что нам с ним суждено. Хотя, если поглубже вдуматься, человек — хозяин своей судьбы. Сделаю все, чтобы будущее у Ядгара было светлое и счастливое. Старая мать может быть спокойна и за меня и за Ядгара».

Время шло очень быстро. По-прежнему по утрам мы выходили на учения. А вечерами я готовил уроки. Я сам себе не верил. Неужели это я? Неужели это тот самый пустой, неотесанный мальчик, который недавно еще думал, что радость жизни заключается в звонко кричащих перепелках, хромовых сапогах, бекасамовом халате и крепком виноградном вине домашнего приготовления? Да, мои вкусы, склонности, взгляды на жизнь разительно изменились. Я понял, что такое любовь к родине. И в тайниках души я хотел и твердо решил быть всегда хорошим сыном социалистического государства, которое меня воспитало. Хочу и буду.

Мне пошел двадцать пятый год. Мир одет цветущими лугами. В моих глазах он весь из цветов и бутонов. Все вокруг тонет в сиянии. Приложив руку щитком ко лбу, я всматриваюсь в зеленеющую бархатом даль великой родной земли. Радостные, счастливые кишлаки, колхозы зажигают в сердце мужественную любовь. Они ждут, чтобы я честно служил родной стране.

О моя вторая мать, Красная Армия, воспитавшая меня, научившая меня радостно, бодро смотреть на мир!

Быстро прошли мои юношеские годы. А два года в армии промелькнули, словно два поцелуя.

Подошло время демобилизации. Но я решил продолжать службу сверхсрочно.

Командир был расположен ко мне.

— Товарищ командир,— обратился я к нему.— Если можно, оставьте меня на военной службе сверхсрочником.

Он с улыбкой хлопнул меня по плечу и ласково сказал:

— Я думаю иначе. Я уже говорил с кем нужно. Если хочешь, мы пошлем тебя в Ленинград в Военно-медицинскую академию. Если ты и там будешь таким же прилежным, настойчивым, внимательным,— через четыре года из тебя выйдет отличный военный врач.

Я обрадовался и крепко пожал руку командиру.

Комиссия, проверив мои знания и состояние здоровья, нашла возможным удовлетворить мою просьбу. Я получил путевку в Ленинград. Радость моя была безгранична.

Трудно мне было расставаться с товарищами, с которыми я за два года очень сблизился. Я зашел в комсомольскую ячейку и взял свою учетную карточку. На вечере отпускников я тепло распрощался со своим командиром, который был и моим учителем и, вместе с тем, самым близким другом.

— Товарищ командир,— говорил я ему,— мы, ваши ученики, всегда будем защищать родину от всех врагов. Всегда будем часовыми, стоящими на защите ее процветания и чести. Если Красная Армия, воспитавшая и вырастившая меня, желает, чтобы я стал военным врачом, я выполню свое обещание.

В Ташкенте все мои друзья, товарищи и родственники встретили меня с радостью. Ядгар только что переболел корью,— мне о его болезни не писали, чтобы не беспокоить. Теперь он уже лепетал, изменяя по-своему слова и не выговаривая буквы «р».

— Скажи «патрон»,— говорил я ему.

— Патйон.

— Скажи «аэроплан».

— Айюпиян.

Мы от души смеялись. Мальчугана интересовал мой военный костюм. Он надевал мою фуражку со звездой — она смешно сползала ему на глаза — и бежал показаться бабушке.

Радостную весть об окончании моей военной службы матушка приняла по-своему. Ничего не сказав мне, старушка начала приготовления к свадьбе.

— Ничего, что молода,— говорила она.— Девочка уже вся налитая. Я помоложе была, когда меня выдали за-

муж. Она может получить брачное свидетельство, и довольно!

О своем отъезде в Ленинград я еще не говорил никому. И мне пришлось попросить сестру осторожно уговорить мать «не бить в бубен прежде свадьбы», а также сказать ей, что хотя я и отслужил в армии, но буду учиться еще три-четыре года, а уж когда кончу, тогда можно что-нибудь решать.

Занятия в академии должны были начаться с первого сентября. Мне казалось, что не годится терять даром два с половиной месяца. Я сходил на медицинский факультет университета, узнал, что требуется от вновь поступающих, достал учебники и принялся потихоньку готовиться.

По вечерам я гулял с Ядгаром. Ходил с ним в парк, бывал в цирке, катал его на карусели. Удивительно это были счастливые, безмятежные дни. Вначале Ядгар немного чуждался меня, но вскоре мы очень подружились, и он не отходил от меня ни на шаг. Бывало, не видит меня час, сразу поднимает крик: «Где мой папа?»

«Нехорошо, когда ребенок так привязан к отцу. Уеду в Ленинград, — думал я, — парень будет слишком скучать обо мне». Старушка тоже так думала, но только снисходительно покачивала головой.

Наконец приблизился день, которого я ожидал с волнением. Двадцатого августа мне непременно нужно быть в Ленинграде. Завтра я уезжаю. К нам домой пришли сестры и братья с детьми. И я поразился — наша семья ничуть не меньше населения махалли, и дом сделался похожим на пчелиный улей.

Мать, сестры суетились, варили, жарили мне на дороге бугурсаки, сдобные лепешки, слоенки. Ядгара все забавляли, ласкали, будто хотели этим завоевать мое сердце.

Поглаживая Ядгара по голове, старший брат обратился ко мне:

— Твой сын будет еще здоровее тебя. Смотри, какая у шельмеца грудь! А икры-то как! —

— Тьфу, тьфу, не сглазь! Разве так можно говорить? — остановила старушка. — Ведь малый ребенок нежнее цветка.

— Ну вылитый отец! В точности вы! — вмешалась невестка. — Волосок в волосок. И бывает же ребенок так похож на отца.

Я про себя только радовался.

Братья и друзья проводили меня на вокзал. Ядгар

устроился на руках у старшего брата. Все желали мне успеха, просили писать.

— Будешь в чем нуждаться, сейчас же пиши,— сказал на прощание старший брат.— Студенческая жизнь! Иной раз тебе придется трудновато. Я помогу. За мать не беспокойся.

Я смотрю из окна вагона. Ядгар рвется ко мне. И я беру его на руки. Уже пробил звонок. Я расцеловал мальчика в обе щеки и передал брату. Поезд медленно тронулся.

Сердце мое сжалось неизведанной болью, и невольные слезы набежали на глаза. Прощайте, прощайте.

* * *

Поезд идет быстрым ходом. Как-то я выдержу испытания? При одной этой мысли у меня начинает колотиться сердце. Я повторяю про себя пройденное, пробую сам проверить свои знания.

Мы проехали бесконечные степи, миновали окрестности Оренбурга. Вот земли Куйбышевского края. За окном стеной тянутся густые зеленые леса. В просеках вдруг мелькают трубы фабрик с тянущимися к нему султанами дыма. В первый раз в жизни я еду так далеко. Как велика наша страна! Все это — неотделимая часть нашей социалистической родины, а я один из ее сыновей. Гордость не вмещается в моей груди. Я мурлычу себе под нос мотивы песен, которым я научился в Красной Армии.

Вместе со мной едет студент Московской авиационной школы, казах. Он сел в вагон в Кызыл-Орде.

— Товарищ,— говорит он,— вы красноармеец, пехота... Вот если бы вы были летчиком, как я, вы еще лучше могли бы увидеть великие пространства нашей страны. От Тихого океана до Черного моря, от Северного полюса до Афганской границы — все, все — наша родина. Вы спросите, чего у нас нет? Все у нас есть! Если бы вы полетели на самолете, вы увидели бы с высоты наши прекрасные города, бархатные сады, густые зеленые леса, хлопковые поля — вот тогда вы знали бы, какова наша страна!

У казаха был очень открытый характер. Он много рассказывал о своей жизни, об ученых и о разных других вещах. Даже начал меня уговаривать не поступать в медицинскую академию, а идти в авиационную школу.

— Верно,— говорю я,— авиация интересное дело, но мне больше хочется быть врачом. И я от всей души перед

строем товарищей дал слово стать врачом. Послушай, друг, — я хлопнул собеседника по плечу, — мы с тобой еще молоды. К тридцати годам успеем кончить не один, а два факультета. Через четыре года я сделаюсь врачом. И потом разве трудно поучиться еще четыре-пять лет на другом факультете, ну, например, на авиаинженерном?

Три дня, которые мы провели в дороге, прошли очень весело. Теперь мы так близко познакомились, будто были старыми друзьями. Он дал мне свой адрес, я обещал написать ему по приезду и сообщить свой. В Москве мы расстались.

С приближением поезда к Ленинграду сердце мое трепетало, как вынутый из гнезда птенчик.

В академии меня встретили очень приветливо, дали комнату в общежитии. Я быстро познакомился с абитуриентами, прибывшими из разных республик нашей великой родины и так же, как я, готовившимися к экзаменам.

Вышло именно то, чего я боялся. По основным предметам я получил отметки «отлично» и «хорошо», но в русском языке выявилась моя слабая подготовка. Испытательная комиссия приняла во внимание мою национальность и зачислила меня на первый курс с условием в первый же год овладеть русским языком.

Я не могу вспомнить более радостного момента в своей жизни, чем первая лекция. Подумать только: тот самый пустой малый, который всего два года тому назад шатался по садам, распевая беззаботно песни, слушает на медицинском факультете лекцию профессора!

Занятия с каждым днем становились для меня все интересней. Но и подготовки требовали немалой. Мне даже не хватало времени отвечать на письма из Ташкента. Приходилось напрягать все силы. Необходимо было терпенье, спокойствие и настойчивость.

В свободные минуты я занимаюсь русским языком. Мои товарищи по общежитию — люди разных национальностей, и мы друг другу помогаем. Как можно чаще я беседую с русскими студентами для практики. Я понимаю — если в этом году не усвою русского языка — дело будет плохо.

Мои усилия довольно скоро сказались: лекции я уже хорошо понимал, да и говорить стал свободнее, но в письмах все еще делал много ошибок.

Полугодовые зачеты сдал хорошо. Во время зимних каникул я ответил на несколько писем, которые до сих

пор лежали без ответа. Очень меня удивило письмо, полученное от двоюродной сестры Саадат. Что ее заставило мне написать?

Предположим, наши матери, когда мы еще были маленькие, сделали сговор, но ведь потом, когда я принес домой Ядгара, тетка возмутилась и решила не выдавать за меня свою дочь. Я это отлично помнил. Когда же мы встречались у нас с Саадат, мы и слова не сказали о совместной жизни или браке. Почему вдруг Саадат написала? В те дни, когда произошла история с Ядгаром, ей только что исполнилось тринадцать лет, и вряд ли она что-либо поняла. Но теперь ей уже шестнадцать. Можно сказать — она уже взрослая... Но письмо? Не может быть, чтобы она полюбила? Что до меня, я к ней относился равнодушно, спокойно. Я даже никогда не задавал себе вопрос, люблю ли я ее.

Письмо Саадат было очень короткое:

«Здравствуйте, Джура-ака!

Желаю вам успехов в учебе. Интересно узнать, как у вас прошли испытания, как идут занятия, здоровы ли вы? У меня новость. Вы знаете, что по окончании школы родители не разрешили мне учиться дальше и заставили сидеть дома. А в этом году почему-то разрешили. Может быть, меня пожалели, или на них подействовали просьбы моих подруг. Я сдала приемные испытания в педтехникум, поступила на первый курс и теперь учусь. Несмотря на то, что учиться очень трудно, по многим предметам имею «отлично» (не сочтите за хвастовство). На днях заходила к тете узнать, нет ли от вас вестей. Ваш сын Ядгар стал такой миленький бутуз, я долго его ласкала и забавляла. Если не пожалеете для меня вашего дорогого времени, напишите мне коротенькое письмо. Для меня будет великая радость.

Саадат».

Ну, что мне ответить на это письмо? Саадат, правда, неплохая девушка. Хорошо, что она начала учиться. Попрошу ее прислать карточку. Нет, это много, еще испугается. Лучше попрошу тубетейку.

Я написал простенькое письмо, как пишет брат сестре.

«Саадат, шлю вам и всем вашим много приветов. Я здоров и желаю вам здоровья. Очень обрадовался, когда узнал, что вы учитесь. Каждый, кто хочет счастливой будущности, должен учиться. Хотите знать обо мне? Я хорошо сдал экзамены. Скажу, не хвастаясь, что иду не из

последних. Саадат, когда пойдете к нам, скажите маме, пусть сошьет мне тюбетейку и пришлет. Иногда на праздниках наши студенты надевают национальные костюмы, и для меня, конечно, соблазн. Передайте всем от меня привет.

Уважающий вас Джура».

Наступил май. Мы дни и ночи готовились к зачетам.

Я получил по почте маленькую посылку. Вскрыл, оказалось что-то завернутое в бумагу и перевязанное разноцветными шелковыми нитками. Я развернул бумагу и вынул сплошь расшитую шелком тюбетейку. В нее был вложен шелковый носовой платочек, на уголке которого я увидел очень искусно исполненные разноцветными шелками бабочку и бутон розы. В платочке оказалось маленькое письмо. Писала Саадат.

«Дорогой Джура-ака!

Шлю бесчисленные приветы. Простите, что так долго не посылала вам вещь, которую вы просили у своей мамы. Я немножко на вас обижена. Ведь шить тюбетейки — дело молодых. Мне стыдно даже подумать, чтобы моя старая тетя, бедняжка, оставила все дела и села бы за шитье тюбетейки. Поэтому я сшила сама. Уже скоро каникулы. Вашей матушке я сказала, что собираюсь вам писать, она очень обрадовалась и просила написать, что бедняжка Ядгар скучает по вас. Я его утешила, сказала, что вы приедете в отпуск.

Еще одна новость. Я вступила в комсомол. Родителям пока не сказала. Вы тоже не проговоритесь им.

Все шлют вам привет. Жду от вас письма.

Саадат».

Теперь многое стало ясным. В особенности много говорили вышитые на платочке бабочка и бутон. Чудно! Неужели Саадат меня любит всерьез? А я? Нет. У меня нет к ней чувств. Но все-таки нельзя огорчать девушку, надо ответить на письмо. Можно ей тоже послать подарок. Но не будет ли мой подарок ей намеком на ответное чувство? А если послать, то что? Лучше не посылать. Напишу только письмо.

Написал. Письмо вышло такое же простое, братское, как и в прошлый раз. Я поблагодарил ее за тюбетейку, сообщил, что в этом году не приеду в отпуск, хоть и соскучился по родным и в особенности по Ядгару — сказать правду, это было именно так. В конце письма я просил писать мне почаще.

Наступило время зачетов. Русский язык я сдал. Но тут случилась беда. Я провалился по анатомии.

В конце июня совершенно неожиданно я получил от старшего брата денежный перевод и письмо.

«Твоя тетка, — писал мне брат, — сменила гнев на милость. Теперь она говорит, что не отдаст Саадат чужому, что Саадат твоя. Ты можешь быть спокоен».

Значит, тибетейка от Саадат, платочек, бабочка с бутоном — все это не зря.

Так как мне приходилось готовиться только по анатомии, то свободного времени у меня было немало. Я часто гулял по городу. Сто рублей, которые я получил от брата, мне были совершенно не нужны, поэтому я купил для Ядгара костюмчики и послал их домой вместе со своей новой большой фотографической карточкой.

Через месяц я получил письмо от Саадат. Письмо было полно намеков.

«Милый Джура-ака!

Ваш портрет, который вы прислали Ядгару, тетя повесила на стену и украсила цветами. Когда Ядгар вспоминает своего дада и тянется к карточке, тетя снимает карточку со стены и показывает ему. Мальчик с минуту смотрит на портрет, потом тетя опять вешает карточку на место. Когда я прошу у Ядгара вашу карточку, он ни за что не хочет дать мне посмотреть. «Пусти, пусти, не трогай! Это мой дада», — кричит он. «Твой дада ведь мой Джура-ака!» — говорю я. «Ну ладно», — соглашается тогда Ядгар и дает мне карточку.

А я смотрю на вашу фотографию и думаю: «Фотограф сделал только одну карточку, не позаботился, чтобы человек мог послать и знакомым». Если бы вы прислали нам одну, мы сохранили бы ее лучше, чем вы сами. Да вот вы нас не удостоили. «Ну, ладно, — думаю, — если вы не посылаете, pošлю я». И вот послала вам свою карточку, где снялась вместе с Ядгаром. На фотографа не сердитесь, как говорится: «Что есть в котле, все попадает в уполовник».

Правда ли, что тибетейка пришлась вам впору? Джура-ака, если вас не затруднит, пришлите мне беретку. В Ташкенте все девушки стали носить беретки.

Шлю нескончаемые приветы, скучаю по вас.

Саадат.

Кстати, не проговоритесь родным, что я послала вам карточку».

Письмо и в особенности фотография взволновали меня. О! Да неужели это наша Саадат! Девушка так расцвела! Впервые я увидел — если смотришь на карточку, будто видишь человека. Огромные глаза Саадат, ее слегка улыбающиеся губы так выразительны на снимке! О кудри, обрамляющие полные щеки, вы вот-вот закуете мое сердце в свои цепи! Поверь, Саадат! Я люблю тебя. Никогда в жизни я не допущу, чтобы на черных твоих ресницах по моей вине заблестели слезинки!

Нежный взгляд девушки звал. Саадат победила.

Я полюбил Саадат теперь по-настоящему.

Близилось начало учебы, меня ждали занятия. Я съездил в город и купил Саадат подарок — модный берет. В письме я наметил ей о любви и осторожно дал понять, что в учебный сезон у меня будет мало времени, а потому после этого письма напишу не скоро. Отчасти с намерением испытать Саадат, а отчасти всерьез, я попросил, чтобы она навещала Ядгара и мою старую матушку.

На этом завершилась первая глава нашего романа. До следующей счастливой главы, то есть до отпуска будущего года, я определил перерыв.

Старая моя матушка очень огорчилась и обиделась, что я не приехал в отпуск. «Сын твой нездоров,— писала она.— Кумри поступила в школу ФЗУ Ташкентского текстилькомбината. Абдугани еще не окончил средней школы и потому живет при матери. Старший твой брат навещает нас, проявляет заботу. Не забывает Ядгара. Живем мы неплохо. Ты можешь учиться спокойно, ни о чем не беспокойся».

На втором курсе я шел одним из лучших. Я уже не был так слаб в русском языке. По анатомии тоже подогнал. Поэтому большинство годовых зачетов я сдал на «отлично», а по остальным получил «хорошо» и «удовлетворительно». И решил я провести отпуск в Ташкенте. За весь год в моей жизни не было крупных событий, о которых стоило бы говорить. Заполненные учебой дни проходили ровно, спокойно, словно журчала вода в арыке.

Я писал домашним, что в отпуск приеду в Ташкент, но не указал, в какой день, в какое время. А вдруг Саадат выйдет вместе со всеми меня встречать? Мне очень не хотелось такой встречи при родных. Все время я думал о Ташкенте. Мне не сиделось на месте, и я часто ходил по магазинам, накупил разных мелочей в подарок

Кумри, Абдугани, Ядгару и другим родным. Купил подарок и для Саадат. В середине июня я выехал.

Совершенно неожиданно для всех я приехал во время утреннего чая. Моя старая мать в ужасном волнении сбегала со ступенек террасы и бросилась мне навстречу. Обхватив мою шею руками, она задыхалась, плача от радости и покрывая мое лицо поцелуями. Она пыталась что-то говорить, но не могла произнести ни слова.

Дрожащими руками она вцепилась в ручки моего чемодана, чтобы нести его на террасу. Но я не позволил и понес сам. Мы засыпали друг друга вопросами, а я все оглядывался по сторонам. Но Ядгара не было видно.

— А где Ядгар, мама?

— Ах, и правда! Я сейчас его приведу. Твой сынок совсем большой мальчик стал, ходит в детсад. Спозаранку встает с постели и бежит туда. А я ковыляю за ним, спешу, боюсь, как бы не заблудился. А теперь вот Абдугани, когда идет в школу, провожает его... А днем заходит за ним... Я сбегая за малышом...

— Не беспокойтесь, мама, я сам приведу Ядгара,— сказал я. Но старушка и слышать меня не хотела и вышла. Минут через десять она вернулась, с гордостью ведя за руку Ядгара. Он катил за собой игрушечный автобус. Увидев меня на террасе, мальчик без колебаний подбежал и кинулся ко мне. Я прижал его к груди и расцеловал. Через минуту Ядгар позабыл, что я только что приехал. Дождем посыпались его вопросы.

— Дада, что это?

— Пуговица, сынок, пуговица.

— А почему на ней звезда?

— У военных пуговицы такие.

— А что такое военный?

— Красную Армию знаешь?

— Да, мы в садике играем в Красную Армию.

— В Красной Армии все носят такие пуговицы.

Мгновенно забыв о пуговицах, Ядгар уже думал о другом.

— Когда вы приехали?

— Сейчас.

— На чем приехали?

— На поезде. Знаешь поезд?

— А у Шарипа отец прилетел на аэроплане.

Матушка бранила Ядгара:

— Отстань, детка! Какой ты противный надоеда. Дай нам хоть немножко поговорить.

А мальчуган все продолжал:

— Дада! А знаете, дада, я умею петь.

— А ну, спой!

Он соскочил с моих колен и запел.

— Вот как я умею!

— Здорово, сынок, ишь ты какой стал ученый!

— Вы теперь не уедете?

— Нет, не уеду.

— Ну, так до свидания, я пойду в детский сад.

— Смотри хорошенько в оба! Иди только по тротуару, — напутствовала бабушка. — Смотри, как бы тебя не задавили.

Мы со старушкой сидели, разговаривали. Она рассказывала мне и о Саадат.

— Очень привязалась к нам девушка, часто приходит, навещает. Не знаю, почему-то целых три дня ее не видно. Как калитка стукнет, я поглядываю в окно, поджидаю. Дай бог девушке счастья. Вот уж золотые руки! В минуту мне в доме наведет порядок и уйдет. На днях говорит: «Тетя, постирать вам белье?» — «Что ты, моя птичка? Будешь здорова — успеешь настираться». Не согласилась я. А уж как она любит Ядгара! Так и кружится около него мотыльком. Ядгар тоже к ней привык, как к родной. Не придет она, так он уже бежит к калитке, выглядывает, не идет ли?

О моем приезде знали уже многие. Кое-кто видел меня, когда я подходил к дому. И сразу же по махалле разнеслась молва обо мне.

Не прошло и часу, и дом наполнился родственниками. Но я все посматривал на дверь. Мои глаза с нетерпением искали среди входящих... Ну, что там скрывать? Я ждал Саадат.

С одной стороны, пытался убедить себя, что я даже рад, что она не идет. Вы спросите, почему? Какое же может быть свидание в присутствии стольких родных? Легкая улыбка, быстрый обмен взглядами, вопросы о здоровье — и... все...

Так я и провел день — встречал и провожал гостей.

Адбугани был уже большой мальчик, он учился в пятом классе. Я поманил его в сторонку и потихоньку от гостей и матери спросил:

— Ты сказал тете Саадат, что я приехал?

— А как же? Когда вы сидели с гостями. Матушка заставила меня сбежать к Саадат. Я уже ходил.

— Саадат дома была?

— Нет, в школе. Я видел тетю.

— А дядя?

— Он на работе.

Не успели мы с Абдугани посекретничать, а уже на пороге калитки возникла с корзинкой на голове, запыхавшаяся, вспотевшая от быстрой ходьбы тетка.

— Ах, родненький мой! Ах, красавчик ты мой!— заголосила она еще издали.

Обняла она меня крепко и поцеловала в лоб. Тетушка задала мне тысячу вопросов. С важностью я снисходительно давал короткие ответы и все поджидал, что она заговорит о Саадат или хоть упомянет ее имя.

Тут меня позвали. Извинившись, я оставил гостей и вышел к калитке. Оказывается, приехали друзья детства — Абид, Мансур, Юлдаш из нашей махаллы. Абид потащил всю компанию к себе домой. Было шумно и весело. Абид, подшучивая надо мной, заговорил о Саадат. Я был поражен. Должно быть, о нашей любви разболтала тетка. Вечно она суется со своей придурковатой откровенностью. К тому же Абид, оказывается, был директором педтехникума, где училась Саадат. Конечно, он мог о ней разузнать стороной.

Наша встреча затянулась до полуночи. Я попрощался и, вернувшись домой, растянулся на своей постели, теплой, как объятия матери. Я очень устал за день, но долго не мог уснуть. Мысли о Саадат не оставляли меня.

Девушка не пришла и на следующий день. Мною овладело беспокойство, я стал сомневаться. Не обиделась ли она? Ведь в последнем письме я намекнул, что нам нужно пореже переписываться? «А может быть, она ждет, когда поохлынет родня,— утешал я себя,— или она стесняется прийти, потому что здесь ее мать?»

После завтрака я пошел прогуляться по городу.

Ташкент изменился до неузнаваемости. Новые здания, которых я не видел, новые улицы. Даже прохожие изменились. Захваченный новыми впечатлениями, я не заметил, что наступил час обеда. Я поспешил домой. Поев приготовленной матерью шурпы, я уселся за газеты.

Но мне не читалось. Смотрю в газету, а думаю о Саадат. При малейшем стуке я поглядывал на калитку.

И вот, наконец, вошла та, которую я так долго ждал. Как забилось у меня сердце.

Но это была не та Саадат, которую я рисовал в своем воображении,— девочка-подросток, со многими косичками, в мешковатом, старого покроя платье под уродливой па-

ранджой. Нет, передо мной стояла вполне современная девушка, изящно и даже модно одетая, на высокой пышной прическе у нее был тот самый берет, который я ей послал и который очень шел ей.

Прикусив губку, она нарочито небрежно играла маленьким портфелем и казалась очень смущенной, когда подходила к нам. Щеки ее стали пунцовыми то ли от ходьбы по жаре, то ли от смущения. Лоб покрылся мелкими капельками пота.

Я живо вскочил с места и четким военным шагом пошел ей навстречу. Поздоровавшись, я задержал ее руку в своей. Саадат смутилась еще больше. Она готова была вспорхнуть ласточкой и улететь...

Наконец, высвободив руку, девушка поздоровалась с моей матушкой, та усадила ее и принесла угощение. Мы сидели друг против друга за низеньким столиком. Старушка разломилла лепешку и принялась разливать чай.

— Не трудитесь, тетя. Позвольте мне. Я буду наливать.

— Оставь, миленькая, я сама. Ты сейчас гостья, детка. Вот будешь здорова — тебе много еще раз придется наливать чай Джуре.

В бесхитростных словах матушки проскользнул намек. Саадат вспыхнула и украдкой взглянула на меня. Я — на нее. Наши взгляды встретились, и мы не могли не улыбнуться друг другу. Саадат опустила глаза.

Сколько обаяния и прелести было в Саадат. Красота ее расцвела, и выразительное, нежное лицо ее, каждый взгляд, каждое движение сулили счастье тому, кто заслужит ее любовь.

Невольное наше молчание прервала старушка.

— Поговорите тут, детки, а я загляну на кухню.

— О,— спохватилась Саадат,— не беспокойтесь, тетя, ничего не надо. Я сейчас ухожу.

— Почему это уходишь? Нет, посиди, поговори с Джурой. Что я, барана для тебя зарежу? Угощу простой шурпой, которую мы всегда варим. Вот и все!

— Мне просто неудобно,— отозвалась Саадат,— сидеть и смотреть, как вы тут хлопочете.

Вмешался я:

— Матушка, приготовьте все, что нужно. Я давно не стряпал. И сам сготовлю плов.

— Да что вы, Джура? Возиться у котла в военной форме, такой красивой?— воскликнула Саадат.— А я тут на что?

Но старушка замахала руками, зашумела и ушла на кухню, оставив нас наедине. Разговор оборвался. Я мучительно придумывал, что бы сказать.

— Почему ты в каникулы ходишь с портфелем?— наконец решил я.— Когда я послал к тебе Абдугани, ему сказали, что ты в школе. Разве учебный год не закончился?

— Ученье-то кончилось, да меня послали агитатором в женский клуб. Я никогда общественной работы не вела. Очень трудно! С утра до вечера занята.

— Ого, какой ты стала активисткой! А я и двух человек не могу сагитировать.

Саадат бросила на меня укоризненный взгляд.

— Вот вы все и повернули по-своему. Вы, ленинградцы, остры на язык.

С обиженным видом я заморгал глазами и, вынув из кармана шелковый платочек — подарок Саадат, начал с комичным смущением вытирать несуществующие слезы. Саадат, конечно, узнала платочек, но сделала вид, что ничего не замечает. И только покачивала головой. Она едва сдерживала себя, чтобы не прыснуть от смеха.

В дверях показался Ядгар, тащивший за собой игрушечную арбу. Не обратив на меня ни малейшего внимания, сияя от радости, он бросился обнимать Саадат.

— Тетя Саадат, вы пришли? Почему завтра не приходили? (Мальчик хотел сказать «вчера»).

Саадат прижала его к груди и приласкала. А я смотрел на них обоих и думал: «Искренна ли она? Будет ли так же ласкать его потом, когда мы поженимся? А когда откроется история Ядгара, что она скажет?» В памяти всплыло мое приключение. Я сравнивал Саадат с легкомысленной матерью Ядгара. Саадат совсем другая. Какая игра судьбы! Брошенный матерью ребенок — в объятиях молоденькой девушки...

Саадат сразу же заметила, что я о чем-то задумался, и ее лицо сделалось озабоченным.

— Джура, что вы так задумались?— обиженно воскликнула она.— Судьба часто разлучает людей против их воли, не унывайте.

Я постарался отогнать воспоминания.

— Саадат, ты так хороша!— вырвалось у меня.

Легкий испуг отразился в ее глазах.

— Вы меня захваливаете!

Я обратился к Ядгару:

— Ты слышишь, что говорит твой отец, Ядгар?

Хлопотавшая на кухне старушка, видимо, забеспокоилась и, чтобы Ядгар нам не мешал, позвала его:

— Ядгар, Ядгар, иди сюда, детка! Хочешь жареной кукурузы?

Натянутость исчезла.

— Саадат!— вырвалось у меня.— Ты свободна вечером?

— А что?

— Погуляем в парке.

— С вами? Ну и придумали.

— А что тут такого? Ты же совсем большая?

— Вы же знаете нрав отца. Узнает — что будет?

— Чудная ты! Если не сегодня, потом вместе будем гулять.

Саадат лукаво повела глазами.

— Правда? Кто это вам сказал?

— Твои глаза.

— Совсем вы, Джура, испортились. Вот скажу тете.

— А что тетя? Она только рада будет. Да ты не увертывайся, скажи: вечером ты свободна?

— Свободна-то я свободна, но не затевайте прогулок.

Мало ли какие пойдут разговоры.

И все же я ее уговорил.

Тут матушка подала плов. Мы уселись за дастархан.

С самым простодушным видом мать заметила:

— Сыночек, не нравится, вижу, тебе плов, приготовленный старухой? Такой же получился, как я сама: дряблый, вялый. Вот если бы стряпала Саадат...

— Что вы, тетя,— запротестовала Саадат.— Разве я сварю так хорошо? Морковь, лук я еще поджарю как следует, но приправить не сумею.

Пришла моя очередь заговорить:

— Я и сам отлично сготовлю плов, но если только кто-нибудь будет следить за огнем.

— Ах, сынок,— сказала старушка.— Уже четыре года, как ты из готовых припасов не можешь сварить ничего путного.

Сдерживая смех, Саадат опустила глаза. А я думал: «Ну и мать! Поддела-таки!»

А старушка как ни в чем не бывало принялась вываривать Ядгару:

— И что ты мажешь всей своей пятерней? И рот накормил, и нос, и глаза. Не роняй, детка! Вот так, сложи пальчики, миленький, и бери плов щепоткой.

После обеда старушка вышла с блюдом на кухню. Саадат поднялась, собравшись уходить. Идти из дома вместе с ней и мне показалось неудобным. Мы решили встретиться у трамвайной остановки.

С того вечера мы часто проводили время с Саадат. Нас видели вместе в парке. Над Саадат принялись подтрунивать подруги. Дошли слухи и до ее отца. При встрече с моим старшим братом он твердо заявил:

— С решенным делом лучше не затягивать. Пусть Джура отложит учебу, справит свадьбу, а потом уже едет в Ленинград. Мне надоели вопросы соседей: когда будет свадьба?

Я попросил брата передать уйму извинений и объяснить, что, пока не кончу учебу, о свадьбе нечего и думать.

В тот же вечер Саадат передала мне приглашение от своего отца:

— Приходите к нам в выходной день со своими друзьями. Некого у нас было послать с приглашением, вот я и пришла сама.

— А,— засмеялся я,— значит, «чарлау» до свадьбы поедим.

— Вот вы и смеетесь! Вам слово скажи, и бегом от вас беги.

И она ушла.

В дом Саадат я пошел со своим приятелем, директором техникума, Абидом. Угощение было на славу. Но Саадат не вышла к нам. Дядя сам подавал нам блюда. Он был в самом веселом расположении духа.

— Жена, не прячься!— кричал дядя.— Иди сюда! Не стесняйся домужлы Абида. Разве закрываются от учителя своей дочки? И Саадат свою позови. Ломаться нечего: здесь ее учитель, которого она видит в классе каждый день. Женщины дома, а мне приходится гостям прислуживать. Джура свой человек.

Саадат только и ждала, что отец ее позовет: тут же она выбежала из кухни и захлопотала у дастархана. Я старался не смотреть в ее сторону, напуская на себя серьезность.

Перед уходом тетя одела мне на голову такую же расшитую тюбетейку, какую я получил в Ленинграде.

Чудесное время! Быстро пролетает оно. Скоро я должен вернуться в Ленинград. Незаметно пробежали часы, проведенные с Саадат.

Увидев, что я начал готовиться к отъезду, Саадат огорчилась.

— Не уезжайте!— говорила она.— Или возьмите меня с собой.

День отъезда приближался. Завтра в последний раз сходим куда-нибудь. Я послал ей с Абдугани маленькую, с «воробьиный язычок», записочку и получил ответ: «Я согласна».

Вечером Саадат пришла к нам. Старушка подала нам кушать отдельно. Я подсел поближе к Саадат, взял ее руку в свои ладони.

— Милая моя Саадат,— сказал я,— мы расстаемся. Я снова еду в академию. У тебя тоже начнутся занятия... Я хочу услышать от тебя ясный ответ. Что ты думаешь о нашей совместной жизни?

— Пустите!— Саадат попыталась освободить руку.— Тетя увидит. Стыдно. Нехорошо так. Пустите же, говорю... Что вы хотите сказать?

— Не прикидывайся наивной. Ты знаешь, что я тебя люблю, и я знаю, что ты меня любишь.

— Кто вам сказал?

— Вот кто!— С этими словами я прижал Саадат к груди, пытаюсь заглянуть ей в глаза. Саадат испуганно выскользнула из моих объятий.

— Вы стали очень плохой! Пойду скажу тете. А еще я вас всем хвалила.

Она взглянула на дверь.

— Будете сидеть тихо,— я останусь, а нет,— уйду. Тетя идет...

— Ладно, сядь... Ну, так что же ты думаешь о нашей жизни?

Она тихо, не поднимая глаз, спросила:

— Есть педтехникум в Ленинграде?

— Есть, конечно.

— Если я поеду с вами, меня примут?

— Нет, ты не знаешь русского языка.

— А вы научите!

— Да разве я смогу тебя учить? На первой же строчке застряну.

— Я спрашиваю дело, а вы шутите... Разве военные так разговаривают? Вы подайте команду — и все.

— Тогда слушай мою команду, Саадат! Будь готова: через два года я кончу учиться. Ты тоже к тому времени должна кончить учебу. И тогда справим свадьбу. Итак, к светлому будущему шагом марш!

Позабыв, что старушка может услышать, Саадат рас- смеялась. Да так звонко, безудержно, что от ее смеха — мне показалось — в алебастровой нише зазвенели фар- форовые пиалы.

И тут же смех оборвался. Девушка заговорила серь- езным тоном. Она спросила... о матери Ядгара. Но я ни- чего не ответил и обещал рассказать все после свадьбы.

Долго мы сидели с Саадат и тихо беседовали. Оконча- тельно уговорились так: я, взамен калыма, стану вра- чом, а она, взамен приданого, станет педагогом.

В Ленинграде я учился еще два года и в отпуск в Ташкент ни разу не съездил.

Мне Саадат писала, я изредка отвечал. Переписка с домашними тоже не была особенно частой.

«Мы соскучились,— писали мне из дома.— Сын твой Ядгар очень истосковался. Матушка чувствует себя пед- здоровой»,— и все в таком же роде.

Пришло время государственных экзаменов. По мно- гим предметам профессора нашли мои знания хорошими. Для дипломной работы мне следовало бы остаться еще на год в Ленинграде, но я попросил разрешения выпол- нить ее в Ташкенте. Мне разрешили. Я простился с Ленинградом.

Я снова не послал домашним телеграммы о своем приезде. Знала только одна Саадат.

Поезд замедлил ход у платформы Ташкентского вок- зала. Я смотрел в окно. Встречающие пробегают вдоль вагонов.

Вот она, Саадат, которую я так долго ждал. Я посту- чал в окно. Она вскинула глаза.

— Джура!

И побежала к дверям. Не стесняясь посторонних, Саадат бросилась ко мне в объятия. Я крепко обнял и поцеловал девушку, нимало не беспокоясь, что мешаю проходящим пассажирам.

Мы пришли домой вместе, будто вместе ездили в Ле- нинград.

Узнав, что учење закончено, моя мать была вне себя от радости. Надежда на мою женитьбу, которая столько лет оставалась мечтой, теперь стала близкой. Я узнал, что оба дома готовятся к свадьбе. У меня уже не было никаких причин откладывать женитьбу.

Ядгару шел седьмой год. Кто-то ему сказал про свадьбу. Он подошел ко мне и, обняв мои колени, спросил:

— Папа, вы мне дадите молоденькую маму? Да?

А я глядел на него с грустью и думал: «Бедный Ядгар, когда-нибудь ты узнаешь, что я тебе не отец. Что мать твоя, красивая, но легкомысленная женщина, тебя бросила, а отец черствый, неизвестный мне человек, которого я в глаза не видел. Нет, Ядгар,— говорил я себе,— ты мой сын, и только мой!»

— Какую еще тебе нужно маму, сынок? А наша матушка? Она и тебе, и мне, и Абдугани, и Кумри — всем нам мать. Кого же тебе еще?

Он опять вертится около меня и ласкается.

— Возьмете, а! Матушка ведь моя бабушка. А мне дайте Саадат. А то я сам возьму ее себе, сделаю своей мамой.

— Дурной ты! Кто тебе сказал? Ладно, ладно, возьму,— засмеялся я.

В один из знойных июньских дней, когда на виноград «чарас» выступили первые черные родинки, а ананасные дыни сделались слаще меда, мы с Саадат отправились в загс.

Второй раз в жизни я пришел сюда. И многое невольно припомнил. Я не забыл даже правил, касающихся неприглядной стороны семейной жизни — развода. Будто я только вчера стоял здесь за столом рядом с той коварной красавицей. Я даже вздрогнул и посмотрел на свою спутницу. Нет, это моя Саадат! Верная Саадат! Такая красивая, красивее той. И я пришел сюда заключить с ней счастливый союз на всю жизнь.

У весов две чаши, у каждой вещи две стороны. В свидетелем есть горечь и в темноте — свет, у ночи — день, у колючек розы.

Много я претерпел из-за того развода по молодости лет и легкомыслию. Теперь конец. Теперь мы стоим вдвоем рука об руку с сияющими лицами и смотрим с трепетом, как рука заведующей водит пером по странице регистрационной книги, раскрытой для нас, как окно счастья.

Долог светлый путь жизни, этот вечно сияющий день, этот залитый лучами, полный радостей, устланый цветами путь.

Мою рассеянность заметила Саадат и, крепко сжав мою руку, вывела меня из задумчивости.

— Какая у меня будет фамилия? Скажите, вас спрашивают.

Я бросил быстрый взгляд на свою милую невесту. Ее глаза были полны нежности и любви. Тягостные воспоминания мигом рассеялись, словно развеянные бурей.

— Захидова! Твоя фамилия Захидова! Теперь ты будешь носить мою фамилию!

Я был назначен врачом в пограничный отряд.

Саадат не сразу поехала со мной. Ей оставалось учиться еще год. Военная обстановка была для меня привычна, и поэтому в пограничной комендатуре я чувствовал себя как дома. Давала себя знать только тоска по Саадат.

...Ночью я иду по степи, смотрю на звезды, слежу за лучом месяца, играющим в ряби вод плавно текущей Амударьи. И так мне хочется, чтобы Саадат была рядом со мной.

Я выхожу на пустынную равнину. Совсем близко великая граница. Здесь, по эту сторону, моя социалистическая родина, обитель счастья, радости, человечности. А там, по ту сторону,— жалкая жизнь; дым над закопченными курганчиками тянется к темному небу. Мне становилось жалко тех, кто живет там, в той стране, в другом мире. «Вас тоже ждет сияющий рассвет,— думаю я,— вы тоже растопчете своих врагов, добьетесь счастливой жизни, как у нас...»

По небу с севера на юг, вдоль Млечного Пути, тянутся караваны журавлей и гусей. Их крики «хак-хак» предвещают, что мои заветные желания скоро исполнятся. И самое заветное — скоро-скоро придет Саадат... Моя Саадат.

Возвращаюсь домой. Вновь и вновь, в который раз, перечитываю письма Саадат. Ее письма — частица ее самой. Они разговаривают со мной ее голосом. Я тихонько целую листки.

В нашем пограничном отряде все здоровяки. Молодец к молодцу. О таких говорит поговорка: «Если они ударят по горе — толокно из нее сделают». Бойцы ничем серьезным не болеют. Самое большее — насморк или солнечный ожог. В военной амбулатории больных немного, и я попросился в свободное время работать в гражданской поликлинике. Врачей тогда было еще мало, и я лечил и горожан, и колхозников.

Я приобрел в этом далеком пограничном районе много хороших друзей.

Однажды один из моих новых знакомых обратился ко мне с просьбой.

— У меня дома больная. Жена,— сказал он.— Давно она лечится. К каким только врачам не обращалась!

Каждый давал заключение, но не помог. Не откажитесь ее посмотреть.

В обещанный день я пришел к знакомому на дом. Он провел меня в спальню. Большая, молодая женщина лет двадцати пяти, лежала на кровати, подняв глаза к потолку. Увидев меня, она приподнялась. Я попросил ее не беспокоиться. Несмотря на худобу и бледность, красота ее лица не могла не обратить на себя внимание. Больше того, я где-то видел это прекрасное лицо. Неужели...

Не знаю, что говорили другие врачи, но я нешел в состоянии больной ничего серьезного. Бросилась в глаза ее чрезмерная нервность. Я высказал свое мнение и прописал лекарства.

Между прочим я задал вопрос, есть ли у нее дети.

Мой новый знакомый и его жена вздохнули.

— В том-то и горе, что у нас нет детей.

Я продолжал расспросы, и тогда муж сказал:

— Товарищ доктор, вы все хотите знать? Хорошо, я расскажу. Дорогая, ты не возражаешь?

И сел у изголовья больной, он — в ногах.

— Она больна из-за тоски по детям, — начал свой рассказ мой приятель. — Иногда и мне бывает так тяжело, что я делаюсь совсем больным. Но, как бы то ни было — я мужчина и к тому же вечно занят, и поэтому забываюсь.

Он остановился и посмотрел на жену.

— Рассказать, Михрихон?

Я не мог удержаться и вздрогнул при этом имени.

Больная отвернулась к стенке.

— Так вот, товарищ доктор, семь лет назад я был простым махаллинским йингитом, а Михрихон — неграмотной узбекской девушкой, из семьи мусульманина, ревнителя старых обычаев. Каким я был тогда, мне, окончившему университет, вступившему в партию, даже страшно вспомнить. Теперь я смотрю на все иначе. И Михрихон совсем другая. Мы живем с ней в дружбе и любви. Партия меня послала сюда в пограничную область. Я работаю уже два года. Все это вам, конечно, не интересно. Но слушайте дальше, товарищ доктор! История нашей женитьбы с Михрихон очень непроста. Мы любили друг друга. Но отец ее не соглашался на наш брак. Мы встречались тайно. Знаете, доктор, я жизни не знал, а ее держали под паранджой взаперти. Так было в прошлом повсюду — девушку родители берегли, как «сахар в бумаге». Нашу тайну знала только ее мать.

Чего нам с Михри не пришлось претерпеть тогда! Я чувствовал себя преступником. Мне казалось, что все на меня пальцем показывают. При матери Михри я не смел поднять глаза. «Чтобы тебе издохнуть, обесчестил девушку», — кляла она меня, по какой и кому польза была от ее проклятий. Либо дочь надо было за меня отдать, либо... вы меня простите, я волнуюсь... либо что-нибудь сделать с ожидавшимся ребенком. Отец не знал нашей тайны и не обращал внимания на слова жены. Как она ни приставала, ни упрашивала — он стоял на своем. Не соглашался. Последние два-три месяца Михри не выходила за порог своего дома. Когда оставалось несколько дней до появления нежеланного «гостя», мы спрятали Михри от глаз отца, сказав, что она гостит за городом у тетки. Михри родила. А когда она поправилась, мы думали лишь о том, как бы сбрызнуть с рук ребенка...

Закрыв глаза, больная тихоенько всхлипывала. Мой знакомый волновался. Не знаю, сколько времени длилось давящее молчание...

Наконец рассказчик посмотрел на жену и, собравшись с духом, продолжал:

— Так вот, товарищ доктор, сказать правду, никто из нас не мог решиться бросить ребенка. Премиленький, толстенький был мальчик. Решилась, наконец, Михри. Она забрала у меня как-то паспорт и сказала, чтобы я не появлялся дня два. Что она сделала с ребенком, не знаю. Когда через два дня я пришел к ней — ребенка уже не было. Михри меня встретила очень холодно, отдала мне паспорт, вручила и копию свидетельства о разводе. Я был поражен. Мы же с ней в загсе не записывались. Откуда взялся этот развод? Словом, Михри и до сих пор мне не сказала, товарищ доктор, что стало с ребенком.

Мой собеседник достал из бокового кармана паспорт, вынул из него справку о разводе и протянул мне. Мои руки дрожали. Итак, туман многих лет полностью рассеялся. У меня в руке была та самая разводная справка, которую я подписал и которую мне столько лет назад выдали на руки. Я был не в силах сдержать волнение. Заметив во мне странную перемену, мой товарищ замолчал и пристально глядел на меня. А я смотрел на Михрихон. Да, это те самые лукавые, озорные глаза. Это те самые рубиновые губки, кривившиеся когда-то от громкого смеха, при звуках которого вспархивали горлинки, сидевшие на желобе мечети...

Михрихон вытирала полные слез глаза своим шелко-

вым носовым платком. В комнате запахло гвоздикой. Я чувствовал себя так, как будто я снова сижу рядом с молодой женщиной в саду мечети. Но как давно это было. Да, прошло семь лет...

С трудом я взял себя в руки.

Мой приятель утешал жену:

— Михрихон! Перестань, родная! Если ребенок остался жив, он, наверное, теперь уже большой, веселый, радостный. А если... его нет, в этом виноват старый уклад, старая жизнь, которая была саваном для людей. Доктор — наш земляк. Прекрасный человек, редкий товарищ. Семь лет тебя тяготит твоя тайна. Открой ее. Мы тут же ее похороним. Тебе будет легче, и я не буду, глядя на твои мучения, изводиться. Скажи, что было дальше? Что ты сделала с ребенком?

Тяжелое молчание долго не прерывалось.

Жалость, любовь к мальчику и боязнь его потерять привели меня в величайшее смятение.

Вот Ядгар спит у меня на руках, забавно чмокая губами во сне.

Вот Ядгар в военной фуражке семенит ножками, бежит показаться бабушке...

Вот Ядгар пристаёт ко мне, чтобы я взял ему молоденькую маму...

Увы! Теперь нет у меня Ядгара, нет сына, Ядгар — сын другого!

Женщина открыла глаза. Дрожащими руками она оперлась на край кровати и привстала.

— Сказать?.. Сказать? Я совершила преступление перед ребенком.

Она была вне себя.

Во мне заговорила жалость. Я взял руку Михрихон. Стараясь всю силу вложить в свой взгляд, я посмотрел в ее глаза, полные отчаяния, и проговорил: повторил те самые слова, с которыми она обратилась ко мне на дороге среди садов. Тогда...

— Приходилось ли вам бескорыстно служить другим?

Молодая женщина пронзительно закричала:

— То были вы? Верно, вы, вы...

Она протянула ко мне руки и потеряла сознание.

Теперь я в Ташкенте. Ядгар живет со мной и Саадат. Часто он ходит в семью Михрихон.

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

- Атаман Семи Разбойников** — Большая Медведица.
Аттары — торговцы парфюмерно-галантерейными товарами, продавцы ароматических трав, разных снадобил, зелья.
Ача-абад — пригородный кишлачок, представляющий герою городом-государством.
Блошинный ситец — ситец в мелкую крапинку.
Болие — волостной управитель; употреблялось и как уважительное прозвище человека, когда-либо бывшего волостным управителем.
Буза — хмельной напиток из проса или рисовой сечки.
Бужгун — один из видов жимолости, древовидного кустарника, очень твердый и тяжелый.
Гази — борец за веру.
Гассал — тот, кто обмывает покойников.
Гупли — стеганый халат на вате.
Даллал — маклер, посредник.
Дорога Везущего Солому — Млечный Путь.
Дучи — мастер по изготовлению веретен, веретенщик (прозвище).
Жаксы — хорошо (казахск.).
Золотой Кол — Полярная звезда.
Ишачья сыгъ — крапивная лихорадка (считалось, что вылечиться можно, дав ишаку зерна, стоя к нему спиной).
Каес — название девятого месяца солнечного года (22 ноября — 21 декабря).
Кисабир — карманник (казахск.).
Кашкулъ — сосуд продолговатой формы из скорлупы кокосового ореха, служивший дервишам (каляндарам) для сбора подаяний.
Кепчик — кожаное решето.
Кухи Каф — сказочные горы, якобы окаймляющие со всех сторон землю.
Кизимжа — от узбекск. «кыз» — девушка, девочка.
Маддах — проповедник, рассказчик житий святых.
Маджоми — соборная мечеть.
Миршаб — полицейский из местного населения.
Михраб — ниша во внутренней стене мечети, указывающая направление к Мекке, место имама, возглавляющего молнение.
Мурсак — старомодный старушечь верхний халат с короткими (по локоть) рукавами.
Мюрид — последователь, ученик ишана.
Навруз — день нового года (совпадает с днем весеннего равноденствия) — пора весны.
Нетай — (букв.) «Что мне делать?», «Как мне быть?»
Пахыр — двухкопеечная мелкая медная монета.
Пул — деньги; треть копейки, а в некоторых местах полшка (полкопейки).
Рамазан — название девятого месяца лунного года, в течение которого соблюдался дневной пост.
Саер — название второго месяца солнечного года (22 апреля — 21 мая).
Сагры — выделанная толстая кожа с крупа лошади, употреблявшаяся для шитья каушей.
Саратон — название четвертого месяца солнечного года (22 июня — 21 июля), вообще самая жаркая пора лета.
Саркяр — старшой, староста артели рабочих, начальник.
Сират — тонкий, как волосок, узкий, как лезвие меча, мост над адом. По нему должны проходить души умерших, грешники падают в преисподнюю, а праведники проходят в рай.
Сумбул — шестой месяц солнечного года (22 августа — 21 сентября).
Суфи, суфий, муэдзин — служитель мечети, призывающий на молитву; набожный человек, праведник.
Суфи Аллаяр — книга стихов религиозного поэта Суфи Аллаяра, служившая в школах книгой для чтения.
Такья — притон наркоманов — курильщиков опия.
Терьяк — особым образом приготовленный опий для курения.
Улемы — мусульманские богословы, верхушка мусульманского духовенства.
Устоди аввалъ — учебник для начальных мусульманских школ.
Хаит — мусульманский религиозный праздник.
Хайриплан — (искажен.) аэроплан.
Хальфа — старший ученик, помощник учителя; подмастерье.
Хальфанэ — складчина.
Шеше — (казахск.) мама, мамаша.
Яджудж-Маджудж — Гог и Магог (мифические племена).
Ягтак, яхтак — легкий халат без подкладки.
Яллачи — певица и танцовщица.

СОДЕРЖАНИЕ

Поэмы и оды

| | |
|--|-----|
| Китайские миниатюры. Перевод Т. Сикорской | 3 |
| Узбекистан. Перевод Л. Длигача | 30 |
| Пирамиды. Перевод С. Болотина | 34 |
| Два акта. Перевод Л. Квашина | 42 |
| Узбек-наме. Перевод В. Державина | 51 |
| Човогоднее стихотворение. Перевод Л. Длигача | 56 |
| Гордость узбекского народа. Перевод П. Шубина | 59 |
| Коммунизму — ассалам! Перевод В. Сикорского | 63 |
| Два Востока. Перевод В. Липко | 67 |
| Да здравствует мир! Перевод С. Лиходзиевского | 73 |
| С трибуны мира. Перевод С. Лиходзиевского | 76 |
| Гимн миру. Перевод С. Лиходзиевского | 80 |
| Великому русскому народу. Перевод В. Липко | 84 |
| Моя партия. Перевод В. Державина | 88 |
| На пороге грядущего. Перевод С. Северцева | 93 |
| Письмо к сердцу. Перевод П. Грибачева | 96 |
| Водителям «голубых кораблей». Перевод С. Северцева | 99 |
| Слава победе. Перевод В. Державина | 103 |

Стихи — детям

| | |
|---|-----|
| Два детства. Перевод Р. Фархади | 107 |
| Утка и Тургун. Перевод С. Сомовой | 109 |
| Змей Турсунали. Перевод С. Сомовой | 111 |
| Молодец, — я скажу, — сынок! Перевод С. Сомовой | 113 |
| Праздник советского народа. Перевод В. Липко | 115 |
| Я знаю. Перевод С. Сомовой | 116 |
| Тебя ждет родина. Перевод В. Липко | 117 |
| Сначала — учење. Перевод В. Липко | 119 |
| Новогодняя песенка. Перевод С. Сомовой | 121 |
| Золотая медаль. Перевод В. Липко | 123 |
| Пионеру. Перевод С. Сомовой | 125 |
| Первый урок. Перевод С. Сомовой | 127 |
| Песня раннего утра. Перевод С. Сомовой | 129 |
| Приходите к нам в сад. Перевод Р. Фархади | 130 |
| Стихи о маленьких солнышках. Перевод С. Сомовой | 131 |
| Старшему брату. Перевод С. Сомовой | 132 |
| Разбудите Олмос! Перевод С. Сомовой | 133 |
| Молодым друзьям. Перевод С. Сомовой | 135 |
| Молодому поколению. Перевод Т. Стрешневой | 136 |
| Мечта. Перевод С. Болотина | 138 |
| Детям. Перевод Р. Казаковой | 141 |
| Праздничное письмо. Перевод В. Липко | 143 |
| Друзей зовите в свой цветник. Перевод С. Болотина | 146 |
| Школьная весна. Перевод Р. Казаковой | 148 |
| Отгадайте это, дочки. Перевод Б. Пака | 150 |
| Учимся думать. Перевод Р. Казаковой | 151 |
| Зазнайка Сабирджан. Перевод Э. Орловского | 153 |
| Ахмад не плохой мальчик, но... Перевод В. Липко | 158 |

Повести

| | |
|--|-----|
| Озорник. Перевод Н. Ивашева | 168 |
| Нетай. Перевод Р. Галимова | 299 |
| Дневник лентяя. Перевод Н. Ивашева | 333 |
| Ядгар. Перевод Л. Соцердотовой. Под редакцией М. Шеввер- дина | 348 |
| Пояснительный словарь | 382 |

Гафур Гулям

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ТРЕХ ТОМАХ

Том второй

Поэмы, оды, стихи, повести

Перевод с узбекского

Редактор В. Кива
Художник Ш. Булгаков
Художественный редактор М. Карпузас
Технический редактор Е. Потанова
Корректор Л. Лебедева

ИБ № 2093

Сдано в набор 06.03.85. Подписано в печать 09.08.85. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Обыкновенно-новая гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 20.16+0.42 вкл. Усл. кр.-оттисков 20,58. Уч. изд. л. 19,48+0,28 вкл. Тираж 20 000. Заказ № 1776. Цена 2 р.

Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма. 700129, Ташкент, ул. Навои, 30.

ГП ТИПО «Матбуот» Государственного комитета УзССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ташкент — 700129, ул. Навои, 30.